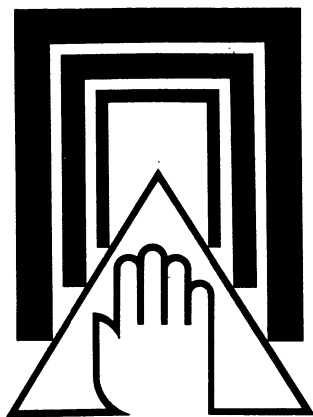


Апрель

Исаак Бабель
Андрей Вознесенский
Евгений Евтушенко
Б.Н.Ельцин
Анатолий Злобин
Фазиль Искандер
Евгений Попов
Анатолий Приставкин
Станислав Рассадин
А.Д.Сахаров
Александр Солженицын
Анатолий Стреляный

выпуск первый

1989



Апрель

Главный редактор
А. И. ПРИСТАВКИН

Редколлегия:

Ю. В. АНТРОПОВ

В. И. ВИНОКУРОВ,

Г. В. ДРОБОТ,

И. И. ДУЭЛЬ,

Л. А. ЖУХОВИЦКИЙ,

А. П. ЗЛОБИН, (заместитель главного редактора)

В. Н. КОРНИЛОВ,

А. В. МАЛЬГИН,

С. Б. МИХАЙЛОВА,

А. М. СИМОНЯН

М. А. ФАДЕЕВ.

Художник

А. Ю. ЛИТВИНЕНКО.

Подготовлено ассоциацией «Ротация» Московской организации СЖ СССР по договору с издательством «Физкультура и спорт»

ВЫПУСК
первый

1989

ББК 84
А 77

Произведения печатаются в авторской редакции

Credo

Евгений ЕВТУШЕНКО

Танки идут по Праге

Танки идут по Праге
в закатной крови рассвета.
Танки идут по правде,
которая не газета.

Танки идут по соблазнам
жить не во власти штампов.
Танки идут по солдатам,
сидящим внутри этих танков.

Боже мой, как это гнусно!
Боже — какое паденье!
Танки — по Яну Гусу,
Пушкину и Петефи.

Страх — это хамства основа.
Охотнорядские хари,
вы — это помесь Ноздрева
и человека в футляре.

Совесть и честь вы попрали.
Чудищем едет брюхастым
В танках — футлярах по Праге
страх, бронированный хамством.

Что разбираться в мотивах
Моторизованной плетки?
Чуешь, наивный Манилов,
хватку Ноздрева на глотке?

Танки идут по склепам,
по тем, кто еще не родились.
Четки чиновничьих скрепок
в гусеницы превратились.

Разве я враг России?
Разве не я счастливым
в танки другие, родные
тыкался носом сопливым?

Чем же мне жить, как прежде,
если, как будто рубанки,
танки идут по надежде,
что это — родные танки?

Прежде, чем я подохну,
как — мне неважно — прозван,
я обращаюсь к потомку
только с единственной просьбой.

Пусть надо мной — без рыданий —
просто напишут, по правде:
«Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге».

23 августа 1968

Возрождение

Есть русскость выше, чем по крови:
как перед нравственным судом,
родившись русским, при погроме
себя почувствовать жидом.

Но, на Руси ища Вандею,
в иконы пулями плюясь,
пошли в чекисты иудеи,
как черносотенная мразь.

Всех заодно одемократив,
потом, как в шлак, в один барак
швыряли вас, как равных братьев,
Иван-дурак, Исаак-дурак.

Народов братство было люто.
Шли, по велению вождя,
То русский, то грузин в малюты,
грузин, как русских, не щадя.

Власть соловецкая давила
народ с тупым, кривым смешком,
как лопотком лжерусофила,
кавказско-римским сапожком.

И, прежде выбитый, внедрялся
как шагистический недуг,
дух офицерства, генеральства —
не русский дух, а прусский дух.

Куда, пути не различая,
ты понеслась по крови луж,
Русь — птица-тройка чрезвычайки,
кренясь от груза мертвых душ?

И, несмотря на лавры в битвах,
в своей стране ведя разбой,
собой были мы разбиты,
как Рим разгромлен был собой.

И даже у ракет российских
есть в судных всполохах зарниц
звук угрожающий раздрызга
последних римских колесниц.

Неужто, русские обрюзгнув,
свое падение простят
и в новом Риме русско-прусском
произойдет сплошной распад?

Но есть еще в Россию вера,
пока умеют русаки
глазами чеха или венгра
взглянуть на русские штыки.

России внутренняя цельность
не в реставрации церквей,
а чтобы в нравственность, как в церковь,
вводили мы своих детей.

Безнравственность — уже не русскость,
но если нравственность жива,
Россия выстоит, не рухнет,
отринет римский путь Москва.

А новый Рим — необратимо
пускай развалится в грязи.
Где на Руси паденье Рима —
там возрождение Руси.

1972

Предвыборная платформа

1. Ликвидация административно-командной системы и замена ее плюралистической с рыночными регуляторами и конкуренцией. Ликвидация всевластия министерств и ведомств. Расширение самостоятельности государственных предприятий. Свободный рынок рабочей силы, средств производства, сырья и полуфабрикатов. Развитие арендного, кооперативного, акционерного производства. Необходимо немедленно (до посевной 1989 года) ликвидировать нерентабельные колхозы и совхозы и передать в аренду землю, хозяйственные постройки и технику на льготных условиях. Мы обязаны накормить страну! Также в аренду или акционерное владение передать нерентабельные промышленные предприятия. Разукрупнить крупные предприятия с целью стимулировать конкуренцию и не допустить монопольного ценообразования. Независимая комплексная экологическая и экономическая экспертиза крупных проектов и планов развития народного хозяйства в целом. Отказ от экстенсивного развития народного хозяйства — от роста объема добычи полезных ископаемых, количественного роста промышленного производства без качественной перестройки. Резкое сокращение капитального строительства в промышленности. Немедленное прекращение финансирования Министерства водного хозяйства и его ликвидация или перевод на полный хозрасчет. Ядерная энергетика необходима человечеству, но она должна быть безопасной (в том числе необходимо учитывать сейсмическую опасность, опасность террористических актов, возможность разрушения в войне с применением обычного оружия). Должно быть полностью запрещено строительство атомных электро- и теплостанций с расположением ядерных реакторов на поверхности земли. Строительство с подземным расположением, с исключением возможности попадания при аварии радиоактивных продуктов в почвенные воды. Закрытие экологически вредных производств. Легализация и поддержка общественных движений, борющихся за охрану окружающей среды. Публикация всех данных об экологической обстановке во всех регионах страны. Прекращение экологически опасного гидротехнического и иного строительства. Доходы каждого — по результатам его труда. Снятие всех ограничений на личные доходы — единственный регулятор — прогрессивный налог. Отмена всех привилегий, не связанных со служебной необходимостью. Открытость данных об окладах. Обязательная регулярная (не реже раза в год) публикация финансовых отчетов всех общественных фондов, включая оклады сотрудников, представительские расходы, поездки. Максимальное сокращение штатов во всех общественных организациях. Ввести реалистический курс рубля и в дальнейшем перейти к его конвертируемости.

2. Социальная и национальная справедливость. Защита прав личности... Открытость общества. Свобода убеждений. Свобода выбора страны проживания и места проживания внутри страны. Свобода ассоциаций, митингов и демонстраций. Контроль общества за принятием важнейших решений. Пересмотр Закона о выборах и принятых в 1988 году поправок к Конституции. Прямые выборы депутатов Верховного Совета и его Председателя. Демократическая система выдвижения кандидатов и их регистрация без контроля аппарата и отсева кандидатов. Один человек — один голос. Обязательное условие проведения выборов — наличие не менее двух кандидатов на одно место. Возвращение к ленинской концепции СССР как союза равноправных государств. Не должно быть никакого ущемления малых наций большими. Компактные национальные области должны иметь права союзных республик. Отсутствие внешней границы не должно быть причиной ущемления их прав. Федеративная система на основе союзного договора. Поддержка принципов, лежащих в основе программы народных фронтов Прибалтийских республик. Республиканский и региональный хозрасчет. Добиваться принятия Закона о печати, обеспечивающего свободу от идеологического контроля и любых ограничений, кроме пропаганды войны и насилия, национальной розни, порнографии и раскрытия государственных тайн. Но тайн в открытом обществе должно становиться все меньше и меньше. Разрешить частную и кооперативную деятельность в области распространения информации при тех же ограничениях. Постепенная отмена паспортной системы. Изменение пенсий и других постоянных выплат в соответствии с инфляционным коэффициентом, отнесенным к шестидесятым годам. До всестороннего изучения последствий не повышать цены на продукты питания и предметы первой необходимости. Улучшение жилищных условий за счет ликвидации бесчисленных контор и помещений, используемых под служебные, и поощрение всех форм жилищного строительства. Увеличение ассигнований на образование и медицинскую помощь. Изменение законодательства и социальной структуры с целью облегчения положения работающих женщин-матерей и денежного поощрения женщин, посвящающих себя воспитанию детей дошкольного возраста.

3. Искоренение последствий сталинизма, правовое государство. Раскрыть архивы НКВД — МГБ, обнародовать данные о преступлениях сталинизма и всех неоправданных репрессиях. Учредить комиссии Верховного Совета по контролю за действиями МВД, КГБ, МО. Возможность обжаловать в суде решения и действия не только отдельных должностных лиц, но и государственных и партийных органов. Суд присяжных. Допуск адвоката с начала следствия. Отмена приговора суда при наличии процессуальных нарушений или выявления незаконных методов следствия и обязательная судебная ответственность за них. Гуманизация мест заключения. Отмена смертной казни. Освобождение и реабилитация узников совести, членов комитета «Карабах» и «Крунк».

4. Организация науки. Значительно повысить роль вузовской науки. Расширить международные контакты советских ученых за счет

ранее мало включенных в этот процесс молодых и провинциальных ученых. Шире практиковать финансирование и материальное снабжение научных работ по проектам, выдвигаемым инициативными группами. Повысить роль Академии наук в фундаментальных исследованиях и ее ответственность за экологическую и экономическую экспертизу.

5. Поддержка политики разоружения и разрешения региональных конфликтов. Публикация данных о действиях и политике СССР в региональных конфликтах (включая Афганистан и Ближний Восток). Сокращение срока службы в армии (ориентировочно вдвое) и ее численности, пропорциональное сокращение всех видов оружия, но при этом значительно меньшее сокращение офицерского состава с перспективой постепенного перехода к профессиональной армии. Запрещение химического и бактериологического оружия. Наличие ядерного оружия — лишь для предупреждения ядерного нападения противника. Переход на полностью оборонную стратегическую доктрину.

6. Конвергенция (сближение) социалистической и капиталистической систем, сопровождающаяся встречными плюралистическими процессами в экономике, социальной сфере, культуре и идеологии — единственный путь радикального устранения опасности гибели человечества в результате термоядерной и экологической катастроф.

5 февраля 1989 г.

Выступление Анатолия Приставкина на открытии учредительного собрания комитета «Апрель».

Дорогие друзья!

Совершается событие, на мой взгляд, необычайное: впервые за всю историю Союза писателей предпринимается реальная попытка — снизу — объединить все здоровые творческие силы писателей с целью помочь Союзу выйти из того кризисного положения, в котором он оказался.

Все мы понимаем, что кризис этот не случаен, он обусловлен самим возникновением и существованием Союза писателей, как организации ГОСУДАРСТВЕННОЙ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, созданной под личным руководством Сталина с единственной целью — надзора и контроля за литературой, а оружием для расправы над инакомыслием, мерилом послушания и правоверности стал в руках народившегося Союза единственный провозглашенный тогда метод социалистического реализма. Писатели, не пожелавшие терпеть над собой, над своим творчеством насилия, никак не умещавшиеся в прокрустово ложе приготовленного для них соцреализма, исключались, изгонялись, а потом и репрессировались как преступники.

Еще Замятин говорил: «В других странах писателями гордятся, у нас их бьют по морде...». Это на первых порах. Потом писателей уже не били, а убивали, в смерти многих из них впрямую повинен Союз писателей. Нам надо восстановить имена всех погибших. И может быть, одной из задач будущего Комитета явится, хоть это не просто, создание подлинной Истории Союза писателей, как его вершителей, так и жертв. Написать коллективно такую книгу наш святой долг во имя памяти об ушедших.

В своей «Нобелевской лекции» Александр Солженицын говорил: «Но горе той нации, у которой литература прерывается вмешательством силы: это не просто нарушение свободы печати, это замкнутие национального сердца, иссечение национальной памяти. Нация не помнит себя, нация лишается духовного единства... Отживают и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни самим себе, ни потомкам...».

Произнесено это давно, хотя сам Александр Исаевич именно для нас, для сегодняшних, сказал, если не прокричал о своем лагерном поколении, и нам очень сегодня важно для того самого восстановления национального — памяти и духовного единства — вернуть Солженицына, восстановить в правах его самого и его книги, в том числе «Архипелаг ГУЛАГ». Вот и получается, что, если окинуть взглядом более чем полувековую деятельность Союза писателей, его руководства, мы убедимся, что все его силы уходило на борьбу с писателями, и среди них встречаются такие имена, как Ахматова, Пастернак, Платонов, Зощенко, Гроссман, тот же Солженицын и многие другие. Но если даже нам удастся составить Книгу наших потерь, список жертв никогда не будет полным, ибо невозможно сосчитать, сколько

загублено, изведено, споено живых талантов, даже тех из них, кто почти благополучно и неисключенно продолжал числиться в списках писателей, обреченный в то же время на тихое удушение искусственным замалчиванием и непечатаньем.

Да, каждый из нас прочувствовал это многожды на себе.

Будем справедливы, наш сегодняшний Союз, кажется, никого уже не исключает, не подвергает остракизму за критику и инакомыслие, слава Богу! Но железный организм Союза остался таким же, хоть и проржавевшим и делающим сбой; его главный принцип отношения к писателю как придатку этого механизма (в общем-то сталинский принцип по отношению к народу и, особенно, к интеллигенции) проявляется до сих пор во всей полноте. Во главе его могут быть хорошие и плохие люди, дело уже не только в них, а в том, что Союз был и остается частью общественного организма, который во многом еще сохранил структуру прошлого, она далеко не сломлена и имеет свойство самоукрепляться, даже в условиях перестройки. Мы говорим о рашидовщине и коррупции, но разве ее нет у нас, когда обогащаются одни писатели и нищенствуют другие, когда пенсионеры — известные стране литераторы — живут на крохи, а миллионер Литфонд хранит в секрете свои доходы, когда выход книжки заведомо определен положением и чином писателя, когда практически невозможно пробиться в литературу талантливой молодежи, а выборы в писательский союз давно не осуществлялись демократическим путем.

Все эти причины привели нас к мысли, что дальше так жить нельзя. Стыдно так жить и аморально, если мы еще не конченные люди, а я лично себя таковым не считаю. Возникла необходимость собраться вне секретариатов и других бюрократических посредников и самим решить, как совместными усилиями изменить наш Союз и помочь ему стать организацией общественной, демократической, не имеющей других задач, кроме одной: заботы о литературе.

Так возникла идея о создании нашего Комитета, который помог нам объединиться в борьбе за демократизацию Союза и демократизацию нашей общественной жизни. Мы должны выдвинуть требование ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ, и не только для печати, а для людей искусства; люди искусства должны иметь право выдвигать любые альтернативы, помогающие перестройке и демократизации общества, если они даже не совпадают с установками партии, тем более что эти установки не раз и не два менялись.

Я думаю, что мы должны наладить отношения с другими неформальными объединениями, такими как «Мемориал» (Союз писателей этого не сделал!), с «Московской трибуной», московским Народным фронтом, как и с народными фронтами Прибалтики и других республик; поддерживать требование об освобождении активистов комитета «Карабах», находящихся в заключении, объединить усилия с другими творческими союзами, которые, в отличие от нас, смогли преобразовать на новых началах свою творческую жизнь.

Такой я вижу деятельность будущего Комитета.

От имени инициативной группы, в которую входили многие известные писатели, хочу сообщить, что группа довольно дружно про-

вела трудоемкую работу, пусть это послужит вам примером, по организации этой встречи и по разработке Манифеста — Программы комитета, проект которой будет вам сегодня зачитан. На этом группа слагает свои обязанности и передает власть собранию.

Желаем вам успеха.

Манифест Комитета «Писатели в поддержку перестройки» («Апрель»)

I. Принципы.

Комитет «Писатели в поддержку перестройки» («Апрель») представляет собой независимое формирование при Московской писательской организации СП РСФСР.

Побудительным мотивом объединения стала для нас тревога за судьбы перестройки. Мы глубоко убеждены в том, что Союз писателей оказался организацией, непригодной для реального осуществления перестройки в литературном деле. Четыре года, прошедшие с апреля 1985-го, свидетельствуют об этом вполне определенно. Недаром на различных собраниях писателей-москвичей все громче раздаются голоса, что нынешний Союз писателей представляет собой, как и прежде, «министерство литературы», то есть придаток командно-бюрократической системы.

Союз писателей не принадлежит своему аппарату, как и советская литература не принадлежит только Союзу писателей.

Наша цель — поднять авторитет писателя, утерянный в годы сталинщины и застоя, заново утвердить его достоинство.

Авторитет Союза писателей продолжает падать. Не меняется стиль работы. Не отменены позорные решения об исключении из Союза писателей А. И. Солженицына и других литераторов, подвергавшихся в 60—70-е годы травле и преследованиям.

Хозяевами в СП по-прежнему остаются официальные лица, назначенные сверху. Среди них есть писатели авторитетные и не очень, честные и корыстные, но все они прошли процедуру не выборов, а подбора, утверждались на собраниях, где заранее были составлены не только списки будущих избранных, но и списки выступающих. Может ли всерьез бороться за демократизацию и плюрализм администрация, внутри которой нет ни демократии, ни плюрализма?

Механизм контроля внутри СП либо вовсе бездействует, либо его действия носят формальный характер. Недаром разного рода злоупотребления служебным положением, связанные с издательской практикой и направленные на обогащение «чиновных» писателей, были обнаружены не многочисленными ревизионными комиссиями, а журналистами.

Безусловный приоритет общечеловеческих ценностей, бескорыстное служение прекрасному — вот краеугольный камень для писателей, поддерживающих перестройку. Комитет считает: деятельность,

направленная на возрождение культурно-национального достоинства, не совместима с проповедью национальной исключительности и национальной розни.

Комитет ППП «Апрель» надеется стать рупором писательского общественного мнения — писательским народным фронтом.

II. Структура.

Высший орган Комитета — общее собрание его членов. Собрание избирается — сроком на один год — временный рабочий совет.

Для выполнения конкретных задач, вытекающих из общих принципов Комитета, создаются рабочие группы. Руководство их деятельностью осуществляют два сопредседателя в каждой.

Все выборные лица Комитета работают исключительно на общественных началах.

III. Рабочие группы.

1. Группа прав и обязанностей писателя. Ее задача — контроль за соблюдением демократических норм в жизни писательской организации, подготовка и проведение общих собраний Комитета, активное участие в обсуждении проекта нового устава СП, а в случае необходимости — выработка альтернативного варианта. В задачи группы также входит разработка правовых мер по ограждению писателя от фактов явного и скрытого цензурного произвола.

2. Группа «быстрого реагирования». Ее обязанность — незамедлительно привлекать внимание к нарушениям Конституции и прав человека, а также к фактам оскорбления гражданского профессионального и человеческого достоинства писателя. Конкретные формы таких акций утверждаются Временным советом.

3. Издательская группа. Организует издательскую деятельность Комитета, руководит работой «Литературного агентства», борется за гласность планов других издательств, включая списки на «Избранное» и собрания сочинений на пятилетку.

4. Группа «Пресс-центр». Осуществляет постоянную связь с прессой, радио, телевидением. Распространяет информацию о текущей деятельности Комитета. Раз в месяц проводит в ЦДЛ встречи писательской общественности «Открытый микрофон».

5. Группа сотрудничества. Вступает в контакт и осуществляет совместные действия с другими творческими союзами, объединениями интеллигенции, религиозными сообществами, различными общественными движениями, близкими по своим идейным устремлениям Комитету «Писатели в поддержку перестройки» («Апрель»). Налаживает контакты с коллегами, живущими за рубежом, а также с писательскими организациями зарубежных стран, в том числе с Пенклубом.

6. Группа «Казначейство». Осуществляет финансовую деятельность Комитета: ведет сбор и учет членских взносов (10 руб. в год), привлекает дополнительные средства от различных фондов (вклю-

чая Литфонд), других общественных организаций, кооперативов, спонсоров.

7. Группа творческого резерва. Осуществляет контакт с молодыми авторами и литераторами — нечленами СП.

IV. О членстве в Комитете «Писатели в поддержку перестройки» («Апрель»).

Стать членом Комитета может любой член Союза писателей СССР, готовый активно поддерживать программу и принципы Комитета «Писатели в поддержку перестройки» («Апрель»)

Комитет приглашает к активному сотрудничеству всех литераторов, не состоящих в Союзе писателей СССР.

Комитет «Писатели в поддержку перестройки» «Апрель».

Манифест принят 10 марта 1989 года на Учредительном собрании.

10 марта 1989 г. на заседании рабочего совета А. Приставкин, А. Злобин, А. Стреляный избраны сопредседателями комитета «Апрель».

Резолюция

Комитета «Писатели в поддержку перестройки» «Апрель»

1. Союз писателей оказался организацией, непригодной для реального осуществления перестройки в литературном деле. Авторитет Союза писателей продолжает падать. Комитет ППП «Апрель», суммируя общественное мнение писателей Москвы, а также других писательских организаций республик и областей, предлагает созвать внеочередной всесоюзный съезд писателей. Выборы делегатов на съезд мы предлагаем провести на общих собраниях каждой писательской организации.

2. Комитет ППП «Апрель» протестует против игнорирования общественного мнения писателей и бюрократической волокиты с утверждением А. И. Стреляного на должность директора издательства «Советский писатель».

3. Комитет ППП «Апрель» присоединяется к требованию общественности, получившему свое отражение в многочисленных публичных — устных и печатных — выступлениях, отменить решение секретариата СП СССР об исключении А. И. Солженицына из СП СССР и снять запрет на публикацию в стране его произведений.

Комитет считает, что это решение должно быть распространено и на других писателей, исключенных в годы застоя из СП по идеологическим мотивам.

4. Комитет ППП «Апрель» учреждает ежегодную литературную премию «За гражданское мужество писателя».

Премия присуждается один раз в год за литературное произведение любого жанра. Рассмотренные на Временном совете представления утверждаются на общем собрании Комитета.

Первая премия будет присуждена за литературное произведение, опубликованное в течение 1989 года. О присуждении премии будет объявлено в первой половине января 1990 года.

Денежный фонд премии «За гражданское мужество писателя» складывается из взносов членов Комитета и общественных организаций.

Ко всем деятелям культуры и науки

Обращение

**собрания московских писателей,
учредителей независимого общественного комитета
«Писатели в поддержку перестройки»
«Апрель»**

Дорогие друзья!

Мы переживаем трудное и счастливое время. Мы дожили до него, провозгласившего революционную перестройку общества — в этом наше счастье. Но осуществить демократизацию жизни — великий труд и великий долг перед будущими поколениями.

Перестройка в стране вступает в решающую фазу. Консолидация всех творческих сил становится одним из важнейших велений времени.

Мы призываем вас создать единый фронт деятелей культуры и науки в поддержку перестройки. Именно фронт, а не разрозненные фронты, в стыки между которыми уже просачивается под благовидными предложениями наше воистину проклятое прошлое. И наши авангарды снова не заметят, как окажутся в окружении, а революционные слова и формы наполнятся авторитарическим содержанием.

Это уже было с нами. В пятидесятые-шестидесятые годы мы упустили шанс восстановления демократических норм жизни. В двадцатые-тридцатые годы отказались от нравственных абсолютов, подменили общечеловеческие ценности классовыми и по сути перестали быть интеллигенцией. На нас — историческая вина.

Это не должно повториться!

Один из залогов тому — народный фронт деятелей культуры и науки, озабоченный всем спектром социальных и экономических проблем общества, но прежде всего — его духовным состоянием.

Перестройка пробуксовывает не только оттого, что несовершенны политические и экономические реформы. Они, конечно, несовершенны, но общество, призванное скорректировать и реализовать их,

уже не в одном поколении поражено тяжелым недугом бездуховности. А следовательно — безнравственности, безответственности, безжалостности и многими другими «осложнениями» этой болезни, деформировавшей человека и среду его обитания.

Мы говорим: человек в опасности, если он бездуховен. Он опасен и обществу, и самому себе. От него нет защиты, его надо лечить.

Мы это сделаем, если в обществе, открытом для правды и истины, будут восстановлены в правах абсолютные общечеловеческие ценности, если интеллигенция — не «прослойка» и не «надстройка», но цвет нации — займет свое место в социальном процессе, если наша национальная самобытность не обернется национальной ограниченностью, но соединит нас с мировой культурой, как соединили Толстой, Рахманинов, Флоренский, Шаляпин, Вернадский, Шагал и другие представители переловой русской интеллигенции.

Не надо забывать: плюрализм мнений неизбежно приведет к плюрализму действий. Поэтому главный призыв нашего учредительного собрания: давайте действовать! От слов — к делу. Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?

Остается сказать, что нам, причисляющим себя к интеллигенции, необходимо полностью демократизировать нашу внутреннюю жизнь, ибо писатель и бюрократ, ученый и бюрократ, художество и начальство — понятия несовместимые.

Надо незамедлительно найти новые формы творческих объединений, исключающие только один образец — командно-бюрократический. Любая организация хороша, если она служит выявлению творческой индивидуальности художника или ученого.

Советский человек распрямляется. Гласность и демократизация возвращают ему потерянное достоинство. Он верит свободному печатному слову, языку сцены, музыки, живописи. И тем больше, чем меньше мы будем перед ним заискивать.

Деятели искусства и науки — законные претенденты на высокое звание русского интеллигента. Мы не должны быть ни с народом, ни для народа. Мы — народ.

*Комитет «Писатели в поддержку
перестройки» («Апрель»)*

10 марта 1989 года Москва



Фазиль ИСКАНДЕР

Девушка Лора и лошадник Чагу

Гете сказал: коллекционеры — счастливые люди. Внесем небольшую поправку — пока их коллекцию не ограбили.

У меня есть родственник. Зовут его Ремзи. Он работает в институте усовершенствования учителей и в свободное от усовершенствования учителей время коллекционирует своих родственников и однофамильцев. Он их фотографирует и вклеивает их снимки в альбомы. Оригиналы же фотографий он раз в году собирает в селе Кутол, где они за выпивкой и свежим мясом с мамалыгой обсуждают свои фамильные успехи и провалы. В маленькой Абхазии это вполне возможно.

Я несколько раз просил его взять меня с собой на эти торжества. Но ко дню праздничного сборища он, бедняга, так изматывается от организационной суеты, что забывает мне позвонить. Так, во всяком случае, он мне объяснял свою забывчивость, а заподозрить его в некоем фамильном масонстве у меня нет никаких оснований.

Высокий, горбоносый, Ремзи всегда находится в бодром, деятельном состоянии духа. Ясно, что таким он и будет всегда — его комплекции не грозит ограбление.

Мы с ним родственники через бабушку по отцовской линии. Он мне открыл, что еще задолго до революции, когда моя бабушка вышла замуж за перса, родственники не признали этот брак, и она с мужем лет десять скиталась по странам Ближнего Востока. И только позже, когда они вернулись в Абхазию с детьми, мой персидский дед был признан строгим кланом. А я-то думал, что моя бедная бабушка, в детстве так сладостно искавшая у меня в голове (разумеется, чисто символически), дальше Гудауты никуда не ездила. Решительно не зная, как применить эти столь запоздалые сведения, я их на всякий случай вписываю сюда.

Кстати, насчет браков. Ремзи коллекционирует и фамильные свадьбы. Он мне жаловался, что наши абхазцы стали подвергаться всеобщей порче. Как-то он заснял свадьбу одного юного сородича. Через полтора месяца, когда часть фотографий готовилась к отправке новобрачным, его настигла весть, что они разошлись. Нельзя сказать, что он слишком торопился со своим подарком, как нельзя сказать, что новобрачные слишком долго раздумывали.

— Бесстыжие, — сказал Ремзи, — хоть бы моих фотографий дождались.

С этими словами, горестно вздохнув, если вздох коллекционера можно назвать горестным, он завел фамильный альбом скоропостижных разводов.

Кстати, фотографии арестованных однофамильцев он перечеркивает карандашом, что означает возможность стереть резинкой следы карандаша, если провинившийся исправится. Если же данный однофамилец снова попадал в тюрьму, его фотография перечеркивалась красными чернилами, и он уже больше никогда не приглашался на фамильные торжества. Ремзи несколько раз лично выезжал в близлежащие тюрьмы, чтобы на месте провести с однофамильцем или родственником культурно-просветительную беседу.

Опытом его работы заинтересовались на каком-то совещании учителей в Ленинграде. По-видимому, кому-то пришло в голову таким образом попытаться укрепить трудовую дисциплину русской нации. Ремзи им все рассказал, продемонстрировал альбомы, не скрывая фотографии, не только перечеркнутые карандашом, но и красными чернилами. Честность прежде всего! Судя по всему, в условиях раскидистой России, где не только однофамильцы, но и родственники иногда всю жизнь не встречаются, использовать его опыт трудновато.

Я как-то спросил у Ремзи, нет ли в его клане хорошего лошадиника, который на моих глазах мог бы объездить лошадь. Мне это надо было для моей работы.

— Как же, — сказал он, — есть такой. Зовут его Чагу. Бывая в городе, он всегда заходит ко мне.

Ремзи рассказал забавный случай с этим Чагу, когда тот однажды, отбазарив, пришел к нему домой. В это время Ремзи спешил на работу. Жены дома не было, и он решил на скорую руку накормить гостя. Он вынул из холодильника закуски, бутылку отличного вина и посадил Чагу за стол. Ремзи успел налить ему пару стаканов вина, и Чагу их выпил.

— Как тебе вино, Чагу? — спросил у него Ремзи.

— Хорошее вино, — сказал Чагу, — хотя чуть-чуть кислит.

— Как так кислит?! — удивился Ремзи и, налив себе немного в стакан, отпил. Господи! Оказывается, второпях он из холодильника достал бутылку с уксусом вместо бутылки с вином. Чагу, подчиняясь абхазскому обычаю принимать как должное любое хозяйское угощение, выпил, не дрогнув ни одним мускулом, два чайных стакана уксуса, винного конечно.

Ремзи знает этого Чагу с давних времен, сам он выходец из того села, где и сейчас живет Чагу. Однажды в юности он верхом отпра-

вился на альпийские луга, куда днем раньше выехал Чагу с другими пастухами. Километров за десять от пастушеской стоянки лошадь Ремзи споткнулась и не то сломала ногу, не то растянула. Дальше она не могла идти. Ремзи снял с нее поклажу и один к вечеру пришел в пастушеский лагерь.

Чагу, узнав о случившемся, страшно рассердился на него: как можно хромую лошадь одну оставлять в лесу?! Ведь она не сможет бежать ни от волка, ни от медведя! А что ты мог сделать?! Ждать нас возле нее! Мы же знали, что ты должен прийти, и раз ты вовремя не пришел, мы бы вышли тебе навстречу!

Он ушел за лошадью, каким-то образом стянул и перевязал ей больную ногу, и она поздно ночью приковыляла вместе с ним к пастушеской стоянке.

По словам Ремзи, хотя с тех пор прошло около тридцати лет, Чагу нет-нет да и вспомнит: как это ты мог хромую лошадь оставить одну в лесу!

Кстати, сейчас я вспомнил, что когда-то читал о подвиге североамериканского индейца, который вроде Чагу тоже, не дрогнув ни одним мускулом, выпил какую-то дрянь. Не удивительно. Люди патриархальной психологии ведут себя одинаково.

Однажды один бывший работник КГБ простодушно рассказал мне, что в послевоенные времена ему в недрах его учреждения попала некая статистическая диаграмма, что ли, где демонстрировались сравнительные данные вербовки населения по национальному признаку. Из его рассказа совершенно отчетливо прослеживалось угасание силы сопротивления по мере угасания патриархальности народа. Сам он даже отдаленно не подозревал такого признака, просто рассказывал, что помнил. Признак патриархальности — заметил я.

Я думаю, человечество, если оно вообще уцелеет, еще сильно заплатит за грязный релятивизм цивилизации.

Но я отвлекся. Ремзи связался с Чагу и узнал, что у него и в самом деле есть необъезженная лошадь. В один прекрасный день Ремзи мне позвонил и как всегда бодрым, радостным (коллекционер!) голосом сказал:

— Завтра Чагу нас ждет. Едем на моей машине.

Виктор Максимович еще раньше выказывал мне желание поехать со мной к этому лошадиному. Я прихватил его с собой, и мы выехали из города. Когда мы проезжали небольшой сельский поселок, Виктор Максимович показал рукой в окно:

— Видишь вон тот дом?

Мы оба сидели сзади. Я проследил за его рукой. Он показывал на довольно обычный в этих местах кирпичный дом на высоких бетонных сваях. Сразу за домом начиналась табачная плантация.

— В этом доме жил Уту Берулава, — сказал Виктор Максимович.

Так вот он, дом знаменитого бандита! Я его самого никогда не видел, а теперь уже и не увижу, потому что его расстреляли. Преступления его были всегда мерзки, а иногда мерзки и бессмысленны.

Так, в большой статье, появившейся в «Заре Востока» после его

расстрела, говорилось, что однажды он выстрелил в мальчика за то, что тот попросил его не чистить туфли возле колонки, где какие-то загородные люди набирали воду. Мальчик, конечно, не знал, кто он такой. В отличие от многих других мальчика он, к счастью, не убил, а ранил.

Это был человек-зверь, возможно, и не совсем нормальный. Трудно сказать. Одно время он работал на бензоколонке, тайно промышляя ворованными машинами. Чаше бывал в бегах. Он обладал невероятной физической силой. Вот единственная его невинная забава, известная в городе. Поздно ночью, выпивший, в хорошем настроении возвращаясь из какой-нибудь компании, он аккуратно переворачивал кверху колесами легковые машины, попадавшие на его пути.

Все остальные забавы были ужасны. Вот одна из них. О ней мне рассказал мой школьный товарищ, тогда работавший в прокуратуре. Уту кутил в каком-то доме с какими-то мерзавцами и шлюхами. Напившись, он стал выводить из помещения, где они кутили, представительниц прекрасного пола. Никто ему не смел возразить, пока очередь не дошла до женщины, принадлежащей достаточно храброму головорезу. Возникла дискуссия, в результате которой Уту предложил ему сесть в его машину и продолжить спор на одном из загородных кладбищ. Предложение было принято, и, как позже выяснилось, они вместе с несколькими свидетелями отправились туда.

Я уже не помню, убил ли он своего соперника еще в дороге или только оглушил его своей страшной рукой. На кладбище он выволок его тело из машины, разрядил в него свой пистолет, потом вылил на него канистру с бензином и поджог, чтобы труп не опознали. Мой школьный товарищ рассказывал, что в тот раз следствие по пулям определило его пистолет.

Хотя его много раз сажали, меня всегда удивляло, что он достаточно быстро выходил из тюрьмы. В тюрьме у него всегда был особый режим и особое питание. В том же номере «Зари Востока» говорилось, что, когда он сидел в тбилисской тюрьме, в новогоднюю ночь ему тюремщики принесли вино и жареного поросенка. Славные тюремщики!

В последний раз он бежал из потийской тюрьмы при довольно забавных обстоятельствах. Он попросился проведать больного родственника, лежавшего в больнице. Его отпустили с двумя офицерами. Проведав родственника, они втроем пошли в ресторан и выпили шампанского. Офицеры забыли, что шампанское располагает к свободе, и на обратном пути Уту отнял у одного из них пистолет, сел в такси, пригрозил таксисту оружием и заставил его привезти себя в Абхазию. Здесь он бросил такси и ушел в горы.

Несмотря на деньги и связи, он, будучи в бегах, словно зверь, могущий жить только в одной климатической зоне, далеко не уходил. Скрывался только в Абхазии и Мингрелии. В конце концов ему это, видимо, надоело, и он, пустив в ход свои связи, договорился с властями, что если ему не дадут нового срока, то он выйдет с повинной. Ему обещали и обманули. Сделали вид, что уже после того, как его

взяли, обнаружили его новые преступления, о которых до этого не знали. К этому времени в Грузии к власти пришел Шеварднадзе, и, видимо, те люди, которым Уту был нужен для каких-то целей, потеряли влияние.

Говорят, на суде, как это бывало и раньше, он пустил в ход свой старый псевдобиблейский номер. Он разделся догола и крикнул:

— Граждане судьи, вот таким я пришел в этот мир! Люди меня сделали преступником!

Сам того не ведая, подобно нашим социологам, он спорил с Ломброзо, забывая, что и его отец, и его братья были такими же преступниками, хотя он их всех намного превзошел. Его наконец расстреляли.

Вот о чем я вспомнил, когда Виктор Максимович показал мне на дом Уту Берулава. Машина сейчас катила по Верхнеэшерскому шоссе. Справа от нас высились скальные нагромождения, поросшие кустами ежевики и азалий. Слева, пониже нас расстилалась мягко-холмистая низменность с мирными крестьянскими домиками, кукурузными полями и табачными плантациями. Дальше вставала сиреневая стена моря. Был солнечный день начала лета.

— Сейчас я вам расскажу одну историю, — начал Виктор Максимович. — Недалеко от моего дома жила очаровательная девушка. Звали ее Лора. Она была маленького роста, с большими сияющими карими глазами на всегда чистом утреннем лице. Каждый раз, увидев меня, она останавливалась или мимоходом бросала:

— Виктор Максимович, ну когда же, наконец, вы меня покатаете на своем самолете?

— Скоро, скоро, Лорочка, — отвечал я ей в тон, и она, простучав каблучками, быстро проходила мимо моего дома.

Лора жила одна со своей мамой. Отец у них давно умер. Две старшие сестры вышли замуж и жили в России. Мать, бывшая работница табачной фабрики, получала пенсию, но основной доход им приносили курортники. На весь сезон они сдавали свой дом отдыхающим.

Уходя на рыбалку или возвращаясь с рыбалки, я видел с моря, как Лора хлопчет на своей усадьбе: стирает или развешивает белье своих многочисленных жильцов, гладит, возится на огороде или варит варенье возле своего дома.

Ко времени, о котором я рассказываю, Лора была студенткой третьего курса педагогического института. У нее был жених. Звали его Марк. Он был начинающим преподавателем музыкального техникума.

Марк вырос на моих глазах. Он жил со своими родителями через один дом от меня. Отец его, весьма преуспевающий жестянщик, был порядочным негодяем. По-видимому, он вдолбил себе мысль, что еврей в этой стране может выжить только будучи жестянщиком или музыкантом. Так как стадия жестянщика была пройдена, Марка с детства обучали музыке, которую он, судя по всему ненавидел.

Скандалы и битье ремнем были довольно частым явлением. Бедный маленький Марик так визжал, что я слышал его голос на своем

участке. Несколько раз я не выдерживал, вбегал к ним во двор и отнимал у разъяренного отца мальчишку. Один раз не выдержал и двинул отца как следует. Не знаю, прекратилось ли с тех пор битье или жестянщик перенес свои экзекуции в глубину дома, но с тех пор я не слышал, чтобы мальчик кричал.

Но вот прошли годы. Жестянщик все-таки добился своего: Марк — преподаватель музыкального техникума.

Они с Лорой должны были жениться, как только она окончит институт. Вообще все это у них началось со школы. Марк, конечно, брэнчал на фортепьяно на школьных вечерах, как и все школьные музыканты, окруженный поклонниками и поклонницами. Тогда-то он, может, и произвел впечатление на еще совсем юную девочку. А может, что-то другое. Они ведь тоже почти соседи. В конце концов, я думаю, она его полюбила за его обезоруживающую доброту.

Высокий, некрасивый, но обаятельно-лопоухий Марк и маленькая, очаровательная Лора казались мне прекрасной парой. Конечно, она им вертела, как хотела, но бывала только с ним и собиралась выйти за него замуж.

Я, кстати, не замечал в Марке ни малейшего озлобления на отца, так нещадно колотившего его в детстве. Думаю, дело все в природе. Если уж человек от природы наделен большой добротой, никаким ремнем ее из него не выбьешь.

Когда я их встречал вместе, Лора, сияя своими большими чудесными глазами, говорила мне, улыбаясь:

— Виктор Максимович, когда ж мы полетим наконец? А то скоро Марк на мне женится, у нас будут дети и тогда я не рискну полететь. Разве что Марку отец подыщет богатую невесту?

Марк смущенно сопел и улыбался. Ясно было, что он свою Лору не променяет ни на какие богатства мира.

Однажды я рыбачил километра за полтора от берега. Вдруг слышу:

— Виктор Максимович, я к вам!

Я вздрогнул. Смотрю, Лора уцепилась руками за корму. Лицо побледнело, глаза сияют. Я не заметил, как она подплыла.

— Ты почему так далеко заплыла? — говорю.

— А я знала, что вы здесь рыбачите, — говорит, — мне захотелось доплыть до вас.

— Лора, — говорю, — ты представляешь, что будет с Марком, если он узнает, как ты далеко отплыла от берега.

— Ничего, — с неожиданной твердостью сказала Лора, — не умрет.

Я ей дал как следует отдохнуть, а потом она поплыла назад, и я долго следил за ее голубой купальной шапочкой.

Вот такая девушка жила недалеко от меня, и каждый раз видеть эту деятельную, как пчелка, жизнерадостную девушку было маленьким праздником.

И вдруг страшное несчастье. Мать Лоры попала под машину на шоссе совсем рядом со своим домом. На нее наехал вдрабадан пьяный местный врач, за которым уже гналась милицейская машина. Его, конечно, взяли. Он был настолько пьян, что сам не мог выйти из сво-

их «Жигулей». Был составлен акт, нашелся свидетель, местный житель, который видел, что машина мчалась с огромной скоростью.

Через неделю я встретил Лору. Она в траурном платье проходила мимо моего дома.

— Только что была в милиции, — сказала она, — маму не вернешь, но пусть этот мерзавец посидит в тюрьме. Следователь дал прочесть мне свидетельские показания и акт экспертизы психоневрологического диспансера. Там написано — опьянение сильное. Дело передано в прокуратуру... Пусть посидит, мерзавец...

И она пошла дальше. Я ничего ей не сказал и только с грустью посмотрел ей вслед. Я уже знал, что этот врач родной брат местного миллионера, мясного короля, связанного с западногрузинской мафией. Трудно было поверить, что миллионер не выручит своего брата.

Через пару месяцев опять встречаю Лору. Она шла с базара с корзиной. Увидев меня, поставила корзину и остановилась.

— Виктор Максимович, что же это делается! — воскликнула она, — они все перевернули! В прокуратуре все документы подделаны. Акт экспертизы совсем другой, как будто бы никакого опьянения не было. Свидетельских показаний нет. Выходит, как будто бы мама переходила дорогу в непопозволенном месте, а этот мерзавец пытался затормозить, но не смог. Выдумали какой-то тормозной путь! Почему они раньше ничего о нем не писали! Переход прямо напротив нашего дома. Зачем маме нужно было переходить улицу в непопозволенном месте! А показания свидетеля исчезли. Я пошла к следователю милиции, который давал мне все это читать. Он долгие меня не принимал, но я все-таки добилась встречи. Какой подлец!

— Вы же, — говорю, — показывали мне анализ крови. Там же ясно было написано: опьянение сильное. Это мне приснилось или была такая справка?

— Да, — говорит, а сам в глаза не смотрит, — но это результат неисправности аппарата. Повторная экспертиза показала, что он был трезвый.

— Он же был, — говорю, — настолько пьян, что сам не мог выйти из машины. Ваши же милиционеры его вытащили!

— Это шок, — говорит, — он просто потерял контроль над собой.

Я чуть с ума не сошла, но все-таки сумела удержать себя в руках.

— Где же показания свидетеля, — говорю, — почему вы их не передали в прокуратуру?

— Он их забрал, — говорит, а сам в глаза не смотрит, — по советским законам показания свидетеля не документ. Он не отвечает за них. Сначала ему так показалось, а потом он вспомнил, что все было не так. Он отвечает только за показания на допросе.

— Я пошла к свидетелю, — продолжала Лора. — Я его всю жизнь знаю, он же недалеко от нас живет, возле погранзаставы. Когда я вошла к нему во двор, он сидел на крыше сарая и крыл его дранью.

— Василий Петрович, — говорю, — вы же двадцать лет маму знаете. Что с вами случилось, неужели они вас купили?

Молчит. Только молотком постукивает, а изо рта гвозди торчат. Я постояла, постояла, вижу, он не хочет говорить со мной и пошла назад. У калитки догнала его жена:

— Лорочка! Лорочка! Прости! Приходил человек и угрожал сжечь дом.

— Что же это такое, Виктор Максимович, неужели на этого мясника управы нет?

— Милая Лора, — говорю, — к сожалению, это так. Оставь, ты себя изведешь и ничего не добьешься.

— Нет, Виктор Максимович, — сказала Лора, качая головой, — я никогда в жизни не отступлюсь. Моя мама, оставшись без папы, нас, трех дочерей, поставила на ноги. Она всю жизнь набивала папиросы на табачной фабрике. У нас целая пачка грамот. А теперь, значит, она никому не нужна? И пьяный негодяй ее может убить машиной, как бродячую собаку? Нет! Я пойду в КГБ.

Она подняла свою тяжелую корзину, и я долго смотрел вслед ее маленькой, упорной фигуре. Что я ей мог сказать? Чем помочь? И при чем тут КГБ.

Проходит еще какое-то время. Я встречаю Лору в нашем гастрономе. Мы выходим вместе.

— Ну что, Лора, была в КГБ?

— Была, была! — говорит. — Меня принял какой-то полковник, доброжелательно выслушал, а потом позвал своего помощника. И они стали между собой переговариваться по-абхазски. У меня отец русский и фамилия русская, а мать абхазка. Они не знали, что я прекрасно понимаю по-абхазски. Я все понимаю, а они переговариваются между собой. Оказывается, помощник был в курсе моего дела. Точнее, он был в курсе дел миллионера и его брата.

— Девушка права, — говорит помощник, — но что мы можем сделать? Миллионер со вторым секретарем обкома вот так...

Он свел указательные пальцы обеих рук, показывая, что они как братья. — Вчера, — продолжает он, — его машина стояла возле особняка миллионера три часа двадцать минут... Пусть девушка жалуется в Москву, мы ничего не можем сделать.

А я слушаю и жду, что скажет мне полковник.

— Видимо, в вашем деле здесь не смогли разобраться, — говорит он мне наконец, — жалуйтесь в Москву. Это дело вообще не по нашей части.

Тут я не выдержала.

— В Москву, — говорю, — я пожалуюсь и без вас. Но вы мне объясните такую вещь. Я ее своим женским умом не могу понять. Что может делать секретарь обкома в особняке вора-миллионера? Что он — священник, наставляющий грешника? И что вы засекаете время, пока он гостит у него? Какая от этого польза? Виктор Максимович, он от моих слов покраснел, как флаг.

— Вы что, абхазка? — говорит.

— Да, — говорю, — у меня мама была абхазка.

— Все это сложнее, чем вы думаете, — говорит он, глядя мне в глаза, — и если мы засекаем время, значит, это для чего-то нужно. Жалуйтесь в Москву, но здесь будьте осмотрительней.

Теперь я поняла, что тут мне никто не поможет. Я уже написала в Прокуратуру СССР. Жду ответа.

На этом мы расстались. Через какое-то время Лора получила ответ из Прокуратуры СССР, откуда ей написали, что ее жалоба рассмотрена и направлена в Прокуратуру Грузии. Теперь Лора ждала ответа из Прокуратуры Грузии. И вдруг однажды поздно вечером она прибежала ко мне домой. Впервые я ее видел такой бледной, испуганной.

— Ой, Виктор Максимович, что сейчас было! — воскликнула она и рухнула на диван, — кто-то стучит мне в дверь. Открываю. Входит огромный мужчина со страшными глазами. У меня душа в пятки ушла. Но я взяла себя в руки и говорю:

— Что вам надо?

Он стоит прямо жрет меня своими глазами. Потом говорит:

— У тебя несчастье было. Но этот человек не хотел убивать твою маму. Случайно получилось... Вот здесь десять тысяч... Пригодится... Ты теперь одна...

Тут у меня страх прошел.

— Нет, — говорю, — если б они мне даже миллион заплатили, я бы ему не простила маму...

Он молчит и стоит с протянутой пачкой денег в руке.

— Не возьмешь?

— Нет, — говорю.

— Ты смелая девушка, — говорит он мне и кладет пачку в карман, — но перестань жаловаться... Хуже будет... Тем более живешь одна...

И смотрит на меня своими волчьими глазами. Я собрала все свои силы.

— Нет, — говорю, — лучше пусть они меня убьют.

Он еще некоторое время смотрел, смотрел на меня, а потом молча ушел. Слышу — завел машину и уехал. Тут только я поняла, какой ужас пережила, и прибежала к вам. Но, видно, и они испугались, испугались, правда?

— Не верю я, — говорю, — что милиционеры, взявшие пьяного, дадут теперь новые показания. Одумайся, Лора, пока не поздно. Они тебя угробят, я боюсь за тебя.

Я вижу, она сидит в глубокой задумчивости, даже не слушает меня.

— Ни один человек в мире, — вдруг говорит она, словно в пространство, — не умел так любить, как моя мама. Еще до нас, своих детей, она воспитывала свою родственницу — сиротку. Я ее немного помню. Она умерла лет пятнадцать назад от воспаления легких. Мама до последней минуты была с ней. И она перед смертью маме сказала: — Люби меня всегда!

Она была сиротка, и ей было страшно умереть, думая, что никто из живых о ней не будет помнить. И за все эти пятнадцать лет мама

никогда о ней не забывала и всегда плакала, вспоминая ее последние минуты... Так любить, как мама... Пока я жива, я не прощу этому мерзавцу.

— Если так, — сказал я, — тебе опасно оставаться дома. Переходи к Марку или оставайся у меня, а там посмотрим...

— Нет, — вздохнула она после некоторого раздумья, — только сейчас мне не по себе. Проводите меня домой.

Я проводил ее, предупредив, чтобы она никому никогда не открывала по вечерам дверь. Она грустно кивнула и вошла в дом. На душе у меня было скверно, но я не знал, чем ей помочь.

Прошло еще несколько месяцев, и я узнал от Лоры, что Прокуратура Грузии ничего не добилась. Этого следовало ожидать. Кстати, в местной прокуратуре оказался один работник, который симпатизировал Лоре, может быть, даже влюбился в нее. Один из милиционеров, взявших тогда пьяного брата мясника, кажется, чем-то обязанный этому прокурору, дрогнул было и обещал тбилисскому следователю рассказать всю правду, но в последний момент не решился.

— Зачем вы здесь работаете, если ничего не можете сделать? — оказывается, выпалила ему Лора.

— Я чучело честности, — сказал он ей, — хоть одного человека им приходится обходить, когда они занимаются темными делишками.

Этот же прокурор помог ей написать обстоятельное письмо в «Правду». Через некоторое время оттуда пришла в местную прокуратуру копия ее жалобы с отметкой О. К., то есть особый контроль.

— Мой прокурор, — впервые за все это время радостно сказала мне Лора, — признался мне, что такое указание большая редкость! Особый контроль! Скоро приедет корреспондент и во всем разберется!

Бедная Лора, опять все сорвалось. Миллионер, даже носа не высовывая из своего особняка, все улаживал. Кстати, когда началась кампания борьбы с хищениями, снимок его особняка появился в «Правде». Тогда у некоторых местных воротил в самом деле отняли дома, но только не у этого. Шевельнулись было тронуть его, но город вдруг на несколько дней таинственно остался без мяса, и от него отстали. Но, видно, ему все-таки были неприятны ее бесконечные, бесстрашные жалобы на брата.

— Опять приходил этот с волчьими глазами, — сказала мне как-то Лора.

— Ну и что?

— Опять деньги предлагал.

— Не грозил? — спросил я, заглядывая в ее чудные, полные невыразимой печали глаза.

— Нет, — вздохнула она и как-то странно опустила свой длинноресничный взор.

Вся эта эпопея длилась около двух лет. Незадолго перед выпускными экзаменами Лоры я однажды ночью, возвращаясь из гостей, проходил к своему дому по пляжу. Была теплая лунная ночь. Смотрю, рядом с моим домом на песке лежит человек. Я подхожу к нему и вдруг узнаю в лунном свете мертвое лицо Марка. Молнией мель-

кнуло: они его убили в знак предупреждения, что следующей будет она, если не перестанет жаловаться!

— Марк! — закричал я и, наклонившись, приподнял его голову. Никогда запах алкоголя меня так не радовал — он был в полной отключке!

Я прекрасно знал, что Марк больше двух-трех рюмок не пил. Они с Лорой много раз бывали у меня. Опынение было страшное, я его тряс, но он только постанывал и никак не приходил в себя.

Хотя ночь была теплая, все-таки оставлять его на берегу было как-то боязно. Я поднял его, перевесил через плечо и отнес домой. Конечно, можно было крикнуть его родителей, но я не знал, как этот биндюжник отнесется к его ужасному опьянению. Ничего, думаю, перетерпят, да и время было позднее. Уже около трех часов ночи.

Я гадал, что с ним, почему он так напился. Неужели они поссорились с Лорой? Но если он так напился, значит, это не обычная ссора, а что-то страшное. Разрыв?

Я поздно проснулся на следующее утро. Его уже не было. На столе лежала записка — «Виктор Максимович, спасибо. Никогда, никогда ни о чем не спрашивайте. Ваш Марик».

В тот же день я узнал новость, облетевшую город. Ночью брат миллионера был убит. С улицы его окликнули. Он вышел из парадной двери своего дома, и кто-то из темноты одним выстрелом уложил его. Все считали, что это дело рук одного из западногрузинских мафиози, с которыми они были связаны. Никаких следов милиция не нашла. Стрелявший растворился в темноте. Дикое опьянение Марка и ночь убийства как-то загадочно совпали.

Поверить в это было невозможно. Но и невозможное возможно в этом мире! А что если она ему поставила такое условие? Или случайное совпадение? Почему он так настойчиво просил ни о чем не спрашивать? Я зашел к Лоре, чтобы поделиться с ней новостью об убийстве брата миллионера, но ее не оказалось дома.

Через неделю встречаю Марика и Лору на автобусной остановке. У Марика на лице выражение загнанного зайца, а Лора какая-то оледенело-спокойная.

— Лорочка, — говорю, — бог за тебя отомстил.

— А вы верите в бога, Виктор Максимович? — спросила она с каким-то язвительным вызовом.

— Верю, — сказал я, — и тебе советую.

— Виктор Максимович, — говорит Лора, — я об этом много думала. С тех пор как мою маму убил этот пьяный мерзавец, а в целой стране не нашлось ни одного справедливого человека, который осудил бы его, я много думала о всяком таком. Если жизнь моей мамочки оказалась не дороже жизни бродячей собаки, попавшей под колесо, во что я могу верить? В какого бога? Не смешите меня, Виктор Максимович, не смешите, а то я сама не знаю, что со мной будет!

Бедняга Лора, сколько же она пережила за эти два года! Я почувствовал, что это женская истерика, сдерживаемая огромным усилием воли.

Но вот Лора сдала выпускные экзамены, и они с Мариком наконец женились. Жили, конечно, у Лоры. Там и места было много, да и Лора не слишком ладила с отцом Марика. Время шло, мы иногда встречались, даже перешучивались, но той солнечной Лоры я больше никогда не видал.

Прошло три года. У меня есть молодой приятель. Он работает в сельскохозяйственном институте. Однажды мы с ним выходили из моего дома и столкнулись с Лорой и Мариком. Они шли мимо. Мы перекинулись несколькими словами, и я заметил, что мой приятель остолбенел, оглядывая Лору.

— Что, понравилась? — спросил я у него, когда они прошли.

— А кто она такая? — спросил он.

Я ему рассказал в двух словах.

— А давно они женаты? — спросил он.

— Три года.

— И как они ладят?

— У них любовь со школьной скамьи, — говорю.

— Потрясающе! — воскликнул он, — потрясающе! Именно три года назад я впервые был на практике со студентами. У нас за городом опытное поле. В тот день я отпустил студентов и один остался на табачной плантации. Вдруг я услышал автоматную очередь, и пули, взметнув пыль, легли вправо от меня. Я отпрянул влево и упал на землю. В тот же миг снова раздалась очередь, и пули, срезая табачные стебли, легли влево от меня. Я инстинктивно отпрянул вправо. Снова очередь, и пули вспыхнули справа от меня. Я отпрыгнул влево. И тишина.

Я пролежал еще минут двадцать, а потом встал и огляделся. В самое первое мгновение я подумал, что началась война. А теперь не знал, что думать. Метрах в пятидесяти от меня стоял дом, слегка прикрытый грушевыми деревьями. Но стрелять могли и с любой другой стороны. Что это? Обознавшийся мститель? Сумасшедший? Перестрелка бандитов? Я не знал, что думать. Я вышел к автобусной стоянке и поехал в город.

Я решил, что в милицию сообщать об этом как-то глупо. Возможно, подсознательный страх перед теми, кто стрелял. Люди, которым я об этом случае рассказывал, только пожимали плечами.

Прошло несколько дней. Мы со студентами, как обычно, работали на табачной плантации. Вдруг ко мне подходит человек высокого роста и очень сильного сложения.

— Слушай, — говорит он мне и, похохатывая, бьет по плечу, — хорошо я тебя напугал! Ты как заяц прыгал на поле! Пойдем выпьем по стаканчику!

И я пошел. Я еще тогда не знал, что это знаменитый бандит Уту Берулава, но от его облика веяло такой невероятной звериной силой, что не подчиниться ему было нельзя. Он был хозяином дома, возле которого располагалась наша плантация.

Жена его, бесшумная как тень, накрыла нам на стол, и мы сели пить. Кстати, вино было очень хорошее и закуска тоже. Я был весь сосредоточен на том, чтобы выглядеть естественным и дружелюб-

ным. Противно, но что поделаешь! Он мне продемонстрировал цветной телевизор, три холодильника и тот самый автомат.

Потом рассказал про какое-то умыкание, в котором принимал участие, и похвастался, что на днях к нему в гости должен заехать некий генерал.

— Кроме птичьего молока, все будет на столе, — сказал он.

Но дело не в этом. Я, слава богу, в тот день унес от него ноги и больше он меня к себе не звал. А дело в том, что я видел своими глазами, как эта вот юная женщина вышла вместе с ним из его машины и прошла в его дом.

— Не может быть, ты спутал! — закричал я.

— Я никак не мог спутать, — сказал он, — машина остановилась возле его дома, и они вышли из нее. Я стоял в десяти шагах. Да они и не скрывались ни от кого. Огромная фигура Уту рядом с миниатюрной девушкой произвела на меня незабываемое впечатление.

— Когда это было, — спросил я, — ты не можешь сказать точнее?

— Три года назад, — сказал он, — май месяц... Точней не помню...

Я ему тогда, конечно, ничего не сказал, а теперь говорю, потому что все позади. Я думаю, отчаявшись дожидаться наказания убийце матери и заметив, что она понравилась этому бандиту, Лора обо всем с ним договорилась. Он убил того, кому служил, и получил за это то, что хотел. По-видимому, она обо всем рассказала Марику, и он напилась, чтобы не сойти с ума от боли.

Через год они продали дом и переехали в Краснодар, где жила сестра Лоры. С тех пор прошло много лет. Марик с сыном ежегодно в отпуск приезжает к отцу, а Лора никогда. Думаю, что она решила навсегда отрезать этот город от своей жизни. Удалось ли это ей — не знаю. Много можно сказать по этому поводу, но я одно скажу — я ей не судья.

На этом Виктор Максимович закончил свой рассказ. Машина уже мчалась по Новому Афону.

— Сильная история, — сказал Ремзи, оборачивая к нам свое горбоносое лицо, — давайте сейчас здесь выпьем кофе, и я вам расскажу о своей встрече с Уту Берулава... А эта девушка в определенных исторических условиях могла бы стать выдающейся личностью... Но напрасно она своему бедному жениху все рассказала... Непедагогично... Можно было скрыть... Есть средства...

Он остановил машину возле веранды открытого ресторана. Мы поднялись наверх, уселись за столик и заказали три кофе.

— Вот как я встретился с ним, — начал Ремзи, — я поехал в лагерь под Зугдиди, где сидел один наш однофамилец. Мне нужно было серьезно с ним поговорить, пристыдить его за то, что он позорит наш род и спросить его, как он, в конце концов, думает жить дальше!

Лагеря собственно не было. Заключенные жили в бараках и работали на чайной плантации. И вот нас человек пятнадцать, прибывших

на свидание, каждый стоит и разговаривает со своим родственником. Рядом стоит офицер и присматривает за нами. Вдруг я услышал какой-то испуганный шепоток, все замолчали, и заключенные вместе со своими родственниками сбились в кучу.

На месте остались только я со своим однофамильцем и какая-то мингрельская старушка, которая о чем-то горячо упрашивала своего сына-балбеса. Я оглянулся и увидел, что к нам подходит какой-то человек. Внушительного роста, плечистый, с черной бородой до пояса. Потом я узнал, что Уту в заключении всегда отпускал бороду. Одет он был в черную косоворотку, хорошие шерстяные брюки и сапоги.

Он подошел к нам, остановился, взглянул на притихшую, сбившуюся группу, а потом обернулся на старушку, которая, не обращая внимания на Уту, продолжала о чем-то упрашивать своего сына. И, видно, это ему понравилось. Он спросил у старушки, чем она недовольна, и та, возможно приняв его за какого-то начальника, стала выкладывать ему свои горести.

Вдруг взгляд Уту упал на офицера, продолжавшего стоять поблизости, и он ему гаркнул по-мингрельски:

— Ты чего тут?

— Я ничего, я ничего, — пробормотал офицерик и попятился к группе, которая раболепно стояла в стороне.

— Не беспокойся, мамаша, — сказал Уту наконец, — я присмотрю за твоим сыном.

С этими словами он легким взмахом ладони дал ее сыну дружеский подзатыльник, так что голова парня откачнулась, как у болванчика. После этого он молча повернулся и ушел... Вот как я видел Уту Берилава...

Ремзи отпил кофе, на минуту замолк, и вдруг его горбоносое лицо озарилось улыбкой воспоминания.

— Слушайте, — сказал он, — до чего интересно получается! У нас сегодня день поминовения Уту Берилава! Я сейчас вспомнил, что мой Чагу тоже с ним встречался, только очень давно. Провалиться мне на этом месте, если это был не Уту Берилава! Молодец мой Чагу, не осрамил наш род! Но он сам лучше расскажет об этом, вы мне только напомните!

Мы допили кофе, сели в машину и поехали дальше. Часа через два мы въехали в это горное сельцо. Чагу жил на отшибе. Возле выезда из села улица была перекрыта воротами, чтобы скот не мог пройти на поля.

— Вот его сын ждет нас, — кивнул Ремзи на мальчика лет двенадцати, стоявшего возле ворот. Мальчик открыл их и, пропустив машину, подбежал к нам.

— Я пригоню лошадь, — радостно сказал он, заглядывая в окно. Мы поехали дальше.

— Этот мальчишка — прекрасный наездник, — сказал Ремзи, — он с девяти лет участвует в районных и республиканских скачках. Дважды брал призы на лошадях своего отца.

Машина остановилась возле усадьбы Чагу. Мы вошли во двор.

Это был чистый, зеленый, косогористый двор, обсаженный цветущими, благоухающими розами. Двор по абхазской традиции — это как бы главная комната, внутри которой расположены все остальные комнаты. Наши женщины убирают и украшают свой дом, начиная с главной комнаты.

Кстати, сам дом Чагу выглядел весьма ветхим и бедным, но рядом с ним был заложен фундамент более обширного строения с одинокой стеной.

Из дома нам навстречу вышла пожилая женщина, жена Чагу, ее сын, парень лет тридцати, его жена с грудным младенцем на руках и двумя малышами, цеплявшимися за ее юбку. Мы поздоровались с хозяевами, а Ремзи, кивнув в сторону недостроенного дома, сказал:

— Сколько же вы будете его строить? Он уже лет пять стоит в таком виде.

— С моим сумасшедшим мы его никогда не построим, — крикнула жена Чагу, — мы в колхозе заработали девятнадцать тысяч! Мой сумасшедший поехал в Черкезию и купил две лошади. Ремзи, дорогой, поговори с ним, пристыди его!

— Хорошо, поговорю, — важно сказал Ремзи, — а где он сам?

— Он по соседству, сейчас придет, — отвечала хозяйка, кажется, довольная обещанием Ремзи.

Мальчик пригнал рыжую лошадку и загнал ее во двор.

— А ну покажи фотографии, — сказал ему Ремзи.

Мальчик вбежал в дом и через некоторое время выскочил из него, неся в руке кучу разноформатных фотографий.

— Я же вам альбом купил, почему ты не вклеил их туда? — спросил Ремзи.

— Не знаю, — сказал мальчик и смущенно пожал плечами.

Это были изломанные и расплывчатые снимки скачек. Видно, он их часто показывал людям. Изображение толпы и бегущих лошадей. Получение приза верхом на лошади. Наездник, проезжающий мимо трибуны и приветствуемый какими-то начальниками.

Тыкая пальцами в снимки, мальчик односложно объяснял:

— Я... здесь... Я...

— Я тобой недоволен, — строго сказал Ремзи, — в каком состоянии у тебя снимки? Я же тебе купил альбом. Почему ты их не вклеил туда?

Мальчик трогательно прижал голову к плечу и с трудом выдавил: — Не знаю...

Односложность его ответов показалась мне странноватой, и, когда он вошел со снимками в дом, я спросил об этом у Ремзи.

— Да, — кивнул он, болезненно поморщившись, как бы признавая наличие ущербной царапины в роду, — он однажды неудачно упал с лошади...

Во двор вошел хозяин дома. Это был сухощавый мужчина лет шестидесяти. Маленького роста, жилистый. Одет он был в галифе и черную сатиновую рубашку, перепоясанную кавказским поясом, на котором сбоку болтался в чехле большой, пастушеский нож.

Он за руку поздоровался со всеми и, поняв, что Виктор Максимович не абхазец, особенно сердечно с ним поздоровался, как с наиболее дальним и потому почетным гостем.

— Долго же вы собирались, — сказал он, взглянув на Ремзи, — вон уже где солнце... Теперь сами решайте, сначала сядем за стол, а потом объездим лошадь или наоборот?

— Нет, нет, — за всех сказал Ремзи, — сначала объезди лошадь, а потом спокойно сядем за стол, выпьем, поговорим...

— Вынеси седло, — кивнул отец мальчику. Мальчик побежал на кухню и вынес седло и уздечку.

Чагу осторожно подошел к лошади и надел на нее уздечку. Мальчик поднес седло. Отец так же осторожно, что-то ласково мурлыкая, оседлал лошадь и затянул подпруги. Лошадь вела себя довольно смирно. Дальше произошло неожиданное для меня. Чагу не сел на лошадь, а стал, держась за поводья, гонять ее вокруг себя, нещадно шлепая камчой. Потом он, перехватив поводья у самой лошадиной морды, стал заставлять ее двигаться назад. Лошадь вздрагивала, дергалась в сторону, вздымала морду и долго не могла его понять.

В конце концов он ее заставил пятиться, и она, пятась, прошла по двору до самой изгороди. Чагу снова привел ее на середину двора.

Теперь он совсем коротко перехватил поводья и стал заставлять ее кружиться вокруг себя. Лошадь всхрапывала, упрямылась, но под ударами камчи все быстрее и быстрее кружилась в полуметре от хозяина. И вдруг то ли она слишком круто повернулась, то ли еще что, я не успел заметить, но она опрокинулась на хозяина. Они оба покатались по косогору двора. Мне показалось, что теперь ни лошадь, ни хозяин не сумеют сами встать на ноги. Но они оба вскочили, и лошадиник, сделав это на мгновение раньше, на лету цапнул ее за поводья и не дал уйти.

Теперь лошадь так тяжело дышала, что было слышно на весь двор ее хриплое дыхание. Чагу перекинул поводья через шею лошади и вскочил в седло. Лошадь вела себя спокойно. Чагу промчался несколько раз по двору, резко притормаживая у изгороди.

Потом он, видимо решив, что сопротивление лошади недостаточно красочно, стал подымать ее на дыбы. Но она, бедняга, долго не понимала его, крутила головой, вспрыгивала в сторону и, наконец, все-таки встала на дыбы. Чагу соскочил с нее, подвел к изгороди и накинуд поводья на кол.

— Готова! — крикнул он по-русски и, помахивая камчой, подошел к нам.

Стол накрыли на веранде, и мы уселись. Пока мы пили и ели, я несколько раз оглядывался на привязанную лошадь и мне показалась странной ее абсолютная неподвижность. Она даже хвостом не шевелила. Я спросил у Чагу, чем это объяснить.

— Обижена, обижена, — сказал он с улыбкой, как о простительном чудачестве еще слишком молодой лошади, — ничего, скоро пройдет.

— Лошадь как человек! — вдруг вскричал Чагу, — только не

разговаривает. Вот я вам расскажу, что со мной однажды было, а вы переведите нашему гостю.

Он кивнул в сторону Виктора Максимовича.

— Лет пять тому назад, — начал Чагу, — я возвращался со свадьбы в одном селе. Мы пили всю ночь, и я, конечно, был крепко выпивший. Где-то на полпути я заснул, вывалился из седла и упал на землю. Как я потом сообразил по солнцу, я проспал часов семь-восемь. Проснулся я от того, что лошадь меня толкала мордой: — Вставай, пора домой. — Вокруг меня метров на десять траву словно косой выкосило. Никуда не ушла. Паслась поблизости, сторожила меня, чтобы какая-нибудь свинья не осквернила или зверь не подошел. И уже когда времени оставалось ровно столько, чтобы хорошим шагом к вечеру дойти домой, она меня разбудила: — Вставай, пора домой! Я сел на свою лошадь и как раз, когда мы входили в ворота нашего двора, солнце приводнялось (пересоздаю слабую копию абхазского глагола: Абхазия великая морская держава). Видите, как она уразумела, когда надо меня будить. Вот что такое лошадь!

Я перевел Виктору Максимовичу слова Чагу. Мы посмеялись.

— Слушай, — вспомнил Ремзи, — что это за бандит когда-то к тебе приходил. Это был Уту Бериулава или кто другой?

— Он! Он! — вскричал Чагу, — говорят, его расстреляли и в газете об этом прописали. Я охотился за этой газетой, но не достал. Достань ее мне!

— Зачем тебе газета, — сказал Ремзи, — ты лучше расскажи, как это было!

— А какой он с виду был? — спросил я у Чагу.

— Большой, — вскричал Чагу, — в эту дверь не пройдет. А глаза — на беременную взглянет — раньше времени выкинет, такие глаза!

— Оставь его глаза, лучше расскажи, что было, — перебил его Ремзи.

— Для гостя по-русски расскажу, — сказал Чагу, осмелев от выпивки, — а вы не смейтесь над моим русским.

— Это давно было, — сказал Чагу, обращаясь к Виктору Максимовичу, — моя старший сын, вот этот, в армии была. Значит, десять-одиннадцать лет назад. Ночью кто-то стучит. Открываю. Человека стоит.

— Что надо?

— Кушать хочу.

Я ему дал кушать и оставил ночевать. Сразу понял — скрывается от власти. Может — кровник, может, абрек — не знаю. Я не спрашиваю. Он не говорит. Ага! Вот так живет у меня три дня. Все, что мы кушаем, ему кушать даем, все, что мы пьем, он пьет. Днем он ничего не делает, только пистолета свой чистит. Ночью спит, как мы. На четвертая дня садимся обедать, вот эта моя хозяйка подала, что было. А он мне говорит:

— Чагу, пойд и достань у соседей хорошая вино.

Я чуть с ума не сошел! Я крестьянин, у меня простая крестьян-

ская вино. Чем виновата моя вино?! Живет мой дом и посереде моего дома сирет на мой хлеб-соль!

— Моя вино плохая? — говорю.

— Плохая, — говорит.

— Моя отца, — говорю, — у твоего отца тоже батраком работала? Землю пахал, вино приносил, дрова рубил?

— Много не разговаривай, иди, — говорит, — а то узнаешь, кто такой Уту Борулава!

Если человека, как скотина сирет на твой хлеб-соль в твоём доме или убей его или убей себя! Зачем жить! Ага, думаю, сейчас я тебе покажу плохая вино. У меня в другой комнате висела хорошая двустволка с медвежьим жакан. Сейчас тоже там висит!

— Хорошо, — говорю, — сейчас принесу.

Он, как зверь, что-то догадал.

— Зачем туда идешь, — на двор показывает, — туда иди!

— Деньги, — говорю, — надо взять. Кувшин вина бесплатно никто не даст.

— Хорошо, — говорит, — бери.

Ага! Я иду другой комната, снимаю ружье и выхожу. Слово не мог сказать! Смерть любая человек боится!

Я мать его не оставил! Отца его не оставил! Деда не оставил! Никого не забыл!

— Вставай, выходи, — говорю, — свинья в свинарнике надо убивать!

Он встает. Жена кричит: — Не убивай, тебя посадят! — но я убить не хочу, так пугаю. Хочу сдать его государству в райцентр.

Вышли. Теперь как? До райцентра двадцать километров. Лошадь моя во дворе. Тигра, никого кроме меня к себе не допускает. Как оседлать?

Я говорю жене: — Держи ружье! Рука, нога, голова — чем бы ни двигала — вот это нажимай! Пусть как мертвая стоит!

Жена моя кричит, не хочет брать ружье. Заставил! Взяла! Он стоит пять-шесть шагов.

— Чем бы ни двигала — сразу стреляй! — говорю.

Я быстро поймал лошадь, оседлал ее, вынул его пистолета из-под подушки, положил карман, сел на свою лошадь и как скотину погнал его впереди себя.

По дороге он просил меня отпустить. Деньги обещал. Большие деньги! Но я его не слушала. Я его (тут Чагу, не найдя соответствующего русского слова, по-абхазски добавил) искамчил! Всего искамчил! Даже рука устала!

Чагу снова перешел на русский.

— И он уже у меня ничего не просит. И я успокоил душа. И тут мы проходили, где мелкая ольха растет. Много-много мелкая ольха. И он прыгнул в это мелкая ольха. Я выстрелил — не попал! Лошадь пустил, но лошадь быстро не может. Ветка мешай! Мелкая ольха мешай! Убежал! Я повернул лошадь. Сдал пистолета в сельсовет. И сказал. Три дня жила — не сказал. Сказал — в этот день пришла. Я боялся, что он ночь придет и наш дом пожар сделает. Я достал

хороший собака. Но он не пришла. А сейчас всё! Сейчас власть его стрелял!

— Лучше бы он сжег наш дом, — неожиданно по-абхазски встала хозяйка, до этого молча и внимательно слушавшая своего мужа, — тогда уж ты построил бы новый...

Тут наш Ремзи стал серьезно увещевать старого Чагу, указывая ему на то, что любовь к лошадям это, конечно, дело хорошее и он призами на скачках прославляет свой род, но все-таки и дом наконец пора построить. Вон и семья разрослась.

— Успеем, успеем, — сказал Чагу и, с ходу зажигаясь, добавил: — слава богу, над головой не течет! А ты что в лошадях понимаешь? Охромевшую лошадь бросил в лесу! Все равно что этого несмышленища в чашобе оставить!

Он ткнул рукой на одного из своих внуков вместе с братцем стоявшего, прижавшись к материнской юбке. Малыш встрепенулся и еще теснее прижался к матери.

Мы поблагодарили хозяйку за угощение, спустились во двор и прошли к машине. Объезженная лошадь все так же неподвижно с опущенным хвостом стояла на привязи.

— Приезжайте на осенние скачки, — крикнул Чагу напоследок, когда мы уже были в машине, — черкесскую пушу!

Мы поехали по узкой, каменистой дороге. Младший сын Чагу, возможно, изображая лошадь, мчался за машиной до самых ворот. Добежав, он открыл их нам, помахал рукой, и мы поехали дальше.

— Единственно, в чем был прав Уту Берулава, — неожиданно без всякого юмора заметил Ремзи, — это то, что у Чагу вино плохое. И оно всегда у него было такое!

Ремзи был прав. Но Чагу явно настоящий лошадиник, а истинная страсть не терпит соперниц.

Ипатьевская баллада

Морганатическую фрамугу
выломал я из оконного круга,
чем сохранил ее дни.
Дом ликвидировали без звука.
Боже, царя храни!

Этот скрипичный ключ деревянный,
свет законный, узор обманный
видели те, кто расстрелян, в упор.
Смой фонограмму, фата моргана!
У мальчугана заспанный взор...
— Дети, как формула дома Романовых?
— НСИ!

Боже, храни народ бывшей России!
Хлорные ливни нам отомстили.
Фрамуга впечаталась в серых зрачках
мальчика с вещей гемофилией.
Не остановишь кровь посеючас.

Морганатическую фрамугу
вставлю в окошко моей лачуги
и окаянные дни протяну
под этим взглядом, расширенным мукой
неба с впечатанною фрамугой.
Боже, храни страну.

Да, но какая разлита разлука
в формуле кислоты!
И утираешь тряпкою ты
дали округи, обломок фрамуги
и растворенный вопрос высоты.

У меня хранится фигурный переплет окна над дверью подвала дома Ипатьева, где был расстрелян Николай II с семьей. Переплет этот мне удалось спасти, будучи в подвале перед уничтожением здания.

Сороковой день

Служи молебен, Сакартвело,
сороковой.
Я вижу души женщин в белом
над головой.

Не я убил их, безответных.
но страшно мне,

что их убил мой соотечественник
в родной стране.

Не в Чили это послучилось.
Ком в горле встал.
Тот газ, на вид слезоточивый,
нас всех достал.

Я видел — Пушкин потрясенный,
шел на Арбат,
на митинг шел неразрешенный
мимо солдат.

От академика до троечника
мы ищем газ
с формулой антиперестроечной.
Он ищет нас.

Где формула дубин резиновых,
что против свеч?
Лежат под флагами грузинскими,
чья участь — лечь.

Свечи, раздавленные гусеницами,
и детский взгляд
в неугасимых душах Грузии
вечно горят.

15 апреля

На несанкционированный митинг,
повторяю, Пушкин бы пришел.
Не прячьтесь в зонтики, как мидии!
Разговор тяжел.

Мы не были людьми.
Мы — мысли,
которым поздно подождать.
К несанкционированному самоубийству
надежда подошла.

И женщины несанкционированные
по улицам в гробах летят.
Не петь им. Не варить сациви.
Не мыть ребят. Их нет, ребят.

Шел дождь. Не вышло на Арбат
несанкционированное солнце.
Тревога мы, мы снег в дожде.
Свою тревогу ждали сконце-
нтрированные МВД.
Несанкционированный социум
желает знать — что, когда, где.

И газа формула носилась
по вышедшим из нас умам,
губами не произносилась.
Но ее каждый понимал.

Несанкционированная тревога.
Вандеи проба?
Несанкционированному Богу
несанкционированные просьбы.

Брось в воздух убиенным розы.

Кто убивал их — сарацины?
Промокшими полон Арбат.
Слезы несанкционированные
страны стоят.

* * *

Спи, родная! Как страшно время!
Чуть трепещут от легких снов
под глазами юными тени —
тени будущих пятаков.

Барнаульская булла

15 марта
меня выбрали в Папы российского авангарда.

Почему в Барнауле?
а то б пырнули.

Мои буколики
вызывают колики.

Благословляю черные квадраты
Госагропромавангарда!

Белые квадраты, разорванные над Гималаями,
благословляю.

Благословляю театр Абсурда
от Марса и досюда.

Благословляю кота-отказника
есть наши заказы к празднику.

Моя паства
съела всю зубную пасту.

Моих избирателей
из Барнаула и Бурятии

не пустил в гостиницу сторожевой пост.
Наступил Великий пост.
Поставангардизм.
Постсталинизм.
Колокол, по ком?
Благословляю великий хвост
за треугольным молоком.

Дырбулшил!
Д-р Булшит.

Народ прошел тайный кубизм
избирательных кабин.

Выборы, выборы!
Полобкомов выбрали.

Девушка, вы — Барнаул?
Это выборы на ул.

Барнаул! Караул!
Где кассет порнобаул?!
Бл. Августин
у нас бы не загрузил.

Аминь.

барнаульская тюремная арка,
собирательница первого авангарда.
Толстого 28.
Амен-нема

На каждом кирпиче вцарапаны имена,
полусъеденные грибок
и заиндевелым ворсом.
Колокол, по ком?
Каин, где брат твой Авель?
Где Вацлав Хавел?

Сказанное вчера по Голосу, а нынче госсоловьями —
благословляю.

Не возите в воронках
барнаульский авангард.

Достоевский здесь стал эпилептиком,
— нет на Рихтера билетика?

Арьергард? Бабьягад?
Аввакум? Афонград?
Огонек? Молодогвард?
Дух по форме — авангард,

как свидетельствует граф
(о. Сергей, б. кавалергард):
«Красный белый квадратный изнуряющий душу...»

Сколько барнаульских роз!
Гипноз.
Осанна!

Летят не сани,
а японские «Ниссаны».

Выборные листовки читайте сами

ПЕРЕСТРОЙКА
ПАСТЕР...ЕРОЙ

ПАСТЕРНАК
ГЕРОЙ

ПЕРЕСТРОЙКИ

ИДУ НА ВЫ!
череп свой вымой и выпари.
ИДУ НА ВЫБОРЫ!

Вышли к Жениху
художник и Женаху.

Отказали смаху
художник и Женаху.

Свадьба
майора

А В А Н Г А Р Д
А Н Г А Р В А Д
Д А Р Г А В Н А
А Г А А Н Д Р В
Д В А Р А Н Г А
А В А Н Г А Р Д

Я сидел в моей избирательной компании.
Ира-корейка
мелькала, как палочка Карояна,
со взглядом, настоенном на корне золотом.
Потом
дев обидчик
«захлопывал балконы, как коробки спичек».
И прикуривал от соска.
Другой писал «Спартак» и «ЦСКА».

Пой, слепой,
надежду, что ты один видел!

тут я вспомнил про свой титул
надел на голову табуретку
и пошел ножками по потолку
Ку-ку!

Благословляю ваш бунт и понт,
и огонь бородки ala Бальмонт.

Властей терпимость благословляю.
В вас проступают Гималаи.

«Пускай про вас мелят
хер их знает что —
к вам Рерих
шел
по струящемуся плато».

Барнаульский авангард,
в вас — духовный предугад.

Лапой мирового духа
благослови меня, Белуха*.

Параной моих булл
выбираю Барнаул.

По предчувствиям моим
Барнаул — четвертый Рим.
Аминь.

Пятому не бывать.



9891 ТРАМВАЙ
АВ-МАРТ 1989

* Белуха — существо, прикидывающееся вершиной.
Под ней свершится заключительный бой между Светом и Тьмой.

Пейзаж

Крепит антеннку бабка Агафья.
Шарик на Шавке несется верхом,
мотоциклиста облаял, поганец.
Водки заждались. Погоды залгались.
В город послали за пузырем.
Трезвые воют за пустырем
тебе акафист, Век-костолом!..
К храму заросшему путь проторен.
Траур дерьма за былым алтарем.

И колокольни разор, как афганец,
небу подъятым
грозит
костылем.

1987

Пика червей

Рвет окошки с петель, замки с дверей
ветер-борей.
Берегите, матери, дочерей!

К ветру за церквями закат-красней,
купола церквей
красным ободочком — как пики червей...

Ее дочку сдуло
из-за стола.
Друг дома
со стула глянул вслед.
Чуть задержался в дверях силуэт.

Она даже бровью
не повела.

Но сердце с черным ободочком у ней —
пика червей.

Берегитесь, матери, дочерей.

Комендантский час

В комендантский час
лодку заглуши.
Опасной бритвой волна зажглась.
Патрули стоят
по краям души,
Отмените в нас
комендантский час.

В магазине пусто
в комендантский час.
Только у Калашникова полон магазин.
Автоматизируется
сознание масс.
В жигулях летит
пулемет «Максим».

Крик крестьянки
слышится с похорон.
«Я двоих вскормила из двух грудей.
Это были мальчики
двух кровей.
Им сосок давала,
а не патрон...»
Ночь глуха. Истории темен крот.
«Остановите кровь!
Остановите кровь!»
И охрипший Павел зовет с ней:
«Ни эллин, ни иудей...»

От одиннадцати до шести —
в «Отче наш», в намаз
в комендантский час —
как медянка, кровь
в нас шуршит, таясь.
Что угодно может произойти.

Где не спишь сейчас,
мой миндальный глаз?
Пополам загар разделил живот:
Кто твой предок? Скиф?
Грузин? Абхаз?
Хоть вводи в тебя
комендантский год.

Поглядишь в себя —
там такой разор...
Кровь с Душой ведут тысячелетний спор,
Две толпы сошлись
в ружьях у ручья.
Понеслась страна
центробежная...
И крестьянка в черном кричит, как рок:
«Остановите кровь!
Остановите кровь!»

Как повязки глаз,
флаги черных лент.
Прости, Господи, ослепленных нас!
Третья Стража
требует документ,
Тысячелетье рас,
Комендантский час.

Современные сказки

Через горы и долины

Кого там еще принесло? Просил ведь не тревожить. Михеич, у меня по распорядку мысли и думы. Тридцать минут высоких государственных дум, а ты встречаешь. Закончились? Всегда так. Не успеешь задуматься — и уже тебя сбивают с высшей мысли.

Что у нас на следующее? Писатель? Какой еще писатель? Выдающийся? Как его? Ладно, воду спущу, подтяжки пристегну и готов к исполнению. Лично изложу задачу. О чем я с ним должён, Михеич? Об этом самом? Ну тогда впускай.

Проходи, Николай Васильевич. Не стесняйся, у нас по-простому. Садись сюда, напротив, чтобы я глаза твои видел.

Задачу знаешь? Правильно, воспеть должен нашу эту, как ее? сейчас гляну в преамбулу, где-то тут лежала, вот она: воспеть нашу всеобщую цель.

Теперь признайся — сам напросился или тебя отобрали? Чур! Смотри в глаза. Звонили тебе? Спрашивали согласие? А мне доложили, будто ты сам пробился, рвешься и считаешь за честь. В самом деле считаешь? Учти, тут солидным пирогом пахнет, вот ты и полез за куском пирога...

Ишь какой гордый. Куда вскочил? Коль тебя пригласили, обязан сидеть, пока не получишь приглашения встать. Что-то мне личность твоя знакомая, нос длинный — встречались где-то? Я тебе знака не вручал? Где твои знаки различия? Не густо. Однако это дело поправимое. Правильно, знаки народ вручает, а мы подсказываем — кому. Эта, как ее, она самая — в действии.

Ладно, о делах успеем. Ты лучше доложи, как там на воле? Что в народе говорят и думают? Одобряют нашу всеобщую цель или зубами на нее скрипят? Наплодили всяких демократов, скоро прикроем ихнюю лавочку. За права они, вишь ли, борются. А мы что тут делаем? Мы не боремся?

Значит, хорошо говорят. Уважительно. Не только одобряют цель, но и сами стремятся к ней. Правильно делают, между прочим, а то мы живо внедрим одобрение.

У тебя, я вижу, есть политическое чутье. К таким и мы чутко относимся. Можешь подойти для нашего задания.

А все-таки знакомая у тебя личность. Лично мне знакомая, говорю. На банкете что ли присутствовал?

Какая Каменка? Зачем она тебе? Каменка, Каменка, вроде есть такое местоположение на географической карте. Это верно, в глубокой юности проживал я в Каменке. И ты там жил? На рабфаке

вместе с тобой учились? Ты на что это намекаешь? Что у меня кроме рабфака за душой ничего нет? А сам-то ты кто? Выходит, ты Колька Носач, да? Ты и есть? А мне доложили про тебя: Николай Васильевич.

Неплохо сохранился, нос еще длиннее вырос, недаром тебя Носачом дразнили. В певцы, выходит, вышел. Ты меня не поправляй, я знаю, что говорю. Ты и есть певец, потому как поешь нашу всеобщую цель. Я тебя сразу по носу узнал, нос-то у тебя не по чину.

И Маню помнишь, это какая же Маня, та самая, вокруг которой ты гоголем ходил? А что же я с Маней делал? Предупреждаю, много не болтай, запись работает постоянно, ибо в этом кабинете каждое слово есть исторический звук.

Так что же наша Маня? Изложи для истории. Ну, ну, не мнись, разрешаю напомнить, а то самому некогда вспоминать. Что? Дрались, говоришь, из-за Мани? Кто же дрался: я с тобой или ты со мной? И кто кого — интересно? Повеселил ты меня, Носач. Обоим, значит, досталось: тебе в нос, мне по зубам.

И часто ты предаешься таким воспоминаниям? Чуял, на кого руку поднимаешь? Носач полез на Бровача — и Носачу попало. Тот-то! Мне лишь кнопку нажать — и тебя уже нету.

Значит вот, Носач. У меня с друзьями такое отношение. Я друзей себе не выбираю, мне их коллегиально утверждают по особому списку и допускают строго по расписанию. Понятно-или разъяснить? Вот и хорошо. Но поскольку ты есть бывший друг моей бывшей юности и держал себя скромно все эти годы, ко мне не лез, то я буду звать тебя Колькой или по-бывшему — Носачом.

А тебе разрешаю обращаться ко мне запросто, без всяких этих товарищей и титулов. Зови меня просто — Леонид Сергеевич.

Далее. Мы тут посоветовались и решили: никакой Мани не было, ты это себе заруби. И про рабфак забудь, читал, небось, мою биографию, там на меня четко записано: институт, академия и два университета. Усвоил? Я на этих университетах зубы съел.

Что это у тебя на пиджаке блестит? Депутатский? Нет. Университетский? Ишь ты, научились делать.

Сам кончал заведение или по знакомству достал, ха-ха!

Ну-ну, сиди смирно, в этих стенах не ерепятся. Я так считаю: оно блестеть должно.

Видишь — нажимаю кнопку. Смотри сюда, на экран — сейчас заблестит. Это такой экран, вся планета как на ладони. Как хочу ее поворачиваю.

Сейчас проверим воздух. Гляди. Ого! Что это? Светлячок ползет. Наше чистое небо замарать хочет. Видишь, как петляет.

Эй, Михеич, доложись: кто там в наше небо проник? Воздушный лазутчик. Следи за ним. Чтобы сбили с первого залпа. Ладно, на тебя надеюсь. А я действую по программе.

Приступаем к тезисам. Преамбула, учти, утверждена, никаких дополнений. Вот как мы с тобой начинать будем.

Параграф первый.

«Человечество веками мечтало о вершине всеобщего счастья. Но до тех пор, пока мир был разделен на эксплуататоров и эксплуатируемых, этот путь был закрыт для широких народных масс.

В прошлом веке наши гениальные основоположники научно разработали теоретические предпосылки для всеобщего — как его? — счастья. А наша великая революция впервые в мире открыла путь для его построения и практического применения.

Так впервые в мире родился Всеобщий путь. Шестьдесят лет мы стремимся к вершине. Долог и труден наш путь. Но лишь на вершине человечество вздохнет свободно и глубоко...»

— Уф, надоело читать, с утра до вечера читаешь, у меня от этих докладов скулы сводит. Лучше я тебе своими словами. Ну про Всеобщий путь я уже прочел. А сам я есть Генеральный директор Всеобщего пути — тоже, небось, слышал, ха-ха. Множество лет бессменно стою у руля, да и раньше был неподалеку от ветрил.

Значит вот, на долю нашего коллектива выпала высокая историческая, эта, как ее? сейчас посмотрю в преамбуле, ага — миссия. И какая миссия! Проложить путь к вершине всеобщего счастья. Вот она торчит — прямо перед нами, из окна видать. Смотри, какая мощная вершина. Уходит в облака, на склонах вечные снега. Но именно такая вершина нужна нашему великому народу — на меньшую он не согласен.

Э-э, Носач, ты это самое, отложи карандаш. Видишь, из-за тебя меня уже поправляют. В этих стенах писать не полагается. Тут не такое место, чтобы с примитивным карандашом лезть. Ведется буквальная запись, ты потом получишь исправленную и дополненную стенограмму, так что экономя свои руки. Документы, выписки, параграфы, цитаты, бумагу — все дадут.

Ты главное усвой: что можно и что нельзя. Ты сердцем должен это чувствовать. И когда ты это усвоишь, твоя кисть обретет полную свободу.

На чем остановились? Ага, на вершине. Ты подсказывай, не стесняйся, у нас ведь демократия, каждый может смотреть на вершину счастья, тут без привилегий: перед вершиной все равны.

Хочется самому побывать на вершине? Не спеши, пустим этот вопрос на обсуждение.

Продолжим. Второй и третий параграфы я от себя изложил.

Параграф четвертый.

«Мы прокладываем путь к счастью всем прочим народам. Мы идем вперед и рано или поздно остальные народы последуют за нами по ВП, то есть Всеобщему Пути к Счастью или, как его ласково прозвали в народе «Всепуту».

В настоящий момент приближается знаменательная дата — шестидесятилетний юбилей Всепута. По этому случаю состоялось принятие исторического решения о создании юбилейного издания, посвященного славной и героической истории Всепута...»

Вот сиди и читай, словно ты баран. А если это отчетный доклад: шпарь шесть часов без перерыва, жить не захочешь. Так что не зави-

дуй мне, вижу, вижу, завидуешь. Сам, небось, в такое кресло сесть мечтаешь.

Хочешь, дам посидеть, Носач? Ну правильно, скромность украшает даже певцов. Нечего тебе в моем кресле делать. У тебя свое кресло имеется. Доволен, небось?

Это мы тебя на скромность проверяли. Выдержал. Поэтому запоминай дальше. Мы первыми двинемся к сверкающей вершине, у нас есть о чем рассказать, чем поделиться с другими братскими Всепутными странами и народами.

Были у нас и промахи, и ошибки, в отдельные годы мы вообще двигались вспять, сам понимаешь, этого в преамбуле нет, это не для юбилея, тебе в знак доверия.

Наш юбилейный трактат должен быть бодрым, жизнеутверждающим, он призван воодушевлять и призывать народные массы к новым трудовым свершениям во имя Всепута.

Ты секи, Носач, нам требуется художественное изображение. Я даю тебе общее идейное направление, а ты обрамляй своими красками.

Начинать будем с истоков. Героическая у нас история, даже слишком, потому мы ее фильтруем и чистим. Всепутная история зафиксирована во всех учебниках, кратких и полных курсах, отображена в романах, кинофильмах, операх, спектаклях, балетах и симфониях. В истории мы навели полную чистоту.

Но продолжаем чистить дальше.

Всепут указан нашим Отцом-Основателем, вождем и учителем. Им же подписан исторический декрет о создании Всепута.

С этого акта и открылась наша история. В преамбуле все говорится в точном соответствии. Приоткроем Главную книгу.

«Наступило светлое утро исторического дня. Улицы города заполнены праздничными толпами. Слышались звуки бодрых песен, доносилась гармошка. Из уст в уста передавалось волнующее сообщение: «Сегодня, сегодня!» И еще: «Наконец-то!» Все ждали, когда наступит долгожданная историческая минута.

А в этот момент в штабе Всеобщего Пути заканчивались последние приготовления к акту подписания...»

Ну как тебе? Красиво изложено. С чутьем. Заметил, какой тонкий переход: «а в этот момент...» — так и захлестывает узнать, что будет дальше.

Сумеешь похоже написать? Но-но, не прибедряйся. Ты избран для написания. И утвержден. Не сумеешь — научим.

Легенду-то, небось, слышал? Ну анекдот этот о двух путях. Так я тебе и поверил.

Боишься признаться, что знаешь анекдоты против Всепута? Может, как раз ты их и сочиняешь? А ну, глянь в глаза. Хорошо. Зрачки в норме. В таком случае лично тебе расскажу.

Значит вот. Разруха тогда была, голод, метелица. Но зато свобода! Всем народом митинговали: как построить Всепутный путь к Всеобщему счастью? Много было проектов. В конце концов разработали два. На вершину поднимался двухканатный фуникулер, а в

долине прокладывалась железнодорожная магистраль. И вот настал великий день — акт подписания. А бумага тогда, сам знаешь, из картона делалась, даже папок хороших для доклада не было, все одним цветом.

Референты Отца-Основателя так разволновались, что перепутали папки и листы с картами.

Историческое подписание состоялось, гремели оркестры, прокатилась волна митингов. Даже правительственный банкет устроили, весьма скромный в соответствии с историческим моментом; подавали селедку и сахарин. Зато самогона вдоволь. А наутро стали разбираться с проектами: что же там подписано? — и видят: на вершину горы ведет железная дорога, а фуникулер в долине тянется. Как быть?

— Это гениально! — воскликнули проектировщики.

Тут же возникли из-под земли оппортунисты:

— Надо вернуть проекты в исходное состояние. Мы за чистоту нашего знамени.

Вот-вот разгорится очередная уничтожающая дискуссия о путях построения Всеобщего счастья. Но проектировщики тоже не дураки были. Один из них, он потом высоко пошел, и говорит:

— Предположим. Проект утвержден. Интересно, кто теперь пойдет и доложит Основателю, что проект утвержден с ошибками? Кто первый? И кто за ним? Смелее!

Голоса враз смолкли. Проекты остались в том виде, в каком были подписаны. Идею-то уж потом подвели.

И вот прошло 60 лет героического Всепутного движения по Всепуту.

Что там, Михеич? Ладно, учту. Да ты не переживай: из этих стен ничего не выйдет. А запись можешь стереть, даю добро.

Слышал, Носач? Опять из-за тебя выговаривают. В общем, не было этого. Не нам с тобой судить: легенда это или быть. Ты при акте не присутствовал, а документы тью-тью, приведены в полное соответствие с преамбулой, тут не подкопаешься.

Так что услышал и забудь. Все эти легенды на руку нашим врагам, они без того на весь мир жужжат. Мы-де не по тому пути идем. А мы их глушим. Кто кого пережужжит?

Чего по сторонам глазеешь? Кабинетом заинтересовался? Кабинет как кабинет, не хуже, чем у других. Оборудован техникой и всеми удобствами. Отсюда вся действительность как на ладони: и горы и долины. На действительность надо смотреть политически, а техника лишь служанка. Сплошная электроника, на валюту купили.

Электронные часы-календарь. Указывают время в обоих направлениях, туда и обратно.

Электронная авторучка — видал такую? — пишет по программе.

Тут электронные ускорители и тормоза.

А это дело мы уже видели. Сейчас проверим лазутчика — где он ползет. Зачем это перекрестие на экране? А это значит: его уже вычислили и в прицел взяли. Будут нынче ордена ребятам. На этом экране видно все. Ты вот сидишь у меня, а тебя уже насквозь

просветили, сейчас по Главному вычислителю вычислят, кто ты есть, и мне доложат по этому же терминалу. На экране слова выбегают, я один их вижу и читаю. И действую в соответствии.

А вот наша святыня: Главный пульт Всепута. Круглосуточно действует АСИП, автоматизированная система потребления, все решения принимаются по науке, мы только корректируем.

Сейчас проверю — нажимаю кнопку. На табло цифра. Пока мы с тобой беседуем, наш Всепут продвинулся вперед на 0,04 процента.

Телефонов много? Это, Носач, особые телефоны. У меня городской связи нет.

Но поскольку я есть Генеральный директор, или по нашему Гендир, то имею прямую связь с другими Гендирами. Полсекунды — и любой Гендир на проводе. От моего гласа не уйдешь.

За той дверью, как его, электронно-вычислительный сортир со звуковым подогревом, на валюту приобретен, и то с трудом, как он есть стратегический товар. Пока ты, извини за выражение, кашки кладешь, приборы производят полный анализ: чего недостает, а чего, наоборот, лишнее. Все твое содержимое разберут — и на табло полный результат. Что вчера было, сегодня — плюс или минус? Или как ты ходишь — кашка или колбаски? Динамика развития.

Сейчас в Гендирбюро поступило предложение. Поскольку я есть личность историческая, то и все мои деяния сугубо исторические. Трудящиеся обращаются с просьбой, чтобы я свои личные кашки отдавал по всем Всепутным музеям: дата, час, вес.

Будем обсуждать на Гендирии, уж больно просят. Я их понимаю: понюхать каждому хочется.

Это что? Так я тебе и сказал. Это есть самое главное из того, что есть и может быть. С виду простая кнопка — а в ней все! Нажал — и нету!

Электроникой мы обеспечены. Искусством тоже. Надо мной, сам видишь, висит Отец-Основатель. Я часто с ним беседую, ну как это? — мысленно.

По стенам портреты моих соратников — Гендиров. А вместе мы сложились в Гендирбюро. И портреты специально повесили против стульев. Чтобы не возникло путаницы, каждый сидит под своим портретом.

Верно наблюдаешь, я смотрю, у тебя глаз тонкий — есть портреты старые, а есть посвежее. В случае выбытия члена Гендирбюро его портрет тотчас изымается из употребления. А если он умер членом, то в запасник его. Не нами заведено, таков обычай нашего племени.

Меня тут нет, смотри, не увидишь, я человек скромный, пусть меня в другом месте содержат.

Чего тебе, Михеич? Распорядок блюсти — творческий перерыв? В таком случае исполним твою команду. Вставай, Носач, нас пригласают прерваться. Просветили тебя по Всепутному глазу — оказался на данный момент достоин. Доверие тебе оказывают.

Или руку имеешь? Признавайся, кто тебя наверх вытягивает? Сам? Так не бывает, Носач, у нас же полная коллегиальность, сам человек ничего не может.

Побеседовали с тобой, можно и поработать. Прошу, Носач, смелее. Шагай прямо в стенку, она перед просвеченными сама распаивается. Тут мой Розовый кабинет. Уединяюсь сюда ради мысли. А телефоны, пульта, терминалы — все как там. Я без кнопки ни шагу. Оброс, можно сказать, кнопками.

И тут же вид на вершину. Люблю ею любоваться. Потому как достойна.

Садись. Отведаем что бог послал. Давай работай. Икра, салями, севрюга, крабы, сациви, язык — все доставлено с вершины. И все по последнему слову науки и техники.

Три минуты назад эта севрюга в реке кувыркалась, а теперь она уже на столе, ГКУ, готова к употреблению.

Тебе чего налить: особой или специальной? Или нашей — гендировской? Значит вот — за создание нашего достойного юбилейного труда о нашем не менее достойном Всепуте.

Ух, хорошо. Так и проникает вовнутрь, так и обволакивает. Стоит жить и трудиться ради этих маленьких радостей. У нас ведь и охота своя. Диких кабанов пробовал? Неужто нет? Проявишь себя, поедем с тобой на кабанов, это там, поближе к вершине.

На зорьке залезешь на вышку — и остаешься один на один с мирозданием. Точно так и предки наши сидели в засаде.

Нет, ты не клевети, электронику туда не допускаем, никакой цивилизации: ни теории относительностей, ни «мертвых душ», только ты и зверь.

Всю цивилизацию будто языком слизнуло, знаешь, как это воо-душевляет.

И тогда он выходит на тебя. Ты смотришь ему в глаза и видишь в них самого себя. А потом выстрел. Только перед такой охотой принимать ни-ни-ни, иначе он за триста метров тебя почует и уйдет в глубины.

Ну что — повторим? Нам завтра на кабанов не идти. Теперь ты произноси, твоя очередь. За что — за ясность? А что же перед тобой неясного? У нас всегда все ясно. Ах, ты в художественном смысле, так бы и говорил.

Художественно мы тебе поможем. Ты сам-то как работаешь? С аппаратом? Как это один? А кто тебе проекты твоих романов готовит? Ну помощники, референты, секретари. Все один? И даже пульта не имеешь? Ну и ну.

Это мы поправим, запиши, Михеич, обеспечить всех выдающихся пультом, создать вокруг них соответствующий художественный аппарат. Ай-ай, гусиным пером свои мысли выводешь?

Неужто наш Всепут так оскудел? Выпишем тебе вечное электронное перо на валюту. Высшая ставка, тираж, бумагу наипервейшую дадим. Тут Гертрудой пахнет. Не какой, а каким. Гертруда — Герой труда, усек? Ты только слово освой — и слагай. Бери колбаску-то, бери, или этой попробуй — ну как?..

Чуешь, как на языке легчает? Эй, Михеич, выруби свою мясорубку, дай поговорить по душам с бывшим другом. Вырубил? Ну спасибо.

А это они здорово провернули, с проектами-то. Все подписано, утверждено, уже и митинг отыграли. А получается нечисть какая-то. И знаешь, кто с оппортунистами покончил?

Другим не доверюсь, а тебе скажу: он самый, Продолжатель. Он и спас Отца-Основателя. Правда, тогда он еще не был Продолжателем, в рядовых холуях ходил. Но ведь узрел!

Кому бы такое в голову взбрело: вести железнодорожную магистраль на вершину? Но в том и состоит соль — все великое должно ошарашивать, с ног сбивать.

Но доходчиво.

Проложить магистраль на вершину. Это же ха-ха-ха, невероятно. Но только не для Продолжателя. Он тут же засадил за работу всех холуев и все обосновал по науке.

Путь к Всеобщему счастью нужен? Кто с этим спорит. И не для одиночек, для всех. Значит, это и есть Всепут к счастью. Он есть, но его еще нет. Всепут на вершину существует теоретически. Всепутное счастье как бы отдалено.

Остается создать его в природе, всего и делов. Основополагающий тезис.

Теперь сам суди: что такое фуникулер? Кого он будет на вершину доставлять? Зазнавшихся одиночек?

Нет, фуникулер не есть наш Всепут. Это ложный тезис.

А магистраль в долине? Куда она может привести? Только из одной долины в другую. А где же вершина счастья? По долине на нее не поднимешься. Это есть уводящий тезис.

Все это и разглядел наш Отец-Основатель. Не перепутал он проекты, а сознательно их подписал. И мы пойдем по пути, указанному Отцом-Основателем. Я, Отец-Продолжатель, вас поведу. Таков единственно верный руководящий тезис. Всепутный глас!

О чем это я хотел? Ах вот, давай еще попробуем нашей гендировской.

За наш Всепут! За то, чтобы к нему стремились и чтобы он скорей привел нас к сияющей вершине.

Так и быть, захвачу тебя туда. У нас с вершиной теперь прямая связь. Ты же должен своими глазами увидеть нашу святую цель. Подписку дашь о неразглашении, такой порядок.

Трудно было вначале, ой как трудно. Это же сказать просто: проложить магистраль на вершину. А как в природе совершить? Крутые склоны, отвесные скалы, ущелья, бурные потоки. Тут даже неизвестно, с какой стороны подступиться.

Одни говорят, пойдем по левому склону, другие хотят по правому. Отец-Продолжатель всех уклонистов прикончил и объявил: брать в лоб!

Народу нагнали к подножью — страсть. Кинулись на гору всем скопом. Карабкаются по скалам, лезут в одних опорках через ущелья. Рубят лес, долбят камень, жгут костры, тащат шпалы.

А рельсы — где они? Как это нет? В долине, где главный ход, лежат рельсы. Разобрать главный ход, взять оттуда. Всепут главнее главного хода.

Волокут рельсы на своем горбу, все выше и выше. Не тут-то было. Геология у нашей вершины оказалась плохая, она и подвела. Грохнул обвал, покатила лавина из вечных снегов. Кого засыпало, кто сам замерз в горах.

Борцы за правое дело. Ты внимай, я тебе согласно истории рассказываю, параграф тридцать три. Ныне в тех местахobelisksи стоят, мемориалы.

Значит вот, предлагаю за павших борцов. Я смотрю, ты плохо принимаешь. Потребляй, потребляй, за этим столом не иссякает, качество гарантировано, проверено на радиоактивность и прочее, какашки — высший сорт. Вот я и хотел о качестве. Сон мне нынче снился: зубы, много зубов, полон рот. К чему бы это? Я думаю — к докладу. Видел меня на трибуне? Аплодировал?

А надясь карета приснилась с большим колесом. Верно, к дальней дороге. Полечу к какому-нибудь Гендиру в гости.

Чем дело кончилось? Какое дело? Ах то! Чем же оно могло кончиться? Лезли, лезли, да сами же и покатылись обратно. Не вышло наскоком.

Спустились обратно к подножью. А на дворе уже зима. Спыхватились, даже бараконет. С насыпи шпалы обратно тащат, бараки складывают. А рельсы — на перекрытия. Все равно в долине рельсы не нужны. Согласно историческому декрету там отныне прокладывается фуникулер. В долине ставят деревянные столбы с наклоном, пеньковые канаты растягивают.

Всеобщее счастье вот оно, совсем рядом, за облаками. До него рукой подать. Неужто мы откажемся от Всепута? За что же гибли наши лучшие отцы и деды? За что теперь сами мерзнем? Отняли счастье у кучки богатых и разделили на всех поровну. Хоть по крохе, но досталось каждому. А хочется больше.

И Отец-Продолжатель нашел выход. К Всеобщему счастью есть один путь — и тоже Всеобщий. Отец-Продолжатель объявил индустриализацию Всепута, потом коллективизацию Всепута, об этом в параграфах записано.

А тут еще разведка подвела. Проложили Всепут по леднику, не разобравшись. Ледник сползает вниз с той же скоростью, с какой Всепут кладут.

От вершины временно отодвинулись. Сначала надо наварить стали для рельсов, дров нарубить для шпал и шлагбаумов. Это был мудрый тактический отход. До такого не каждый додумается!

Вдруг спыхватились. Заложили фундамент Всепута, а про оборону фундамента забыли. Как так? У нашего Всепута врагов полным-полно, со всех долин зарятся на нашу вершину.

Давай крепить всеобщую оборону. Насыпи в окопы переделали, рельсы на пушки, шпалы для землянок.

Управились с внешним врагом, уф, перекусить бы. Следующий этап развития — враг внутренний, шпионы и прочая контра. Опять надо защищаться. Но Отец-Продолжатель не растерялся.

Всю контру за колючую проволоку — и на Всепут, нехай они и строят. Всепут сразу в гору пошел. Правда, погорячились немного,

слишком много народу охватили, колючей проволоки стало не хватать, пришлось рельсы пускать в переплавку.

Сам понимаешь, это я тебе не для печати. Излагаю исключительно для обширности твоего внутреннего горизонта. Тем более что пришлось потом Отца поправлять.

Пока поправляли, новых дров наломали. От Отца-Продолжателя решили временно отказаться. Но дай срок — и его восстановим. Нет у некоторых еще высшего понятия: ты же не просто сидел, ты Всепут созидал для народа. Нас много, но цель-то на всех одна.

Что молчишь? Севрюженция кончилась? А ты нажми кнопку на пульте, вот эту, белую, видишь, там рыбка нарисована. Оглянись теперь — что у тебя за спиной? Новая партия появилась такая же свежая: принимай на вилку.

Откуда берется? Спроси у наших движенцев. Это они Главный пульт отладили.

Сколько же нам пережить пришлось, сразу всего и не придумаешь. Сложная у нас история, вот и надо прояснить ее героизмом. Переписать историю с учетом современного момента. Для этого крепко приходится извилинами шевелить: как ее правильнее повернуть, раскрыть для всеобщего обозрения. Ведь как мы Всепутную историю нарисуем, такой она и будет.

Нам мусор в истории не нужен. В архивах? А в архивах он зачем, мусор-то? Архив особой чистоты требует, там у нас специальные пылесосы действуют. Превзошли историю.

Молодец. Ты вообще быстро схватываешь, как я погляжу, тебе севрюженция на пользу идет, внедрим тебя в систему. Мы тут недавно разбирались в узком кругу, ну на Гендирбюро нашем, с вопросом разбирались: а какой он, наш Всепут? Прямой или зигзагой идет? И как его распрямить для перспективы и народного знания?

Никак не дают нам по прямой развиваться. Едва крылышки расправили, опять враг на нас полез. Запылал города и села. Героические годы. Я сам от звонка до звонка оттрубил. Ты потом посмотришь, на войну отведено 12 параграфов, из них 14 про меня лично, изучишь мою роль. Тебе расскажут.

Эх, молодость! Война была страшная. 42 процента Всепута разрушено до основания, все рельсы пошли на танки и лафеты.

Но победили! С тех пор за обороной следим зорко. Мы наш Всепут трогать никому не позволим. От дружбы и сотрудничества с другими вершинами не отказываемся. Братским вершинам всегда поможем, для них всегда шпалы и рельсы найдутся.

На том стоим. Теперь-то мы богатые — укрепились. Хоть завтра можешь вокруг горы объехать. Своими глазами посмотришь огневые точки. Все склоны шахтами изрыты, а в них ракеты — не тронь! Чуть что, перерасходовали фонды, тотчас запрашиваем новые ассигнования. На оборону у нас отказа нет, берем из золотого мешка.

Следовательно, нам предстоит выпить за нашу обороноспособность. За блок братских вершин.

А ты, я гляжу, ничего — разошелся. Способен принимать. Бутылка завершилась, это беда поправимая. Кнопочный быт отлажен.

Следи за мной. Нажимаю первую кнопку: ать, два! Внимание. Снова обернись, открой дверцу за спиной. Возникла? Порядок.

Откуда явилась? Я же тебе долблю, с вершины, ясное дело. В том и фокус: Всепут еще не проложен, а вершина уже действует.

Теперь ясно, почему мы все обязаны к этой вершине стремиться и сколько счастья нас там ожидает.

Вершина-то, она всех к себе тянет. Вот и ты захотел, тоже ведь приткий. Потерпи, опросный лист на тебя еще не пришел. Посмотри на терминал — молчит...

Значит вот, Носач. Потихонечку подбираемся к современному состоянию. Укрепили вершину, ракет наделали, а в ракете все, что полагается — пятьдесят раз можно уничтожить жизнь на планете, все вершины прочь снести. Значит, теперь можем спокойно созидать наш Всепут. У каждой ракеты имеется свой пульт потребления.

Тут и меня народ призвал. Я долго не соглашался: послевоенная разруха, хозяйство запустили, структуру запутали, болтунов много расплодилось. А сам про себя думаю: главное оздоровить структуру.

У нас все новое, все впервые в созвездии мировых вершин.

А оргструктура все время отстает.

Сначала были красдиры, красные директора, те все на энтузиазм брали, горлом.

Потом ввели спецдилов, директоров-специалистов, эти технократию начали проповедовать, пришлось спецдилов прикрыть.

Тогда и появились Гендиры, генеральные директора. Лучшие из лучших. Гендирбюро или Гендирия — высший орган Всепута, он и управляет всеми делами. А всем Гендирбюро управляет первый Гендир.

Но у такой структуры имелись свои изъяны. Словом, призывают меня. Все Гендиры собрались на бюро.

— Прими, — уговаривают. — Мы тебя слезно просим, Леонид Сергеевич, прими. Отец-Продолжатель один за всех думал, а теперь некому думать окромя тебя. Выручай нашу Гендирию. Думай за нас, а мы отдадим тебе наши мысли.

Тогда я поставил вопрос:

— Оздоровить структуру надо. Изъять из нее все изъяны.

— Правильно, — говорит один Гендир, он еще с Отцом-Продолжателем работал. — Почему он должен называться так примитивно: первый Гендир? Пусть он будет генеральным. Мы все рядовые Гендиры-члены, а он Генеральный Гендир. Это сразу придаст солидность нашему Всепуту. Какие будут пожелания?

— Генерального Гендира, — говорю, — я принимаю. Спасибо за оказанное доверие. Но окромя того нужны специализированные министерства, которые занимались бы исключительно Всепутом.

— Согласны. Но какие?

— Во-первых, Минпрос, министерство просек, во-вторых, Миннас, министерство насыпей.

— Верно, — говорят Гендиры, — это великая мысль, не зря мы тебя выбрали. Дело сразу сдвинется с мертвой точки. Минпрос прорубит просеку сразу до самой вершины, это сильно воодушевит народ.

— И насыпь можно насыпать, — добавляет тот самый, из ста-

ричков. — Насыпь никому не помешает. А пропаганда получит здоровую пищу.

— Далее, — продолжаю. — Необходимо иметь Минреш, министерство рельсов и шпал. Думаю, объяснять не требуется. Затем: у нашей вершины геология плохая, а организационно это нигде не зафиксировано, надо завести Мингеобах, министерство геологии и батареинового хозяйства. И наконец, создаем Минпот, министерство потребления, ведь мы обязаны в первую очередь заботиться о неуклонном росте народного потребления. Пусть Минпот внедряет АСИП, автоматизированную систему потребления.

И определили меня единогласно Генеральным Гендиром. Взвалил всю историю на свои плечи. Гендир всех Гендиров — языкасто сказано! Гендирично!

Начали с подготовки тылов. Сколько можно в бараках жить? Переселяем народ в благоустроенные крупнопанельные дома, в парagraфах записано.

С наскоку не вышло, зато теперь мы ученые, действуем по науке. Составили проект организации работ по Всепуту. Уже никто не сомневается в грядущей победе. Это раньше по всем зарубежным долинам орали: утопия, блеф, шарлатанство, не взять им вершины. Теперь помалкивают, мы эвон где. Современный Всепут компьютерами обслужон — сам убедился.

После тылов взялись за разведку. Три партии изыскателей и одна партия теоретиков стали искать конкретный путь на вершину. А там, в горах, знаешь как! Это тебе не долина.

Из трех изыскательских партий в Путеград возвратилась лишь одна, две погибли под обвалами. Теоретики тоже вернулись с потерями. Но народ их не забыл. Их именами названы будущие станции и разъезды.

Трасса на вершину оказалась сложной — куда сложнее, чем предусматривалось по первоначальному проекту. Но Отец-Основатель завещал нам именно этот Всепут. Он же гений, дальше всех видел. И Отец-Продолжатель вел нас по этому пути. И мы по их заветам следуем.

Минпрос начало рубить просеку. Миннах насыпь сыпет. Минреш новых рельс и шпал наготовило.

Все бы хорошо, да уклон подводит.

Уклон слишком велик, никак не вписывается во всепутную науку. На отдельных участках уклон сорок пять градусов.

Перекинули мосты через ущелья, а они будто на дыбы вознеслись, по ним и верхолазы еле взбираются. Что с такими мостами делать? Не бросать же их?

Чуешь, как круто взяли. Но ведь не отступимся, назад пути для Всепута нету, только вперед. Не скажешь же: ошибка состоит в самом проекте, это же подлинная контра будет. Идея у нас единственная. В том ее и сила.

Тут и для мостов нашли выход. Мингеобах дал предложение. Подладили их как следует, Минреш уложил вместо рельсов специальные полозы — получились стартовые площадки для ракет.

В хорошем хозяйстве ничто не пропадет. Чуешь, как моя структура складно действует.

Идем дальше. Проложили путь — первые десять километров, вначале-то хоть не так круто. Собрали торжественный митинг.

Пустили два паровоза — и на тебе! Не идет! Котлы кипят, колеса крутятся, а паровозы ни с места.

В чем корень?

Зовем одного теоретика, который лучше всех труды Отца-Основателя знает: открой проблему.

Тот полазил вокруг, пощупал под машиной, в кабинку залез и говорит:

— Ваш паровоз с места не тронется.

— Отчего же?

— У вас весь пар уходит на свисток.

— Что же нам теперь делать?

— Нужен плюс, — отвечает.

И растворился.

Мы голову ломаем: какой такой плюс? И вдруг меня осенило. Не паровозы нам нужны, а электровозы. Недаром у Отца-Основателя сказано: «плюс электрификация».

Перед нами новая дерзкая задача: Всепут должен быть электрифицирован. Срочно организовали Минтягу, министерство тяги. Даем новые субсидии, сметы составляем, работа кипит.

Заложили зимний бассейн, высокогорный стадион, тянем вдоль Всепута столбы и провода. Минтяга и Минреш разработали совместно новые типы электровозов.

Протянули рельсы до 101-го километра. И вот почти победа, электровоз проехал девять километров, а дальше встал, чересчур круто. Движение есть, а ускорения нет.

Дело ясное: нам нужна АДы, Академия Движения. Привлекаем к работе лучшие головы, включаем их в АСИП, а там все, начиная с пайков и кончая зимним бассейном. Академия Движения растет как на дрожжах, открываются филиалы по всему Всепуту, создаются лаборатории.

Испытываем наинovelейшие виды энергии, чтобы стронуть с места наш электровоз. Атомный котел слишком тяжел. А если попробовать реактивный двигатель?

И что ты думаешь? Пробовали, пробовали — и вышел из электровоза новый сверхзвуковой бомбардировщик. За океаном паника.

Тут очередная забота. Проект Всепута имеет однокорейный вариант, так Отец-Основатель завещал. Значит, во Всепуте будет одностороннее движение. А наш академик из АДы рассчитал — как же в этом случае поезда разъедутся? С горы он несется, в гору еле ползет — перегон неравномерно занят. А вдруг он с горы остановиться не сможет? Такое ускорение устроили, что ай-яй-яй. Тут знаешь какая тормозная система потребуется? Миллиардная.

И другое. При такой разнице в скоростях пропускная способность Всепута равна почти нулю. Как же можно называть его Всепутом, если он не всепутный?

Туда заберемся, а обратно-то как, по однокорейке-то? Тут я и внес свой теоретический вклад — двухкорейный тезис: необходима нам вторая колея. Всепут должен быть всепутным.

Начинаем претворять идею: составляем проект, смету. Надо сыпать вторую насыпь, класть вторые пути, расширять станции и разъезды. Словом, пора создавать Минвтопу, министерство вторых путей и Минпропст, министерство пропускной способности.

Назначаем новых министров, дачу им, машину, бассейн, пайковый билет, видеокассеты по особому списку.

В долине своя заковыка. МПС докладывает: фуникулер в долине проложили, а пропускная способность низкая. И скорости у фуникулера нет, да и много ли пассажиров в кабинку втиснешь? Деревянные столбы, заложенные полвека назад, погнили, вот-вот рухнет завещанный нам фуникулер.

Решаем тянуть в долине три новых нитки на железобетонных столбах. Устанавливаем парнокресельную канатную дорогу, чтобы народу не скучно было путешествовать.

Вношу предложение на Гендирбюро: коль Отец-Основатель завещал нам в долине фуникулер, надо срочно образовать Минфун, министерство фуникулеров, оно и сдвинет это дело с мертвой точки. Таким макаром моя структура развивается и крепнет.

Проверили деревянные шпалы на Всепуте. Пока их туда-сюда перекаладывали, шпалы поизносились, еле дышат. Нужны новые шпалы — железобетонные.

Закладываем соответствующие комбинаты, 20 миллионов шпал в год.

И вот первый результат. Из этих железобетонных шпал прекрасные свиарники получились. А нам приплод, высокосортный бекон там отращиваем, вон он на столе перед тобой. Хрю-хрю, преароматнейшая штука. Продовольственная программа в действии.

Все время требуется новая рабочая сила. Значит, и наш родной Путеград продолжает расти стремительными темпами. Поставили Оперный театр, растим в нем собственных народных артистов. На окраине заложили Гребной канал, готовимся к Олимпиаде.

Счастье-то вот оно, под рукой, но пока мы туда не забрались, так что же нам, в несчастье прозябать? Выходит, счастье для одних грядущих поколений? Нет, это не наша программа.

Мы обязаны думать о своем народе, создавать доступное счастье на освоенных территориях.

Спроектировали новые ПАНСы — пансионаты из крупных панелей, ставим их по окрестным лесам. Выполняем и перевыполняем все планы. За 20 последних лет не было случая, чтобы народ у нас прогрессивки не заработал.

Что плохо закусываешь? Давай потребляй, не смущайся. Икра завершилась? Черная или красная? Разрешаю нажать кнопку на пульте. Какую? А ты сам разберись, у нас все наглядно: у черной икры — черная кнопка, у красной — красная.

Таким пультом может пользоваться каждый.

Нажал? Она и явилась. А вот я нажимаю — проверить оставшиеся стратегические запасы.

Видишь на терминале цифру — 7,563 тонны, мой личный гендировский фонд, так что жуй, не скорби о будущем. А я нашей гендировки подолью.

Предлагаю выпить за ПАНСы — пансионаты народного счастья. Ну выпили, закусили. Терминал меня предупреждает — о счастье еще преждевременно говорить.

Сигнал — пора в Голубой кабинет, следуй за мной!

Простор и широта. Что за стеклом? Что видишь глазом, то и есть. Бассейн со спецводой, доставленной с Гавайских островов. Фирма «Океан» нас обеспечивает.

А мы с тобой, следовательно, в предбаннике.

Поплавать-то, небось, хочется в гавайской водичке. Бери курс в кабину номер три, это для самых почетных гостей Всепута.

Что там? А вот и не скажу. Не бойся, я буду за стенкой.

Я же говорю: народ на месте. Маня уже ждет, умелица наша, раскрасавица. Принимаем горизонтальное положение — массажный час.

Люблю, когда меня раздевают. Ах ты Манечка, какие у тебя рученьки.

Так и пощекотывает, так и пощекотывает, хрю-хрю. Напомни мне, Маня, я Михеичу скажу, чтобы тебе зарплаты прибавили. Ах, как хорошо. Кудесница, целительница. Получаю заряд государственной бодрости. Два государственных заряда.

Что, Манюша? Просишь, чтобы я тебя на дачу взял. Конечно, конечно, непременно выберемся. Вот только соберусь с силами, решу Гавайский вопрос — и выберемся с тобой на природу, уж там-то мы дадим дрозда. Напомни мне, чтобы я включил тебя в расписание. Ты права, я себе не принадлежу. Я принадлежу другим. Особенно таким целительницам, как ты.

Вот и Носач! Как намассажировался? Получил удовлетворение? После такого действия полагается принять по маленькой. Мы с тобой поработаем по программе.

Не созрел еще для электронного сортира? А то дам посидеть. Сюда многие просятя. У тебя как: колбаски или протертые ананасы? Посидел десять минут — сразу в музей попадешь.

Ну-ну, это ты верно заметил. Рано тебе еще в музей. Не вырос ты еще для народного обозрения. Тогда заворачивай в Розовый кабинет.

Сколько у меня кабинетов, спрашиваешь? А в радуге сколько цветов? Исходи из этого.

Это моя дума, мой вклад. Для каждой мысли потребен свой кабинет. Например, все наши оборонные дела решаем в черном кабинете. Финансовые — в красном, потому как пожар. А государственные заботы лучше всего вершить в Розовом кабинете. Из такого кабинета все видится в розовом свете — и производительность растет.

Вклад это или не вклад? Тут главное — кабинеты не перепутать.

Поэтому я и говорю — решает опыт. Ну как — готов? Следуем по преамбуле дальше. Какой там у нас параграф? Ты вникай, вникай.

Параграф семьдесят первый.

Пять лет назад состоялось историческое событие. Закончили первую очередь автострады вдоль Всепута. Капитально проложили, с бетонным основанием. Поднялись до высоты 3660 метров. Правда, на отдельных участках автострада идет чрезвычайно круто, даже грузовик не берет. Устроили в этих местах маршевые лестницы, чтобы не уменьшать пропускную способность.

Отныне ты садишься в грузовик и катишь. Доехал до маршевой лестницы, действуй ножками, потом опять поехал вверх, опять ножками. Но пассажиров, само собой, туда не допускаем.

Автострада нужна, чтобы скорей Всепут построить, по ней одно грузовое движение. Плюс товарное снабжение.

Первая очередь автострады готова. Что теперь? Дороге нужен грузовик. Учредили Минкол, министерство колес. Закладываем у подножья автомобильный завод на 150 тысяч грузовиков в год. Объявляем ВПУС, Всепутную ударную стройку.

Грузовик машина тонкая, его без валюты не построишь. Ничего не напишешь, придется лезть в золотой мешок. Заключаем контракт с фирмачами. Они нам оборудование, мы им газ и нефть из недр нашей вершины. Баш на баш.

Отправляюсь за кредитами к заморскому Гендиру. Вспомнил, тогда мне тоже карета снилась. И полетел, это точно. Показали мне страну.

Нагляделся на ихнюю жизнь из окна лимузина. Не по-нашему живут. Располагаются для местожительства исключительно в долинах, к вершинам не стремятся. Безыдейно дышат. Держатся за свою калифорнийскую долину, от гор подальше. Хватают в магазинах все, что под руку подвернется. А кнопок, вроде как у меня, не признают.

А что они с этими автомобилями делают? Год поездил — и бросает машину на свалку, все свои долины замусорили. И такая картина повсюду. Сидят в кафе белые, а тут же с ними черномазые. Капиталист идет по улице, а рядом с ним мусорщик. Никакой субординации.

Не понимают они гендировского этикета.

Не наш это путь. Я лишь дома вздохнул свободно, когда хлебнул горного воздуха, увидел родную вершину и наш Всепут на ней.

А дома новости. Пока я по границам маялся, академик из АДы, который меня на вторую колею надомил, произвел новые расчеты.

Разработал теорию обходных путей.

Ты, конечно, знаешь, у основоположников сказано: всякое общественное развитие совершается по спирали. Вот и АДы говорит: Всепут должен пролагаться на вершину не в лоб, а спирально. И математическим путем доказал, что лишь таким путем можно избежать крутизну.

Спираль огибает гору виток за витком двадцать шесть раз, и подъем становится пологим, преодолимым при современном уровне техники.

Слушаем академика АДы на Гендирбюро. Кардинальный вопрос, можно сказать, решается.

— У кого имеются вопросы, замечания? — это, значит, я веду заседание, я и спрашиваю.

Все молчат. Тогда снова я.

— На сколько же при этом методе удлинится наш родной Все-
пут?

— Примерно в сорок раз, — отвечает теоретик. — По кило-
метражу.

— А по стоимости? — спрашивает мой Гендир по финансам.

— Я по стоимости не рассчитывал, это должны сделать эконо-
мисты. Но думаю, стоимость возрастет в квадрате километража,
особенно при двухпутном варианте.

Тут мой Гендир по монтажу не выдержал, вскакивает:

— А полки в скалах рубить? Кто будет полки рубить? И как их
рубить? В тоннель уйти — и то лучше.

— О тоннеле, равно как и о полках я еще не думал, — отвечает
этот самый Ады. — Я создал математическую модель Всепута, един-
ственно возможную и отвечающую основному закону диалектики: чем
длиннее, тем дороже. Ваше дело запросить экономическое обоснова-
ние моей теории, а отвергнуть ее, коль она уже открыта, вы не мо-
жете. Это как Америка.

— Смотри-ка, — говорит мой Гендир по идеям. — Сейчас он у
нас свободы слова потребует. Надо будет проверить эту самую
Ады — какие идеи они там плодят?

Тогда я подбиваю бабки:

— Вопрос ясен, товарищи Гендиры. Если так возрастает протя-
женность и стоимость, когда же мы достигнем вершины? Двадцатым
веком здесь явно не пахнет. А мы торжественно обещали народу, что
нынешнее поколение наших людей дойдет до вершины Всеобщего
счастья. Нашему слову народ верит, обязан верить. Можем ли мы
принять такую теорию, которая нас тормозит и отодвигает наши
идеалы в необозримую даль. Какие будут предложения? Теорию об-
ходного пути мы решительно отвергли и бесповоротно закрыли. Ака-
демика отправили на заслуженный отдых в ПАНС повышенной кате-
гории.

Но идея принесла зерно. На том же Гендирбюро приняли реше-
ние создать Госкомзапу, Государственный комитет запасных путей.
Что бы там ни было, а пока идет строительство Всепута, обязаны мы
как мудрые государственные мужи иметь вариант запасных путей,
вот Госкомзапу нам их и подготовит на всякий пожарный случай.

А пока решили — налечь на тягу. Всепут почти готов, а тяги нет.

Заслушали на Гендирбюро Минтягу с Минфуном — дать им пол-
года срока для полного и окончательного преодоления крутости,
иначе пайковый билет на стол и полное лишение дачного доволь-
ствия.

Министр тяги докладывает. Выход уже найден. Если соединить
вместе тридцать или даже сорок электровозов, они преодолечат кру-
тость и смогут пройти на вершину своим ходом. Это уже точно рас-
считано в теории, можно приступать к практическим испытаниям.
Правда, на рельсы придется песок сыпать, но песка у нас с избыт-
ком, хоть весь Всепут засыпай.

— Сколько же вагонов смогут потянуть эти сорок электровозов?

Минтяга бодро отвечает:

— Один вагон. У нас рассчитано точно.

— Грузовой или пассажирский?

— Один пассажирский вагон на сорок пассажиров.

— Это что же выходит? Один электровоз способен вытянуть на вершину всего одного пассажира? Сколько же электровозов в таком случае нам потребуется? Двести пятьдесят миллионов. Не жирно ли берете, товарищ Минтяга? Предлагаем изыскать возможность при наличии наличного парка.

Так и записали в решении — про наличность. Как ни заманчиво такое решение проблемы, пришлось от него отказаться за полной бесполезностью. Нерентабельно возить туда и обратно одни электровозы.

Да что это я нашу кухню тебе рассказываю, это не для юбилея.

Ты должен воспеть, как молодежь просеку рубит, как она путь отделяет, а вечером у костра сидит, популярные песни поет. Золотая у нас молодежь, трудоспособная. Песню слышал?

Через горы и долины

Путь проложим на вершины,

На заветные вершины.

Сами сложили. Правильная песня. Зовущая. Вот и ты в таком ключе решай. Бери пример с нашей молодежи — не пропадешь.

При таком энтузиазме, я буквально удивляюсь, находятся отдельные тормозящие личности, которые нос от нашей вершины воротят.

Один изыскатель добрался туда со своей группой, вернулся обратно в Путеград и кричит на всех перекрестках:

— Я был на вершине и своими глазами видел: там ничего нет, одни камни, даже трава не растет. Ни воды, ни солнца. На нашей вершине — вечная облачность. Они нас обманули. Всепут должен быть в долине, а они ведут нас к вечной облачности. — И призывает: — Люди, нечего нам на вершине делать. Спускайтесь вниз.

Видишь, куда ему захотелось — в калифорнийскую долину. Псих какой-то. Ну мы эту личность отправили по назначению, пусть посидит да подумает, где ему лучше.

Приняли срочное решение — передать вершину в ведение МВД, то есть Минвсрша, министерство вершинных дел, чтобы оно и вершины там отныне.

Поставили на всех тропах надежные заслоны, — ни один непрошенный гость не просочится на нашу заветную вершину. Только по спецпропуску, который лично я подписываю.

А в народе ропот:

— Вместо Всеобщего счастья нам хотят подсунуть Вечную облачность.

Значит вот. Надо реагировать. Весь народ в зону не отправишь, нынче, увы, не те времена. Пришлось вести разъяснительную работу.

Да, вершина нам попалась суровая, почти недоступная. Да, действительно, имеются временные трудности роста и некоторая облачность на вершине существует, но это исключительно от ее высотности. И кто сказал, что эта облачность вечная?

Коль облачность закрывает нам путь к цели, она есть наш заклятый враг. Все силы на борьбу с вечной облачностью, чтоб она перестала быть вечной.

Если облачность не сдастся, ее уничтожат.

Разгоним вечную облачность искусственным путем. А кто нагоняет тень и туман, тот наш враг вдвойне. Наша цель — ясность, мы не позволим туман нагонять.

А что касается временных трудностей, то мы их преодолеваем. Особым декретом учредили КРВО, комитет по рассеиванию вечной облачности.

Рядом с растущим автомобильным гигантом заложили вентиляторный комбинат мощностью на 400 тысяч вентиляторов в год, из них 300 тысяч самоходных и реактивных вентиляторов. Отныне нам не страшна никакая вечная облачность.

И первые результаты налицо. Благодаря созданию КРВО количество вечной облачности за последнюю пятилетку снижено на 10—12 процентов.

С одной трудностью сладили, опять новости. Неизвестные злопыхатели распространяют в народе фотографии с видом вершины. Откуда они их раздобыли? Ищем и найдем, у наших органов осечек не бывает.

Мне эти фотографии показывали, гадость, какой свет не видал. И будто бы наша вершина вся опутана проволокой, будто бы там землянки и вышки, все рельсы на них пустили. Даже по ихнему телевидению эти вышки показывали, надо же придумать такую гнуснятину.

Пришлось дать достойную отповедь.

Мы нашу вершину марать не позволим. Ну остра вершина, крута, обрывиста, но мы с самого начала признавали это перед всем миром. Даже не вершина, а настоящий пик, такой острый, что там всего три человека могут разместиться, да и то верхом на гребне. Но в том и состоит историческая миссия нашего народа, чтобы достичь этой вершины всепутным путем, покорить ее, а уж потом сделать на этой вершине все, как у других людей.

Занялись благоустройством вершины. Срыли верхний пик под основание, теперь там ровная площадка.

Как пик убрали, спрашиваешь? Очень просто. Применили вертолетный десант, этот момент обязательно следует отметить. Героические люди. В условиях вечной облачности сумели зацепиться за пик, спустились по веревочным лестницам, пробурили шурфы, заложили заряды.

И рванули.

Один взрыв рассчитали неточно, скала разлетелась слишком далеко, образовались каменные лавины, и в долине засыпало 8 километров Всепута. 3 вертолета разбились, наткнувшись на скалы, имена героев ты получишь. Грядущие поколения должны знать тех, кто отдал жизнь за Всепут.

Пик срезали на 95 метров — и мачту такую же поставили, чтобы наша вершина не укорачивалась.

Заткнули глотку всем крикунам. Площадка образовалась подходя-

шая, вполне могут разместиться человек двести, вся наша руководящая верхушка. Медики утверждают — там воздух целебный. Но все-таки больше полчаса без маски не выдержишься.

Двести человек мало, говоришь. Да ты буквоед, как я погляжу: в рот глядишь и все буквально понимаешь. Да кому она нужна, твоя вершина? Кто на ней жить-то собирается? И зачем мне там жить в разреженной атмосфере, среди вечной облачности да вечных снегов? Да если хочешь знать, мы эту вершину вовсе для других целей приспособим. И напишем так: «не высовываться».

Не уразумел еще? Вершина есть фигура. Она наш всеобщий знак, куда нам должно стремиться, ради которого следует работать, идти на жертвы, отдавая все свои силы и даже жизни.

Мы не можем обесцелить наш народ, мы обязаны нацеливать его. Вот почему наша цель должна быть в полном порядке и соответствии. А что там на вершине конкретно расположится, это уж наше дело.

Ты слушай — и запоминай! Мы сугубые практики, а ты наш художественный оформитель.

Твоя задача — обрисовать Всепут художественными кистями, тебе и норма выработки пойдет за красочность.

Вот наши враги утверждают, будто у нас главный лозунг: «Все не для всех!» Надо же такое сочинить!

У нас все для всех! Но не всем одинаково, уравниловки мы никогда не допустим, потому как в теории записано: «каждому по его труду». Вот, скажем, икра. Чья она? Конечно, не наша, она народная.

И весь народ потребляет ее устами своих лучших представителей.

Так и обоснуй своей художественной кистью, народ за это спасибо скажет. Народ доверит тебе кнопку, кодовую таблицу, все горизонты потребления перед тобой распахнутся, знай старайся.

Тут юбилей Всепута приближается. Стали думать: как достойно его отметить? Кроме Гендира всех гендиров имеются во Всепуте разные председатели и этим председателям крайне необходим Генпред. Собрали Высший совет — кого же поставить Генпредом Всепута? И все как заголосят: «Его! Его!» — меня то есть.

Как со старым предом? Это ты верно заметил, имелась некоторая тонкость, кресло не пустовало. Так мы старого к черномазым отравили. Пусть он поохотится на львов в Драконовых горах, это умная головушка придумала. Летит он на голубом самолете за львами, а тем временем его портрет взяли за рамку и это самое.

А с портретами у нас, сам знаешь как. Портрет обязан висеть на месте. Коль портрета на месте не оказалось, то тебе и места под ним нет, вынуждены попросить, для этого особые лица обучены — портретный батальон.

Ничего не попишешь. Стал я Генпредом. Гендир всех гендиров, Генпред всех предов. Что еще на меня навалят? Обязан я терпеть во имя родного Всепута.

Значит вот. Опять звонок. Что у тебя, Михеич? Творческий перерыв окончен. Теперь лечебный моцион на свежем воздухе. И так с утра до вечера, себе не принадлежишь.

Пора в Сиреневый кабинет. На тебя, между прочим, допуск получен. Доверили.

Врачи рекомендуют ежедневно перед обедом проводить четверть часа на свежем воздухе, принимать горные ванны.

Куда ты вскочил? Чтобы двигаться, не обязательно самому ногами шлендрать. Что народ говорит: тише едешь, дальше будешь. Оставайся за столом, принимай калории.

Нажимаю сиреневую кнопку. Видишь, стол сам тронулся. Стенка раскрылась. Въезжаем в кабинет. Чуешь? Тронулись. Как куда? К нашей святой цели. Сиреневый кабинет куда хочешь тебя доставит, перемещаемся на воздушной подушке, чтобы мягче ехать.

Эту штучку Минтяга разработала. С электровозом у них осечка вышла, а тут на совесть постарались. Потому и добились успеха, что подошли к задаче по-научному.

Всепут по поверхности идет, а там рельеф, крутость, снега, дожди и прочие жизненные факторы, которые надо преодолевать.

А тут ушли в глубины материи. Как сделали? Кого ты спрашиваешь? Разве я конструктор?

Я Гендир, даю генеральное установление — проложить горизонталь и вертикаль, пробуровать нашу матушку. А как буровать — не моя забота.

Не чувствуешь движения? А ведь мы уже пересеклись, уже ввысь возносимся. Тут тяга мощная. Движемся — а куда? Вверх или вниз, вперед или назад? — неизвестно. Теория относительностей! В том и есть идеальная форма движения. Как все мы — крутимся с планетой, а сами того не чувствуем, даже не догадываемся. То-то и оно-то!

Лишь по приборам и фиксируем, куда движемся. И еще одна деликатность — обстановка не меняется, это медики научно разработали.

Катим на вершину в своем кабинете, за своим столом. И не различишь, где ты в настоящий момент пребываешь — на вершине или у себя дома. Тонкая штука.

Ты не вздумай это расписывать. Тебе доверили, ты подписку дал. Тоннель и шахта имеют оборонное значение, тут вся военная мощь Всепута. А я во время моциона инспектирую готовность шахты. Все на мне. Никому довериться нельзя.

Приближаемся. Лишь теперь ощущается легкое торможение. Да в ушах покалывает от высотности.

Тут ножками придется. Смотри, до чего хорошо, какая мощь вокруг разлита.

Даже облачность нынче не такая густая, небось, вентиляторы к моему приходу включили, я их знаю, липоделов. Ты глубже дыши, Носач, глубже. Здесь кислорода мало, хватай его!

Это та самая площадка, о которой я тебе говорил. Видишь ты здесь колючую проволоку? Вышки? И я не вижу. Отделали на совесть. И с идеей. Брусчаткой выложили, чтоб на вершине все было не хуже, чем внизу. По краям бордюрики. Полное благолепие. А на мачте государственный флаг развевается. Пусть все вершины наш флаг зрят.

Не видать, говоришь? Облачность? Так вообрази, ты ж художник. Чей стон раздается, спрашиваешь? Ничей. У нас тут никто не стонет. Не имеет права стонать.

Левее что? Что видишь, то и есть. Не узнаешь? Подойди поближе. Как теперь? Вот те на! Мавзолея не узнал, смотри-ка, нашим гендирам расскажу — посмеются.

Где же нашего святопочившего Отца-Основателя держать, как не на вершине? Внизу-то копия восковая. Оригинал здесь. Блюдем коэффициент надежности. Сюда уж злопыхатели не проберутся. Каравул стоит круглосуточно. Уж здесь на него никто не покусится.

А вон и карнач. Принимаю доклад. Так, хорошо, на вершине все спокойно, за истекшие сутки никаких происшествий. Как сто четвертый ведет себя? В норме? Служи, карнач, пусть твои подопечные глубже дышат.

Значит вот, Носач. Это не только мавзолей, но и трибуна. Руководящая верхушка располагается на вершине, я тебе пояснял, но ведь и на вершине не все равны — помнишь формулу? — каждому по его труду и званию.

Значит, над верхушкой обязана быть еще верхушка, а уж над ней одна вершина, видишь мачту? А там кабинка, это уж для самого вершителя.

Думаем тутobelisk с внутренним лифтом поставить, сейчас Минпот этот вопрос подрабатывает. Мы нашу вершину непрерывно совершенствуем.

Лестницы куда? Смотри, заинтересовался. Лестницы ведут вниз, куда же им еще вести, там особое хозяйство, Мингеобах хозяйствует — и не нашего с тобой ума дело, сам мозгуй.

Срок истекает. Давай в Сиреневый кабинет. Везде автоматика. Чуть зазевался, и твой кабинет без тебя укатит, будешь на вершине загорать, пока спасательная команда не снимет.

Ну как, производит впечатление?

Вот ты и достиг заветной цели. И что же тебе при этом думается? Какие возвышенные чувства тебя посетили? Ну глянь еще разок, сейчас двери задвинутся. Поехали.

Наливай. Поднимем за нашу вершину. Чтобы она всегда оставалась на высоте. Чтобы нам самим было куда стремиться и куда призывать широкие массы.

Конечно, пока вершину посещают отдельные люди. Лишь у членов Гендирбюро имеются такие же кабинеты, да и то не на каждый день. Пропускная способность невелика.

К сожалению, мы еще не можем пропустить через вершину все население. По этому каналу наша безопасность идет, все материально-техническое снабжение. Грузопотоки бешеные.

Дали задание Минрешу — заложить вторую шахту. На обслуживание вершины знаешь, сколько средств из золотого мешка идет?

Этой цифры я тебе никогда не скажу. Я и сам ее не знаю. И никто не знает. Но на вершину мы не скупимся, она у нас идет по внелимитным фондам. Сколько ей надо, столько ей и даем. Вон ты сациви сейчас потребил — а оно все оттуда же, с макушки. Одно могу

сообщить: первоначальная смета Всепута возросла за все годы в 100 000 раз. Ты эту цифру засеки, обыграешь ее, эвон какие богатые мы теперь стали.

Разрабатываем модель Всепута на 20 лет вперед, до скончания века. Перспективы у нас светлые. Скорость нашего движения к вершине возрастает ежегодно на 0,5 процента.

Я тебе для чего вершину показал? Чтоб твою кисть вдохновить на высшую возвышенность стиля. Так сиди и вдохновляйся. Народ, народ... Что ты мне своим народом голову морочишь? Выходит, я не меньше твоего о моем народе думаю? Чей он народ, твой или мой? Ты и сам-то со всеми своими потрохами тоже есть мой народ. Для кого мы Всепут строим? Кто этот Всепут открыл? Ты что ли? Кто его пролагает? Опять не ты. Построим — тогда все на вершину поднимутся, вкусят ее могучие и сладкие плоды.

Площадка мала? Не поместятся, говоришь, наши миллионы? Не мудро ставишь вопрос. У нас все рассчитано.

Склоны-то для чего?

Вот народ и будет располагаться на склонах до подножья включительно. Ты же первый и воспоешь это дело — как хорошо на склоне сидеть, а на тебя солнышко светит. Воспел, глядишь, и сам к вершине чуток передвинулся.

Ну разумею, разумею. Мы уже прибыли. Раз-два, вкатываемся обратно в Розовый кабинет. И снова вершина перед нами в окне. Сияет матушка. Благодать.

Да-а, после нашей вершины я всегда душой отдыхаю, честно говорю. Она давление снижает. У тебя тоже гипертония? Вот видишь, и тебе польза.

Как ни глянь, куда ни кинь. Мы тут дали задание НИИМИВ, институту мировых вершин — произвести сравнительную характеристику и анализ всех вершин мира.

И что же? НИИМИВ дал четкий ответ. Наша по всем статьям оказалась на первом месте. Вот какая исключительная у нас вершина.

Михеич? Снова ты? Докладывай. Настал дипломатический час? Я и забыл совсем, увлекся нашими захватывающими перспективами. Какие нынче вершины прибыли? Монблан и Килиманджаро, так.

Тогда давай сначала Килиманджару, а Монблан пусть посидит, покажи ему картинки какие-нибудь.

Пойдем в Белый кабинет, Носач. Поглядишь меня в работе, пригодится для твоих полотен, но учти — сам ни гу-гу, будто ты запасной переводчик.

Знаю я эту Килиманджару, опять деньги просить будет, все они черномазые попрошайки, только и умеют — кланчить. А не дашь, он у статуи Свободы зеленые выпросит.

Как хочешь, так и крутись.

Приветствую вас, господин Килиманджаро. Радуемся вашему благоденствию и лично вашему цветущему загорелому виду, стоп, слово загорелый не переводить.

Вполне понимаю вас, господин Килиманджаро, вы тоже прокла-

дываете Всепут на вашу замечательную вершину, и вам необходим не только наш героический пример, но кое-что посущественнее.

И сколько же тебе надо, Килиманджара?

Ого, сто миллиончиков. Исключительно для организации заповедников. Это интересно. Слоны, фламинго, страусы, крокодилы — какая прелесть, обожаю флору и фауну.

А обращаться с оружием ваши крокодилы умеют?

Это приятно, в таком случае, я думаю, дадим вам сто миллионов на заповедник, для этой цели у нас специальные фонды отведены. Разумеется, никаких политических условий, можете не волноваться. Безвозмездно предложим вам чертежи нашего Всепута, мы добрые.

Еще? Слушаю вас. Ах, понимаю, для охраны заповедников вам потребуются танки и ракеты «земля — небо».

И в каком количестве, господин Килиманджаро, вы собираетесь все это охранять?

Тысяча и тысяча. Мы подумаем, этот вопрос надо предварительно согласовать с Минтягой и Мингеобахом, а также с Минвершом.

Возможно, у них возникнут какие-то соображения, ведь это техника тонкая, вдруг она в неизвестном направлении повернет, я надеюсь, что к этой технике вы попросите наших советников, мы могли бы предоставить вам двадцать тысяч наших опытнейших гражданских специалистов.

Вот видите, как с вами легко разговаривать. Так и оформим нашу договоренность — как просьбу вашего законного правительства.

Мы всегда идем навстречу таким желанным просьбам. У нас какая просьба? Даже не знаю.

А что вы можете предложить? Страусиные яйца, крокодиловую кожу, слоновую кость? Ну что же, я передам министру потребления, он пришлет своих товароведов.

Никогда не пробовал страусиных яиц. Спасибо, не откажусь. Желаю успеха, передавайте привет вашим родным килиманджарцам.

Вводи следующего, Михеич.

Что они с этим Монбланом сделали? Такая удобная вершина, уж я бы на ней развернулся.

А они пробурили гору насквозь, несутся сквозь нее как очумелые из долины в долину, на вершину ноль внимания, одни фуникулеры на склонах, исключительно для развлечения, сплошные чудачки. Не думают они о пропускной способности, только о себе думают.

А идея где?

Добрый день, господин Монблан. Извините, что заставил вас немного подождать, эта Килиманджара всегда вперед лезет, просит у нас свободы. Но вы же знаете, мы свободу не экспортируем.

Танки? Что вы? Ни-ни-ни. Мы экспортируем исключительно газ и нефть и готовы предложить их вам.

Катайтесь на здоровье сквозь свой Монблан туда и обратно, мы приветствуем всяческое движение.

Итак, сколько вам потребуется нефти, если мы попросим взамен компьютеры и немного устриц для обслуживания нашей вершины?

Нефть нынче в цене, господин Монблан. Полагаю, мы с вами можем договориться. Будем продолжать наши разрядочные усилия.

Имеется второй пункт? Извольте. Гм-м, вы просите нас освободить того смутьяна, который распространял клеветнические фотографии с видом нашей вершины? И готовы принять его в свою страну? Так он и у вас начнет клеветать на ваш Монблан. Не боитесь? Ну-ну.

Вы знаете наши принципы, господин Монблан, для нас человек дороже всего, это вам не нефть и даже не компьютер, но если, скажем... мы как раз недавно интересовались возможностью получения оборудования для производства двигателей. Хорошо, господин Монблан, вы готовы обсудить наше предложение, а мы, в свою очередь, обсудим ваше, вынесем его на Гендирбюро.

Разрешите вручить вам на память новейший альбом с видами нашей вершины, примите мои уверения...

Ох, устал. Не люблю эту работу, все время деликатничать надо, кулаком по столу не хлопнешь. Слышь, Михеич, здорово я с ними разделался? Все Гендиры слушали? Пошли им стенограмму, пусть распишутся.

Третьего дня Фудзияма приходил. Ему медь потребовалась. Пронюхал где-то, что наша гора медью богата. И знает зараза, что нам предложить: кредит чистоганом. А сам концессию на медь просит.

Все выпытывал наши секреты — как мы Всепут кладем? Потом вдруг остров попросил вернуть, на это они хитрованцы. Придется дать им кусок нашей меди.

А остров они хрен получают. Там вулкан есть, правда, потухший, но мы его в любую минуту разожжем. Действующие вулканы нам самим потребуются.

Все во имя Всепута.

Ну так, Михеич, теперь у нас эстетический час. Послушаем народные песни и напевы. Включай, Михеич. А ты внимай, Носач. Слышишь, что народ мне поет:

— Да здравствует мудрая политика нашей мудрой Генеральной дирекции! Ура-а-а!

Правильно, это они верно поют. В таком ключе и будем учить подрастающее поколение, оставим им свои заветы. А слова-то какие! Народные!

Слушай дальше. Тоже вполне музыкально выглядит:

— Под мудрым руководством нашего мудрого Генерального Гендира вперед к новым вершинам! Ура-а-а!

Это они на меня перешли, чуешь. Самостоятельно выражают благолепные звуки. И откуда у них такая тонкость понимания? Из души поют, это же музыка, экстаз. У нас зря не похвалят.

А теперь что будет?

— Спасибо нашему любимому Генеральному Гендиру за наше счастливое детство.

Это детки вступили, тоже понимают нашу политику. Голоса-то какие нежные, прямо слеза прошибает. Это полезно, когда человек с юного возраста привыкает к правильному пониманию вершин и склонов, значит, ему гарантировано светлое будущее.

А это хор, давай, давай подтягивай:

Через горы и долины
На заветные вершины
Поведем свои машины.
Не желаем жить в долине.

Ишь, как распелись, не остановишь теперь. Вот он, истинный глас народа. От такого гласа душа ввысь устремляется.

Вот еще. Теперь куда их поведет?

— Генеральной дирекции — слава! Нашему мудрому Генеральному Гендиру — слава, слава!

Что ты врубил, Михеич? Прошлый раз это уже было. И голос тот же. Для чего в своем кресле сидишь? Обязан разнообразить народное песнопение для моего эстетического часа, чтобы ухо не приедалось.

Я тебе где велел записывать? На площадях и в народных парках. А ты в подворотню пошел. Иди в театр.

Над голосами надо работать, Михеич. Почему у тебя женских голосов не слышать, где равноправие. Испортил песню, придурок, я до тебя доберусь.

Эстетический час закрываю.

Переходим к экономической десятиминутке. Это для тебя, Носач. Разрабатываем сейчас новую систему экономического стимулирования.

Богатая у нас вершина, но хватит ее на ветер пускать, так бескомпромиссно продолжать не может, всю вершину изведем. А почему? Потому что на вал в рублях считаем, вот и летят миллиарды.

Теперь решили по-новому. Будем переходить на физические единицы: тонны и метры Всепута. А то по валу Всепут растет, а метра ни одного не прибавилось, случилось и так.

Благодаря новой экономической системе все переменится. На сколько тонн Всепут вырос, только это и станем учитывать.

И еще одна новинка. Я тебя сейчас обрадую, Носач. Академия движения — Ады совместно с Минрешем вошла в Гендирбюро с новым тезисом — укладывать вместо обычных рельс зубчатый путь, чувствуешь, как замахнулись? Мы же первыми в мире идем к вершине. Поэтому и тезисы у нас должны быть небывалые.

На зубчатом Всепуте сцепление будет лучше работать.

Зуб на зуб, понял?

Тяга возрастет в 2,2 раза, это научно обосновано, 144 академика считали на Главном вычислителе. 33 тысячи курьеров с перфокартами взад-вперед носились.

Скорость, спрашиваешь? Упадет, это верно. И немало — в десять раз будет медленнее.

Зуб на зуб — тут не разгонишься. Вот и решай проблему — что главней: тяга или скорость?

В общем, приняли тезис — в виде опыта поставить сразу четыре зубчатых колеи для повышения пропускной способности.

Что говоришь? Гибко подметил. На четырех колеях тоннаж и километраж враз возрастут. И вообще зубчатый рельс тяжелее.

Так что двинемся вперед по всем показателям. АДы уже подсчитала — в 9 раз тоннаж поднимется. Хорошие у нас проценты пойдут. Вот что значит новый экономический стимул.

Рельсы откуда? С этим да. Имеется заковыка. Металл — хлеб Всепута. Старые рельсы не сгодятся, зубчатка нужна. Все в переплавку. Будем закладывать новые домны.

И колеса. Уже дали задание Минколу — можно ли переделать старые колеса на зубчатые? А то и здесь потребуются переплавка. Но мы перед нашим Всепутом все равно не отступим.

Вагонный парк тоже. Вагоны-то наклонные будут. Я же говорю — подлинная революция Всепута. И вагоны старые — в переплавку. Все переплавим.

Будем заказывать на валюту специальное оборудование для изготовления зубчатых рельс, колес, стрелок, для нового подвижного состава с зубьями.

Всю всепутную промышленность придется переводить на новые зубчатые рельсы, тут одним поколением не обойдешься, пятилеток пять уйдет на это дело, никак не меньше.

Мы ж не для себя одних стараемся.

Как сопрягать? Да ты петришь, я посмотрю. В том-то и дело — как лучше переехать с зубчатой колеи на обычную и обратно? Как сопрягать? Вопрос вопросов.

Кинули на это все наличные силы, 800 институтов. Минреш и Минпрос слили, получился Минзубкол, министерство зубчатой колеи. ГУПС организовали — главное управление путей и средств. Всепут растет и усложняется. Научно стимулируем.

Решим, Носач. Чтоб мы да не решили. Зубчатка не получится, еще что-нибудь придумаем.

Дадим ракетную тягу. А обратно как с горки — бобслей.

На электронику перейдем, будем передвигаться по телевизору — сам на месте сидишь — и сам же двигаешься. Но экономить на Всепуте не будем. У нас теперь развитой Всеобщий путь.

Поднатужимся, ремни на поясе потуже затянем — но сотворим наш великий развитой Всепут. В крайнем случае окна вагонов закроем занавесками — и давай вагоны качать. Создается полная иллюзия движения, неоднократно проверено опытом.

Учи, Носач, твоего мнения никто не спрашивает. У тебя обязано иметься мое мнение. Я тебе наметки даю, это и есть твое мнение на сегодняшний день. Об этом и тужи голову. Как мы по зубчатому Всепуту вперед помчимся.

Смотри мне в глаза, от меня не укроешься. Какая забота тебя грызет? Нет забот? Предположим, я тебе поверил.

Тогда пойдем дальше, да? Что у нас после базиса? Надстройка, верно глаголешь. А надстройка начинается с НАРСа, народного счастья. Тут целый раздел посвящен НАРСу, 14 параграфов, больше, чем на войну, ибо у нас все время идет неуклонная битва за народное счастье.

Видишь как: шаг за шагом — и подобрались к нашим родным ПАНСам.

Начнем с теории. В чем есть идея счастья? Мы в этом тезисе не терпим застоя, все время совершенствуем структуру НАРСа. Ведь прежде чем созидать счастье практически, надо обосновать его теоретический корень.

Что ведет нас к Всеобщему счастью? Всепут ведет? Значит, Всепут и есть наше счастье.

Но Всепута-то пока нет. Мы его созидаем. А что созидаем? Всеобщее счастье. Так разве ты не счастлив — счастье-то созидая?

Собака неблагодарная.

Следующий параграф — исторический.

Когда-то люди довольствовались ИНСом, индивидуальным счастьем, ну короли там всякие, шахи, султаны, принцы и прочие тираны. Для нашего народа ИНСы явление глубоко чуждое.

С эпохой ИНСов мы безжалостно покончили и перешли к НАРСу, народному счастью, как я уже говорил. И теперь в состоянии поставить следующие дерзновенные задачи: перейти от НАРСа к ВЕРСу, к вершинному счастью, от ВЕРСа ко ВСЕОСу, всеобщему счастью.

Такова теория счастья, каковую мы утвердили на Гендирии и внедряем в народ.

Я эти тезисы лично и проработал, все самому приходится, один за весь народ думаю. Иной раз голова буквально пухнет до шарообразности.

Придумал себе в распорядок особый час для повышенного мышления. Теперь у меня каждое утро — полчаса на мыслительный час.

После завтрака беру компьютер, в электронном санузле запрუსь и думаю в глобчайшем одиночестве. Множество великих мыслей оттуда извлек.

Намедни осенило меня в мыслительный час — осуществить на эту пятилетку КОЛСы как более динамичную и доступную форму.

КОЛС — это коллективное счастье. Когда человек видит, что люди вокруг него счастливы, он и сам счастливее от этого.

Устанавливаем специальные дни ВСЕОСа. Дали особое указание КРВО и с прошлого года стали применять. КРВО включает на полную мощность все вентиляторы, разгоняет прочь вечную облачность над вершиной. Минверш разработал хитрую систему подсветки. Проекторы вспыхивают, но их самих не видеть.

И вся вершина сияет в этом свете, не даром ее в народе зовут сияющей. И вдруг оттуда, с нашей матушки, разлетаются разноцветные салюты.

Это надо видеть. Красотища невообразимая. Я сам у окна стою, люблюсь, глаз не могу оторвать.

На улицах мириады людей смеются, пляшут, поют, многие тысячи плачут от радости. Народ наглядно видит, куда ему должно стремиться, и получает свою порцию КОЛСа.

Думаешь, такие салюты нам дешево обходятся? Как салют, так считай десятки миллионов нет в кармане. Но ради ВСЕОСа нам ничего не жалко.

В эти дни побольше водки в оборот пускаем, чтобы покрыть расходы.

Что поделаешь, когда ВСЕОС будет вечным, тогда и водка станет бесплатной, а пока взимаем за нее наличными и даже пришлось эту наличность повысить, на зубчатку-то знаешь сколько средств требуется. Подумаешь, бутылку подняли. С каждого по гривне, а нам миллиарды. Если что, меха поднимем, машины, ковры. Народ у нас теперь богатый. Упорядочим его!

Развиваем КОЛСы дальше. Минпот срочно выпустил 100 тысяч уличных громкоговорителей. Ставим на всех перекрестках, в парках, ПАНСах, на вокзалах, речных переправах, стадионах — везде, где народу хочется бодрой музыки.

Думаем организовать Минплак, министерство плакатов. Чтоб всюду висели призывы и плакаты с видом нашей сияющей вершины, портреты членов Гендирбюро. И зовущие лозунги.

Куда ни пойдешь, а на тебя отовсюду Гендиры глядят. Это сильно воодушевляет.

И ПАНСы совершенствуем. Мы на Гендирии приняли постановление: пора народ приучать к будущему счастью. Ведь если народ не научить заранее счастьем, он таких дров наломает, будь здоров.

Всякое счастье должно знать меру. Сколько мы его можем выдать из общего котла?

Наше счастье планируется заранее. Составляются специальные пятилетки счастья для народа.

Счастье назначается специальными КОМСами, комитетами счастья. Вот назначут тебе, будь счастливым, попробуй откажись. Получай путевку и езжай за счастьем в свою ПАНСу, там музыка играет, на каждом этаже телевизор, пинг-понг, шахматы и шашки, домино.

В лесу проложены дорожки, в столовой трехразовое питание, по воскресеньям на обед жареная колбаса с капустой, каждый вечер кино или концерт самодеятельности, для молодых танцы до упаду.

Коридоры устланы коврами. Запустили специально пять ковровых комбинатов для ПАНСов.

Полный ассортимент счастья.

Для нас эти ПАНСы принципиально важны, ты потом поедешь туда, поживешь — и раскрасишь как полагается.

Тут мне докладывают: пропускная способность ПАНСов исключительно мала. Сел я на свой электронный стульчак и глубоко задумался. Целый час думал.

И решил проблему!

Пусть наши ПАНСы работают в две смены. Одна смена спит ночью, вторая — спит днем. Тогда мы увеличим пропускную способность ровно на двести процентов. Это какая же экономия возникнет, ты только вникни.

После ПАНСов открыли, но в ограниченном количестве, ПОВСы, дома повышенного счастья для ответственных работников. Сейчас действуют три категории, ПОВС-один, это самая высокая, ПОВСы-два и три, для среднего звена, но у каждого ПОВСа отдельный вход, это гарантировано.

В счастье надо разбираться, это не каждый может. Счастье вообще тонкая штука.

Другому отвали черствый каравай, он все равно счастлив от пуза. А в ПОВСах не так, там у нас утонченное счастье для тонких рукводящих натур.

Расписывать не буду, мы тебя самолично приобщи́м, хоть раскрасивать это не рекомендуется, кому надо, тот сам знает.

Думаем создать в экспериментальном порядке Супер-ПОВС и научно определить — что современному человеку для счастья надо?

Все сверхпотребности в СУПОВСе удовлетворим. Что твоя душенька пожелает. Ты едва подумал, а оно уже само в руки просится.

Занятная проблема — сколько человек вообще может потребить? Ну массаж там, музыка, душ Шарко, народное пение, индустриальные пейзажи, теплое слово, благоухающие запахи, научное питание, журналы с картинками, пастухи и папушки — буквально все! До пула!

Ну и это, как его? — ну эти самые, ах, совсем из головы выскочило, ах да, наши с тобой мужские дела, я еще в полном соку, мне нужна возвышенная эта, как ее? — ласка — и непременно со словами.

Чтобы всего — до пула!

Встает новый тезис. Кого подвергнуть такому эксперименту? Долго ломали голову над кандидатурой и решили — окромя меня, некому. Что поделаешь, придется жертвовать собой во имя ВСЕОСа.

Сейчас Минпот готовит этот сложный эксперимент.

Наш народ должен получить все, чего он заслуживает. Прекрасный нам достался народ, выносливый, работающий, доверчивый. Что мы народу скажем, то он и думает. Слово решает все.

А выше всего ценятся у нас передовики Всепута. Для них — все! Каждый год чеканим на Монетном дворе миллион орденов и медалей.

Даем передовикам земельные участки, пусть разводят в семейной обстановке благоухающие сады и строят ДОПСы, дома передового счастья для одной семьи.

Сам видишь, какая у нас стройная система. Полное единство теории и практики. Все категории обеспечены соответственно формуле, никто не забыт.

А в чем оно, главное счастье? Ну, мастер кисти, подскажи. Ну в этом самом, как его? Черт возьми, опять выскочило, пора йод принимать. Ну как же его? Ага — в труде! В нем оно и состоит!

Что? У основоположников по-другому записано? Счастье в борьбе? А труд это что по-твоему — не борьба? По-твоему, труд — бирюльки?

Как человек борется за свое существование? Трудом! Вот он и счастлив.

Этого мы полностью добились. Все население обеспечили работой. Это тебе не калифорнийская долина, где безработные толпами валяются на песке. У нас все плодотворно трудятся — 41 час в неделю —

самая продолжительная трудовая неделя среди всех цивилизованных вершин, тем мы и счастливы.

А не были бы счастливы, не просились бы сами на дополнительные субботники и воскресники.

У нас все состоит в коллективе, это и есть КОЛС. И транспорт у нас коллективный, чтоб человек ни на минуту не выпадал из КОЛСа.

В магазине он тоже из КОЛСа не ускользнет, чем длиннее очередь, тем больше у человека коллективного счастья. Все продумано!

А кто не желает сознательно трудиться, того в исправительные ЛАГСы, лагеря счастья, там его быстро научат быть счастливым.

Студентов и этих самых, как их? Интеллигентов — на картошку, пусть приобщаются к КОЛСу и не забывают, что они тоже часть народа — причем не самая лучшая.

Всех обеспечим — за этим делом строгий учет. Наблюдение за ВСЕОСом ведется с Главного пульта. Можешь подойти взглянуть. Сейчас проверим выходные данные. Нажимаю кнопку. И тут же ответ.

За минувший год счастье подскочило на 5,8 процента, а всего за пятилетку на 23 процента, как и было запланировано.

На будущую пятилетку намечен рост счастья на 15 тире 19 процентов.

Почему снижение? А переход на зубчатую колею? А валюта для грузовиков? А засуха? А рост потребления?

Сам икру жрешь, и еще спрашиваешь, все тебе надобно объяснять, как маленькому. Потому как слишком много вас прожорливых развелось.

За народ можешь не переживать. Народ и не заметит, прошлогодних газет никто не читает.

Мы теперь наши трудности научно планируем.

Счастье в борьбе, счастье в борьбе — талдычат весь век с утра до ночи. Наталдычали на миллион страниц. А я тебе шепну по секрету: старо, брат. Счастье вот оно — разложено передо мной на столе. Я на это дело смотрю из высшей мысли. Счастье есть потребление. Я потребляю, следовательно, я существую.

Понял теперь мою суперзадачу? Вот и надо проверить на мне — где есть верхний предел потребления, то есть счастья? Опять меня на это дело бросают. Потом АДы заложит мои данные в компьютер — пересчитаем на всех. Только я-то знаю — не каждый способен на высшее потребление...

Что тебе, Михеич? Опять поправляешь? Будто я говорю не то, что думаю. Вот как! Я из глубин души говорю, но это оказывается неверным.

Первый раз, можно сказать, молвил слово правды, но и оно обман. Не имею я права от души говорить.

Хорошо, Михеич, вынужден подчиниться. Не говорил я этого. И не думал. И Носачу передам. Он ничего не слышал и не видел. А если что, то память ему сотрем.

Уф, разволновался. Ты, Носач, со мной в эти игры не играй. Хоть

ты и бывший друг, но должен блюсти гендировский этикет, у нас двух дисциплин нету, для всех вас одна дисциплина.

Благодаришь за ценное указание? И просишь новые? То-то же! Погоди, дай отдышаться, ведь с утра до вечера ни минуты передыха, все для народа, для себя ничего.

Думаешь, оно простое дело, кнопки нажимать? Подойди вот, сам попробуй. Я подвинусь, а ты садись в дубль-кресло для стажеров. И нажимай.

Здесь две панели. Одна — потребление, вторая — управление. А где какая не скажу, сам решай.

Ага, задумался. А я до того освоил, что жму, не думая. Ну смелей. Раз-два. Ну еще — три! Какую нажал, ту или эту? Сам не помнишь. Эту? Тяговую систему включил. Ну тогда не страшно, она у нас все равно на холостом ходу.

Теперь открой шкафчик. Проверим, как ты умеешь пользоваться АСУ-Потреблением? Каковы твои духовные запросы? Ха-ха. Смотри, что ты заработал, Носач, опять насмешил меня персонально, спасибо тебе.

Получай свое — пуговицы, карандаши и губная помада. Ну зачем тебе пуговицы, ты об этом подумал?

Так и рождаются непроизводительные расходы. Я тут сижу, на каждой шпале экономлю, а у вашего брата миллионы на ветер летят.

Твои любимые карандаши? Строчить ими будешь? Ну бери, бери. А помаду для жены, не выбрасывать же ее теперь. Нет жены? И приспособить больше некому? И пуговицы возьми — сувенир на память о нашей исторической встрече, внукам будешь показывать. Внуки-то есть у тебя?..

Теперь подвинься, видишь, глазок мигает — это мне. Сгинь, говорят, не жми больше кнопок. Зачем жмешь? Это же меня по прямому проводу. Алло, Михеич, кто там еще? Минкол? Вот черти, уже пронюхали про Монблана, сплошная утечка информации, я за вас возьмусь.

Генеральный Гендир слушает. Ну чего тебе? Я же сказал: двигатели будут. Такого человека пришлось за них отдать. Тебя-то не берут, тебя ни на что не выменяешь. Смотри, чтоб к всепутному съезду первый грузовик своим ходом прибыл на площадь или положишь пайковый билет на стол.

Как он без двигателя пойдет? Ну это уж твое дело решать такие мелкие вопросы, я тут неученый, тебя учить не смею. Я свое сказал, отбой, Михеич, не тревожь меня по пустякам.

Опять у тебя информация течет. Найди — где дыра!

Вот я сейчас всех вас просвечу на компьютере. Сколько икры в наличии осталось? 6562 — смотри-ка, все сходится.

Как это нет? Что ты мне голову морочишь, Носач? Ну слопали мы с тобой килограмм, оно и уменьшилось по закону убывания. И первая цифра меньше, говоришь. Сейчас проверю по записной книжке. Так и есть. Слямзили. Где тонна икры? Михеич, тебя спрашивают.

Фирма «Океан». Давно за ними следишь? Лучше бы за икрой следил.

Держи вора. Ату его!

Фу ты! Давление надо измерить. Во как работают: тонну икры свистнули и загнали на валюту. Банда. Хорошо, что я вовремя уследил, а то бы все разворовали.

А этот где, ну который летел? Михеич: смотрю на терминал и ничего не понимаю, он же в обратную сторону движется.

Так. Доклад принимаю. Это не самолет, это танкер движется в Мировом океане, держит курс на Гавайские острова.

Вот вопрос — что он там потерял? Как ты думаешь, Михеич? Собирается продать нефть налево. Двадцать миллионов за один танкер. Это же моя нефть. А он ее слямзить хочет.

Держи вора.

Ну и денек сегодня! Ладно, пусть плывет. Следи за ним, Михеич. Глаз не своди.

Арестовать его — и под суд. Уж больно ты строг, Носач, нет в тебе предвидения. Раз-два — и к стенке. А кого на его место? Нового. Так новый-то голодней прежнего, разут, раздет. Старый-то уже нахапал. Он насытился, есть надежда, что он сам по себе уgomонится. А новый-то как сядет — и начнет по-новому хапать. Так что я за высший государственный интерес. Всегда считаю — а что мне выгоднее?

Кумовство, говоришь, развел. А что? Ведь мы куда народ зовем. Вперед к этому самому, как его — к кумонизму.

И народ нам верит.

Но бери по руке. Не превышай субординацию. Зачем ему 20 миллионов? — ты мне объясни. Ну понимаю, был бы член Гендирии с развитыми потребностями. А то ведь рядовой зам. С такими мы будем бороться беспощадно, по-революционному. Будем наводить социальную справедливость.

Ну что, Михеич, выработал рекомендации? Выслушал тебя, врачи рекомендуют не волноваться и продолжают наблюдать за моим давлением.

Устал я с вами. Надо нервный труд сочетать с эстетическим. Переходим к художественному часу. Пойдем, покажу тебе нашу реликвию, национальную галерею.

Не суетись, это здесь же, за дверью — в Мраморном кабинете. Собрали с отечественных вершин сто лучших произведений резца и кисти. Уже многие музеи мира заинтересовались...

Входи. Да не бойся, тут никто не бывает. Одним членам Гендирии разрешено вступать сюда для поучения и развития мысли.

Лучшие кисти производили, почти все лауреаты и Гертруды. Зри! Ну как? Я часто сюда прихожу. Врачи советуют. Говорят, это хорошо снимает нервные перегрузки.

И правда, походишь перед этими полотнами — и словно помолодел на двадцать лет. Хоть на час забуду про этих жуликов.

Смотри и выпитывай — пригодится на будущее.

Это фарфор, бюст в натуральную величину.

Рядом медь, тоже бюст, но — оригинал, а копию недавно установили в Каменке.

Вон эта картина из зернышек риса сложена, зернышко к зернышку, сто тысяч рисинок, тончайшая работа, всем КОЛСом творили.

Узнаешь? Похож? Я и то себя узнаю. Брови, говоришь, слишком густые? А у меня всегда такие были, я их сознательно отпускаю, чтоб на других не походить.

Следуй сюда. Самый большой портрет в коллекции. Будто я стою на природе в маршальской шинели и смотрю на нашу сверкающую в лучах утреннего солнца вершину. Тонко схвачено.

Слева групповой портрет: я на крейсере у наших славных моряков.

А это акт исторического подписания декрета о Всепуте. Отец-Основатель подписывает, а я ему, вишь, папку подаю. Я тогда пацаном совсем был, а вишь — доверили. Наблюдай, как все верно схвачено, это же наша исходная точка, явление будущего народу.

О чем шепчешь? Коль я папку подаю, значит, это я ее и перепутал? Ха-ха, веселый ты паренек, с тобой не соскучишься. Выходит, лично я всю нашу историю по новому пути и направил? Вон какой тонкий замысел был у художника.

Раскрыл ты все пружины. Я от данного направления не отказываюсь.

Смотри далее. Следует конный портрет: парад на брусчатой площади принимаю. Хорош жеребчик?

Правее — на конгрессе мировых вершин — произношу речь с трибуны. Представляешь, что задумали? Внесли предложение о всеобщем снижении уровня всех вершин мира.

Хитро предложено: сбалансировать вершины. И нашу предлагают снизить больше всех. Вот я и заявляю им: мы за сосуществование вершин, но нашу вершину снижать не позволим. Это означает укоротить идеал, наш народ не может пойти на такую жертву. Мы идеологической конвергенции вершин не допустим. И наши братские вершины ответят вам также. Сорвал им всю музыку.

А тут я веду Гендирию, как в историю заступил. Здесь весь Всепутный совет изображен, соратники и друзья.

Кое-кого пришлось, между прочим, перекрасить, но обстановка схвачена верно — общий энтузиазм, что я заступаю в историю.

В аккурат принимаем решение о новой структуре. Теперь много лет прошло, сама жизнь подтвердила правильность моего мудрого курса, особенно с министерством потребления и Минвершом.

Здесь историческое полотно: я вместе с Отцом-Продолжателем. Встретились случайно в штабе фронта и вспоминаем минувшие годы. Отец-Продолжатель передает мне заветы на будущее. А я как бы внимаю — готовлюсь бразды принимать.

Да, художники у нас даровитые, эвон сколько меня повторили — сто раз — и все по-разному, ни одного похожего нет.

Один из соломы портрет склеил, другой гобелен выткал, третий из спичек сложил, четвертый из смолги разработал.

Чуешь, как орден на груди блестит. Так это же натуральный —

в полотно вмонтирован. В этом ордене 112 бриллиантов, наш народ знает, кого награждать.

Что сказал? Ордена на живот сползают. Это ты верно заметил. На той неделе будем на Гендирии рассматривать вопрос. Поступило предложение произвести мне операцию по расширению грудной клетки, а то все награды на мне не помещаются. Я же для всех стараюсь, вот и силятся меня отблагодарить — хотя бы частично.

Это правильно, когда блестит! Завтра будут мне вручать орден Золотого павлина первой степени.

А это мрамор знаешь какой? Из которого Венера Милосская высечена.

Прислали с Апеннин, валютой плачено. Во весь рост изваяли, спецбригада трудилась. Зато мне доложили, такой мрамор тысячу лет простоит.

Но я человек скромный. Думаю передать эти работы в дар музею всеобщего обозрения. Один из Гендиров по согласованию со мной внес недавно такое предложение на Гендирию, будем рассматривать. Такое ответственное решение я один принять не могу. Оригиналы, естественно, оставим в Мраморном зале, а для музея копии сделаем. Вход бесплатный.

Фиксируй, Носач. Будешь стараться, я тебе свой портрет подарю, не в рост, конечно, но поясной можно.

О чем витаешь мыслями? Не насладился еще. Все думаешь, была ли наша родная Каменка или не была? Ты от родины не отрекайся. Ты был и есть каменский. А я другое дело, я за все отвечаю, и за Каменку, и за Калиновку, и за Горинку, и за Симбировку.

Я теперь сам есть родина. Я родину к вершине зову и веду. Я решаю — куда двигаться, в какую сторону шагнуть, поворот совершить. Вот ты болтал: счастье в борьбе.

Я основоположников признаю. Но тоже решил внести вклад в теорию. У нас кто был? Основоположники. Отец-Основатель. Отец-Продолжатель. А я есть кто?

Отец-Последователь.

Вот и следую. И тебе официально объявляю, ты потом оформишь красками.

Значит вот. Истинное счастье есть в движении.

Что мы строим — цель? Ан нет! Цель-то уже существует, она в природе заложена.

Мы же не цель строим, а дорогу к цели. В этом суть. Поэтому главное — чтобы цель все время от тебя отодвигалась. Цель от тебя, ты за нею.

Нажми-ка эту кнопку. Ага, стена раздвинулась, впереди просторы. Это мой личный музей.

Заходи слева, я с правой стороны. Садись. Ремень не забудь пристегнуть, сейчас поедем.

Этот лимузин я от Юнгфрау привез — подарок президента. Зверь, а не машина. Все-таки умеют они делать эти игрушки.

Значит вот. Трогаемся. Пересекаем личный музей. Тут стоят все машины, подаренные мне во время визитов по горам и долинам.

Как попал на закордонную вершину, обратно с машиной едешь. Все на ходу, хочешь прокатиться, только пальцем покажи.

Выбрались на автодром — набираю скорость. Сколько там на спидометре? Сто сорок. И не километров — а миль. Рвет и мечет.

Хорошие у меня пейзажи, да? Пронесются мимо. Это все электроника, сами отладили. Я же говорю: ты за целью, а цель от тебя.

Чуешь, это уже сплав. Теория и практика. А кто соединил? Вклад это или не вклад? А какой?

— Достойный.

— Правильно. А еще какой?

— Великий.

— Это уже точнее. Ты на эпитеты не стесняйся. У нас для эпитетов специальный фонд существует. Эпитетная шкала разработана.

Вашему брату только творить остается. Окинь еще раз художественным взором мой Мраморный кабинет. Сбрасываю скорость. Доставлю тебя до самых дверей.

Снова мы в Розовом кабинете. Твори, выдумывай. Это такая книга — главнее главной. А после положишь мне на стол, я подпишу. Ну аппарат, конечно, подработает материал, и текст мы утвердим. Утвержденный текст — это такое дело. Он критике не подлежит. Его только восхвалять должно. Так и будет — подпишу. Как, как? Вот так и подпишу. Обязан же я трудиться. Слова твои, а фамилия моя. Кому ты нужен? Если там твоя фамилия будет, кто тебя прочтет? А меня по всем вершинам читают и чтят. Тебе же честь великую оказывают: я на твоём тексте свою фамилию ставлю.

Гордись!

За это и тебе перепадет. Всепутная премия будет. Вот, нажимаю кнопку. Что ты видишь на экране. Читай. Постановление о государственной премии первой степени за мои воспоминания о Всепуте. И тебе кусок отвалим. Орден там. Или пайковую книжку повышенной проходимости. Баш на баш. Ты мне словесную книжку, я тебе пайковую. Что слаще? Хрю-хрю...

У кого кнопка, у того и материал. Я вот все время для истории думаю, для тебя то есть. Сейчас вот новую пятилетку придумал: качества и этой, как ее — фиктивности. Будем драться за фиктивность родного Всепуты. Наш Всепут будет всепутевым — я сказал!

Ты что-то хотел? Поговорить со мной по вопросу, да еще личному. Какие же у нас с тобой личные вопросы?

Ах, о дочери твоей? А я с самого утра все думаю — когда ты о дочери заговоришь? Как ее зовут? Мария?

В честь матери, выходит? Эх, Маня, Маня. Мне сначала доложили, что у Мани детей не было, а потом я перепроверил. Умерла Маня при родах. Не повезло тебе с нашей Маней. Суетился, морду товарищу бил — а что получил за это?

И все потому, что не в ту сторону двигался. Не сумел Маню обеспечить потреблением. Мне доложили: умерла от недостатка витаминов. Уморил ты Маню. Ни себе, ни людям, как говорится.

О чем же просишь? Дочь за итальянца выходит? Вершину решила поменять. А я-то здесь при чем? Ах, отказали тебе, вернее, ей.

Сам-то дал согласие на этот брак? Вот я и жду, как ты сам решишь? Я надеялся, ты ее ремнем по мягкому месту, смотришь, и доказал бы свою приверженность нашей вершине. А ты заместо этого просить за нее пришел.

Видно, вся в мать, такая же строптивая, не того выбирает.

Директива, говоришь, на этот счет имеется? Какая директива? Я же сам и подписывал ее в долине Суоми?

Вот это номер. Я же говорил, ты буквоед. Не умеешь ты читать директивы. Надо не просто читать, а промежду строк. Если бы умел промежду читать, не пришел бы с такой просьбой.

Любовь у них — и безумная? У тебя тоже безумная любовь была — а чем завершилась? Безумную любовь знаешь, где лечат.

Ладно, я сегодня в хорошем здравии, разберемся с твоим персональным вопросом, посоветуемся с товарищами. Ты подай в письменном виде, чтобы у нас документ имелся. Эх ты, какой приткий, уже изложил. Дадим вопросу ход. Коль бумага пришла, она обязана двигаться, а в какую сторону, этого я сам еще не ре...

Сирена! Что такое? Красный сигнал!

Тревога первой степени. Скорей к пульту. Не дай бог, ядерная началась, придется под землю лезть, под горой отсиживаться.

Нет, нет, список утвержден, тебя с собой не имею права, там запасов всего на семь лет, каждый человек на счету.

Еще пуше трезвонит. Ну просидел под горой семь лет, а дальше что? Все равно наружу вылезать придется. Ох, не дай бог.

Уж, запыхался. Что там, Михеич? Ядерная? Почему молчишь? Загружай лифты. Предупреди Гендиров. Не ядерная? Ну слава богу.

Почему же тогда первая степень? Этого еще не хватало. Какой путеукладчик? С моего пульта? И до какой отметки дошел? Рапорт, рапорт... Отставить все рапорта. Передай в Минприз: мобилизация призывников отменяется, сейчас разберусь.

Эй, сопливый, подойди сюда. Ты что это всех нас перепугал? Или в Каменку захотел — и навечно? Ты зачем эту кнопку нажимал? Тут же всепутным языком написано: «укладка ВП». Или ты неграмотный? Разучился читать от радости, что тебя в этот кабинет допустили.

Ай, ай, какой ты еще маленький и безвинный — хотел как лучше. Значит, сознательно сделал? Ты же этой кнопкой все путеукладчики в действие привел. И машина завертелась. Команда-то с Главного пульта. Сам Генеральный Гендир скомандовал — кто посмеет дать отставку. Они уже почти до вершины путь уложили, уже победные рапорта на мое имя готовят: будто вершина близка и уже просвечивает сквозь вечную облачность.

Внушал тебе: не пей столько. Ты спьяну едва Всепут не завершил. Ну чего буркалы вылупил? Не пьяный говоришь? Тем хуже. С отягчающими обстоятельствами.

Завершить Всепут! Ты хоть подумай. Это же крах, шабаш, провал, амба! Ну сам мозгуй, дубина стоеросовая. Вот народу сообщают: Всепут к ВСЕОСу завершен. Все! — достигли конечной цели. А даль-

ше? Куда ты дальше народ призывать будешь? Куда сам дальше будешь двигаться вместе с народом?

Ты же чуть-чуть нас всех идеала не лишил.

Коль мы до конечной цели дошли, народ что от нас потребует? Он прежде всего избытка потребует! Всеобщего счастья — ВСЕОСа! Вынь ему да положи. А у меня стратегической икры всего семь с половиной тонн, сам видел. Если я ее на всех разделю. По икринке?

Да у меня и колбасы на всех не хватит, чтоб от пуза. Где я колбасу возьму? По-твоему свою должен раздать!

Никому никакой радости от этого не произойдет.

Богатство-то уничтожить легко. А вот как ты бедность уничтожишь? Только постепенным движением. Одним — идеал, другим — икра. Зато все счастливы, все стремятся. И все пребывают в движении.

Алло, Михеич, тут небольшая неувязочка получилась. Гендиры в курсе? Двое в убежище спустились? Ха-ха, вот мудрецы, возьми их на карандаш, Михеич, мы с ними потом побеседуем.

Передай на головной путеекладчик, пусть пока над рапортом работают, чтоб покрасивше было.

Сделайте упор на тему: впервые в истории человечества... под моим личным и мудрым руководством... уже видна вершина... вошли в вечную облачность. И собственноручная подпись всех первовершинников.

А теперь соедини меня по красному пульту. Алло, внимание! На проводе Генеральный Гендир. Минфун? Есть Минфун! Мингеобах? Есть Мингеобах! Минпот? Минзубкол? Минприз? Всем министрам. Готовность номер один. Гриф: совершенно секретно. Путеекладчики вырвались вперед. Вскрыть красные конверты. Подготовить данные по условиям подпочвенных вод. Старший за операцию министр Минпота. О готовности доложить через три минуты.

Молчишь, сопля? Долго же до тебя доходит. Ты и в юности был таким же рохлей. Сейчас я подумаю, что с тобой предпринять. В Каменку тебя вернуть? Слишком сладко будет. Казне сплошной расход: подорожные, суточные. Этак мы через тебя в трубу вылетим.

Нечаянно-нечаянно. Вон как запел. Ты что — мальчик, которого пороть приходится для исправления? Ты же муж, отец, вон какой нос себе отрастил. А теперь на волю захотел. За дочкой и сам, небось, покатишь. По Италии соскучился.

Ничего ты не понял, как я погляжу. Объясняю тебе, объясняю, а ты как пень березовый.

Ишь как изворачиваешься. Проверить нас хотел? И как — проверил? Убедился, что мы начеку перед любым происком. Сейчас Главный вычислитель вычислит степень твоей вины перед Всепутем.

Писать будешь? Кому же ты писать собираешься? Ах, читателю. Смотри, как расхорохорился.

Все, что знаешь, то и напишешь? Ну и ну, отважный парень. А «Мертвые души» случаем не ты написал? Сожрал два кило севрюги — и сразу правды захотелось.

Алло, слушаю. Минпот? Рассчитали. Осталось 30 секунд. Дей-

стуйте без задержки. Людей выводить? Нет, уже некогда. Я лично буду наблюдать за программой. 15 секунд. Засекаю время.

Ну смотри теперь, разлюбезный Николай Васильевич, что ты натворил. Подойди к окну, полюбуйся вершиной, может, не будет у тебя другого случая. Смотри до чего она красивая в вечерних лучах.

Ага, сверкнуло! И вполне прилично. Мингеобах дело знает. Скоро звук дойдет.

Жуть берет, когда подумаешь, что там в горах сейчас творится.

Камни летят с вершины, сталкиваются, расшибаются, большие обгоняют малые, влекут за собой другие. Грохот невообразимый. Одно слово — лавина. И все это обрушивается на Всепут, мнет и засыпает рельсы, рвет мосты, гонит в пропасть путеукладчики.

Наш великий Всепут встал на дыбы.

И все это твоя работа, Носач. Предупреждал тебя: не умеешь нажимать кнопки, не суйся.

Уже и звук дошел. Мы-то далеко, прошелестело слегка. В Пугеграде и внимания не обратят на такой малый шелест.

Кажется, улеглось помаленьку. Создадим комиссию, которая подсчитает причиненный ущерб. Землетрясение или ураган, не знаю, что там было, отсюда не разглядеть. Сейчас мне доложат о предварительных результатах, заодно и с тобой решим.

И ты решил? Интересно, что же ты все-таки решил, Носатый? И есть ли у тебя такое право — решать? Ну смелей, излагай, в твоём распоряжении полторы минуты. Хочешь правду написать на меня?

Да ты спьяну болтаешь. Разве я когда-нибудь к неправде тебя призывал? Я и внушал тебе — пиши правду. Нам ведь тоже нужны Гоголи и Щедрины, но такие Гоголи, чтобы нас не трогали.

Коль тебе так сильно критиковать хочется, критикуй дворников, управдомов, стрелочников, мы тебе за это спасибо скажем. А ты вон как нас отблагодарил.

Что? Правда у нас с тобой разная? Интересно. Разве могут существовать две разных правды. Эвон какое великое открытие сделал. Прямо теоретический вклад! А правда-то одна! У кого кнопка, у того и правда.

Ты кому свою правду подашь, на чье имя ее напишешь? Читателю? А как же ты до него доберешься, до читателя своего? Нельзя говоришь? Что нельзя — на что это у меня права нет? Как бы не так.

Коль я все запрещаю, значит, мне самому можно все. Мое слово есть истина в последней инстанции, я сам решаю, что есть правда, а что ложь.

Вот так-то, бывший Носач. А ты своей правдой можешь подтереться. Ты мелюзга, сплошной фон, дунь чуть-чуть — и нет тебя, растворился в вечности без некролога.

Что? Рукописи не горят? Насчет рукописей не знаю, а вот люди сгорают дотла, это проверено. А если мы постараемся, то и рукопись сгорит без остатка.

Ишь ты какой приткий: найдутся люди, которые выведут Всепут на правильную дорожку. Честное слово — насмешил. Откуда они

возьмутся, такие люди? Будет перестройка? А кто станет перестраивать? Кто в это кресло сядет? — Так, так. А кто в это кресло сядет, тот и станет мной. Уж такое это кресло.

Оно же святое. Всепутное!

Алло, Генеральный Гендир слушает. Доложите предварительные. Ой-ой! Победный рапорт засыпало. И жертвы имеются? Так, понимаю, не успели эвакуировать людей из опасной зоны. Стихия грянула неожиданно.

42 лучших героя — увы! Похоронить со всеми почестями. Установить в их честь обелиск на месте лавины, высечь их имена. Четверых наиболее проверенных, представить к Гертруде. Их именами будут названы новые улицы в Путеграде. Семьям выдать денежное вознаграждение и путевки в ПАНСы.

Срочно приступить к восстановительным работам. Да, нелегко дается нам Всепут, то геология против нас, то уклоны, то стихия. Но мы преодолеем. Подготовить сообщение для народа о стихийном бедствии.

Что это было? Опять землетрясение? Я думаю, не стоит повторяться, один раз нас уже трясло. Ураган и лавина? Из тех самых долин? Это уже свежее.

Объяснить народу: несмотря на стихию, Всепут продвинулся вперед на 2,3 процента. Движение продолжается. Составить такое оптимистическое сообщение.

Народ нам верит, и мы обязаны говорить ему правду.

Далее — откопать победный рапорт и опубликовать его во всех печатях. Цель была близка, да вот... Объявить всенародный субботник по дальнейшему восстановлению Всепута. По данному вопросу все.

Теперь с этим мастером художественного слова, виновного в смерти 42 человек. Алло, Минверш, это я, Генеральный Гендир. Ты этого самого передаешь на Монблан? Молодец, оперативно действуешь. Надо привести его в божеский вид. Какое помещение у тебя освободилось? Сто четвертое? Ах, то самое. Так значит, я подошло к тебе одного — тоже борец за права человека. И сам к тому же туда рвался. Передай карначу: надзор особый. Принято единогласно.

Слышал, бывший друг Коля? Направляем тебя в зону Всеобщего счастья, во ВСЕОС. На какой срок, спрашиваешь? Ай-ай, опять ты ничего не понял...

1976

Над вечным покоем

Давай, Карманов, бди у входа и выхода. Сколько войдет, столько и выйдет, уяснил? А если кого внесут, того и вынесут, это наш принцип, Карманов. Блюда за претворением. Слава богу, мы план не перевыполняем, у нас работа стопроцентная. С тобой заранее согла-

сен, день нынче тяжелый, зреет боевая операция, зато завтра возьмем отгул. До следующего пришествия, а может, и того дальше. Понял меня, Карманов. Тогда топай-действуй!

Алло, Тихомиров, это я! Срежь интервал. С пяти до четырех. Скоро набегут, Тихомиров, я тебе обещаю. Это мы с тобой с самого ранья горим на работе, а они еще кофеек попивают, по телефонам сговариваются, чтобы встретиться в уютной современной обстановке. Жди их. Облапай клиента как тараканы. Так что давай-мотай! Интервал четыре минуты. Хватит с них: наглядятся.

Телегин, как меня слышишь? Что-то звук щелкает, барабан, верно, перезаряжают. Ну говори, Телегин, не томи мою многострадальную душу, едут? не едут? Как так? По графику назначено — одиннадцать сорок. Понял тебя — благодарствую. Я работаю точно, Телегин, плюс минус три минуты. Я на боевом посту. Горю, но не сгораю.

Крючкин, ты ли это? Что у тебя на хвосте? Конные готовы? Погоди выпускать. Погода хорошая, не застоятся. Корма мы тебе подбросим. Ты у меня в резерве, Крючкин, но будь начеку.

Слепцов! Я на проводе. Это я, Живчиков, твой шеф, если не забыл. То-то же! Музыка прибыла? Так, хорошо. Простуженных не имеешь? Молодец, Слепцов, содержи звук в чистоте — и будешь на коне. Репертуар тебе спущен. Еще раз молодец, Слепцов, чует мое сердце, далеко пойдешь, сам будешь ведать звуком. Гречи и дуй!

Ну вот, всю банду разогнал по местам. Теперь можно о себе подумать. Что я делаю? Открываю заветный ящичек, достаю заветный стаканчик.

Вкусна, зараза.

Не только булькает, но и греет.

А на закуску можно в окошко глянуть. Мое окошко особое, электронное. Внимание, включаю пульт! Едва засветится — тотчас в глазах прояснение. Ого! Идут, милые, идут. Терпеливо, с подскоком. Под чуткой охраной синих шинелей. С утра заняли очередь, теперь по асфальту шаркают, рвутся на паркет — тщета! Все там будем. И всех проводим туда соответственно занимаемой должности. А если нужна, мигом дадим разнарядку по коллективам: пришлите десять тысяч статистов с оплатой рабочего времени.

У нас не пустует.

А этот куда рвется? Ишь ты, серый макинтош напялил, чтобы скрыть свое черное нутро. Без очереди проскочить норовит. Пришел на встречу с вечностью, но при этом страшно нетерпелив. Смотри-ка, пропуск, предъявил, шпарит сквозь оцепление.

Что-то не припомню. Я этому серому типу пропусков не подписывал. Алло, кто сегодня дежурит? Никифор, ты? Живчиков на проводе. Прошел этот, в сером. У него штамп на месте? Хорошо проверил? Черт его знает, видно новый какой-то. На всякий случай привяжи к нему глаза и уши.

Не трудись, серый макинтош, от меня не скроешься.

— Алло, Вечный отдел слушает. Что желаете, товарищ? Куда вы

звоните? Совершенно верно, это и есть Генеральная дирекция Вечного отдела. Так, так, понимаю вас. На Ребьяче поле захотели? Сколько же вам лет, дорогой товарищ? Всего шестьдесят восемь. Молодо-зелено. А во-вторых, у нас предварительная запись. Исключительно по средам. Первая среда каждого нечетного месяца. Разумеется, надо иметь рекомендательные письма. Желательно за подписью Самого. И чтоб непременно виза первого отдела. Это за границу теперь ничего не стоит попасть. А к нам доступ строгий. Проверяем до последней косточки. Вопрос решается комплексно и коллегиально с учетом ваших прошлых и будущих заслуг перед державой. Оревуар!

И чего они все туда рвутся, не понимаю. Ведь если задуматься, разве не один черт где лежать — была бы травка свежая. Но думать некогда. Пока мы живы, у нас отнято право на раздумье.

Вера, ты на месте? Зайди-ка. Сообрази чайку да погорячее. Не ко времени его угораздило. Он что? Отдал концы — и свободен. А у нас хлопот полон рот. Ой, Вера, не спрашивай, откуда я знаю, кто он такой. Раз ко мне прибыл, значит, достоин. Перед моим лицом все равны — в соответствии с полученной командой. У меня на вчерашний день имелись три кандидатуры, все по первому разряду.

Ой, Вера, что ты говоришь? Что же раньше молчала? Сам Топтыгин! Надо же! Значит, его ко мне определили. А я в накладную не посмотрел. Вот это номер! Фрол Топтыгин! А я-то думаю, отчего это народ так прет. Национальный герой. Победитель трех держав. Освободитель. Таковую жизнь прожить. Сколько выпито! Сколько наворовано! Вот кого попотрошить бы, Вера, как ты думаешь? За такого человека и принять не грех, где мой заветный чаек?

И дочка уже в приемной сидит. Как же, знаю и ее. Вся в папашу. Ей меня распотрошить хочется. Одна банда.

Ничего, подождет. Какие новости в природе? Имеется что-нибудь свеженькое? Так, внимаю. Экскурсовод объясняет у вечного огня: «Здесь лежит неизвестный солдат Рабинович». — «Позвольте, какой же это неизвестный солдат, если известно, что его фамилия Рабинович». — «Так неизвестно, был ли он солдатом». Хи-хи. Слегка пощекотывает. А главное, на нашу с тобой тему. Подошьем к делу. Сообщение номер два. Надпись на могильной плите: «Гиви, спи спокойно, факты не подтвердились». Ха-ха, и еще раз ха-ха, четыре балла.

Ну зови эту, из приемной. Повязку приколи сначала, вот так, на левый рукав. Видишь, повязка стерлась по краям. Нет, нет, менять не надо, пусть все знают, какой тяжелый у меня хлеб. Даже повязка не выдерживает. А душа?

Эти повязки — удобная штука: половину слов можно не произносить.

— Да, да, Нина Петровна, пожалуйста проходите, присаживайтесь. Выражаю вам свое полное сочувствие, скорблю и страдаю вместе... у меня нет слов... вы должны быть мужественной... я со своей стороны готов оказать... собственно, у меня все готово... третьего дня приезжал к вам в Загорки... так сказать, последнее прости...

Напустить на лицо туман печали, однако не слишком густой, чтобы они не поняли, что ты играешь. Недаром в прекрасном городе Лондоне в похоронную команду берут самых угрюмых и проводят специальный конкурс на замещение вакантной должности могильщика. Традицию хранят.

Далее. Левую руку с повязкой полусогнуть и выставить вперед. Это производит впечатление. Пусть ни на минуту не забывает о том, кем она была и кем стала.

Что наша жизнь? Суровая игра. Была жена, а сделалась вдова. Была дочь — теперь сирота. А спесь осталась прежняя.

— Я все понимаю, Нина Петровна, в такую минуту. Готов принять все хлопоты на себя, это мой святой долг, а вашему папаше я многим обязан.

Состою на самой гуманной должности. Руководжу завершающим процессом. Наша продукция окончательная и обжалованию не подлежит.

Итак, горе горем, а дело делом. Сейчас мы с вами все обсудим и решим. Как говорится, вы на меня положитесь, а мы потом это дело перевернем. Хи-хи, пардон, мадам, это я мысленно произнес.

А она еще ничего. Я всегда утверждал, что горе украшает женщин, будь я сейчас не на посту, ох бы... Сегодня передо мной стоят другие задачи. Уж я его попотрошу.

— Так, так, понимаю. Полностью согласен с вами. Само собой, это в первую очередь. Начинать надо с поминок. Внимание, смотрю по списку — и все нам становится ясно. Так и есть. Записано: поминки государственные. Следовательно, о поминочках можете не беспокоиться, Нина Петровна. Приедете с Ребячьего поля, и стол будет накрыт в полном ассортименте. Государственный, так сказать, стол из народного, так сказать, кармана. Наш народ богат и щедр к тем, кто ему служил верой и правдой.

Мясо? Вы спрашиваете про мясо? Да, имеются некоторые трудности временного порядка. В одной из южных наших республик пришлось принимать специальное постановление: на похороны выдавать по талонам 25 килограммов мяса. Выдаем, разумеется, на живых. Но для этого нам надо предвидеть цифру, в данном случае количество успокоенных душ, иначе мы разрушим нашу плановую систему.

Скажу честно, Нина Петровна, данные временные трудности нашего с вами списка не касаются. Вы утверждены генеральной дирекцией — это все. Икра, балыки, салями, я уж не говорю о птичьем молоке, лучшие сорта птичьего молока. Посольская, столичная, пшеничная — словом, Колос Америки.

В любом количестве. Без каких бы то ни было ограничений. Единственное ограничение, это наш с вами взгляд на окружающий мир. Или иными словами: что в народе скажут.

А до остального нам дела нет. Вы называете адрес, я нажимаю кнопку. Остальное высчитывает машина. Разумеется, желательно, чтобы это происходило на вашей городской квартире. А то ведь дача в Загорках того — далеко, можем не поспеть.

Итак, на сколько персон, я записываю. Сорok персон. Вы увере-

ны? Вам хватит? О, можете не сомневаться, все будет исполнено в срок и даже скорее. Распишитесь, пожалуйста, на этом бланке, число и подпись, простая формальность.

Следуем дальше. Вот у меня записано по порядку: вопрос автомобиля, дачи и прочих общественных благ, включая спецкойку на специальном этаже.

Как? У вас нет собственного автомобиля? Целиком и полностью присоединяюсь к вашему мнению: государственный автомобиль лучше собственного хотя бы потому, что он не свой и потому всегда готов к употреблению. И есть не просит. Ваш батюшка — счастливый человек, до последнего часа ездил на народном бензине. И в лучший мир мы доставим его бесплатно. Но, как говорится, это есть финишная прямая.

Я бы всей душой, Нина Петровна, но сами понимаете, это не я, это энергетический кризис. Нефтедобывающие страны схватили планету за горло.

Нина Петровна, вам оказана высокая честь. Приедут наши руководители, все члены генеральной дирекции. Они будут стоять в карауле, потом подойдут к вам и вашей матушке — пожать руки. Это великая честь, об этом будет в газетах.

Но! Умоляю вас! Никаких просьб, тем более письменных прошений. Это не принято.

Обедню не порты!

Что у нас дальше? Дача, дача. Так ведь сейчас не сезон, Нина Петровна. По-моему, я выражаюсь ясно. Не будет у вас дачи, Нина Петровна. У меня в очереди записано двенадцать кандидатов — все достойные, все живые. Вот адрес: Загорки, дача номер шесть, видите, сколько претендентов.

Народ построил эту дачу для вашего батюшки, но сама дача есть имущество государственное, и она подлежит возврату для народного пользования, в этом есть неоценимое преимущество нашего строя.

Я же и говорю, Нина Петровна. Сочувствую вам всей душой, горячо, искренне. Вы на этой даче возрастали, понимаю, вам дорог там каждый кустик, сочувствую. Ведь мы и не претендовали, пока...

Вы знаете, как они на меня жмут.

— Сократить список. Опять разбухло. Ужать до предела!

Где тот предел?

Так что не обессудьте. При случае я всегда готов. Сделать услугу такой милой...

Ах, они гордые. Они бросают мне ключ от дачи. Разве я сказал, что это надо делать теперь же? И вообще, зачем их бросать? Там же ваши книги, вещи, мы вас торопить не будем.

Фу! Ушла, гордо хлопнув дверью. Фирма Живчикова работает четко, на уровне мировых стандартов. Я призван вызывать у них положительные эмоции.

Ключи-то у меня! Чур меня, чур! Действие продолжается. Алло, Крючкин, под личную ответственность. От имени народа. Поминки государственные на сто двадцать кувертов. Ты меня понял, Крючкин? Повторяю, не сорок, а сто двадцать. Выписываешь со склада на сто

двадцать. Накрывать свою скатерть самобранку, Крючкин. Остальное запишешь на мой фонд — до особого, так сказать, распоряжения. Следи за конскими хвостами, Крючкин.

Обо мне не беспокойся, умоляю тебя. Разве что балычок на язычок да грибок на зубок. Остальное получаю черной икрой. А черная икра она такая, она сама знает, как ей превратиться в валюту. Какой там у нас резерв, Крючкин?

Завидую я тебе, прямо скажу. Имеешь такой резерв — и не загордился. А без резерва нынче жить никак нельзя. Пора покойников в резерве держать.

А вдруг срочно потребуются?

Алло, Карманов, как дела? Блудешь интервал? Переходи на три минуты, как в телефоне-автомате. Задание особой важности, Карманов, срочно поднимись ко мне. Народ призывает на подвиг.

Тихомиров, ты? Передай распоряжение в гараж: автомобиль ноль шесть двадцать два на прикол! Ну этот самый, топтыгинский, никому — уяснил? Никаких жен. Это вчера они были всемогущие жены, а нынче состоят в разряде рядовых вдов. И на голове платочек черный. У меня все, Тихомиров, старайся не марайся.

А народ валит. Подлинное столпотворение. Включил все экраны, руковожу пультом. Течет народ, подметками шаркает. Хороший нам народ достался, организованный, способный, трудолюбивый. За это мы его и любим.

Скорбят по Топтыгину — и вроде бы искренне. Сделаем укрупнение.

Благопристойные интеллигенты в общем количестве две штуки. А ну еще укрупним:

— Я ей и говорю: у меня есть лишний билетик.

— А она что?

— Как что? Я ей лишний билетик. Она мне обои — сорок рулонов.

Трепачи несчастные. Никакой благопристойности. Еще укрупнение:

— Смерть есть последний человеческий поступок. Говорят, он дачу успел на жену переписать.

Неужто успел? Немедленно проверить. Это мы еще посмотрим. Живчиков на посту.

Так: какие еще новости? Третье укрупнение:

— Слышал? На Гришу дело заводят. Вася требует очной ставки.

— Это точно? От кого знаешь?..

— Можешь не сомневаться. Фирма работает точно.

Гришу — на зубок!

Входи, Карманов. Вера, ко мне никого. Огляди внимательно мой стол, Карманов. Что ты видишь? Никак нет, Карманов, это не подделка. Это подлинник. Операция «Лев» вступает в завершающую фазу.

Один момент. Проверим барабаны. Тут? Отключено. А тут? Чисто.

Да здравствует свобода от барабана, Карманов. Техника на грани фантастики: барабан крутится, а звука нет.

Идет война народная — молчание против звука.

Теперь можешь выражаться полнозвучно. Мы с тобой работаем в доле, Карманов, как договорились, твоих тридцать процентов, остальные мои. Кто мы с тобой, Карманов? Сообщники? Я в этом не уверен. Коллеги — вот кто мы с тобой. Завершим операцию «Лев» — и начинается золотая жизнь, Карманов. Париж, Монте-Карло, Лас-Вегас. Победителей не судят, Карманов. Победителей увенчивают лаврами.

Что ты должен сделать? Законный вопрос. Едешь в Загорки, дача номер шесть. А там она висит, долгожданная, ты ее сразу узнаешь и полюбишь с первого взгляда.

Не торопись, Карманов. Срок назначен такой, чтобы без осечки. Я десять лет ждал этого шанса. Мы погружаем Топтыгина в автобус. Ты в этот момент летишь в Загорки. Все будут лить слезы, кто настоящие, кто крокодиловы, а ты, Карманов, куешь победу.

Держи ключи. Это от ворот, от дома, этот, английский, на второй этаж. Добыл их собственноручно. Они, видите ли, бедные, но гордые. Сама на стол их бросила. А если передумает и вернется за ключами, у меня копия готова — вот! А тебе вручаю подлинник.

Что наша жизнь, Карманов? Где подлинник, где фальшак? Кто отличит? Вот когда ты в гробу расположился, тут ты подлинный, без подделки. Наша фирма работает честно.

Действуй, Карманов. Но не раньше, чем мы загрузим автобус. Вопросы имеются?

Ах да, запасные части. Сейчас вручу и расскажу при этом кое-что популярное.

Алло, Живчиков слушает. Как штык, в любую секунду готов вонзиться в действительность. Что? Черные автомобили выехали. Спасибо, друг, буду служить тебе верой и правдой. К встрече готов.

Отложим, Карманов. Свистать всех наверх. Крючкин, Тихомиров, Телегин, Слепцов — внимание, все в сборе? Обращаюсь к вам, джентльмены с большой дороги: бдеть и не сопеть! Не проморгать!

Перекрыть дорогу. Очистить коридор.

Что это? Кого ты в караул суешь. Никифор, ставь своих. Подождет твоя интеллигенция.

Какая честь. Едут персонально. Едут в полном комплекте. А он лежит и не видит. При жизни такой чести не оказывали.

Зато теперь эта честь — вечная.

Вера, почему изголовье потухло? Включи и не выключай. Пусть светится голубым светом. Мое око не дремлет.

Я их встречать не пойду. Я человек маленький, мне не положено. Там есть кому встретить, уже выстроились, на цыпочках тянутся.

Я всегда в тени — к лампионам не стремлюсь.

В тени-то прохладнее. Тебя никто не замечает. Зато ты видишь всех. Видишь и двигаешь.

Я есмь. От меня зависит, где ты лежать будешь, в хоробах или под забором.

Эхма, не все ли едино. Ан нет. Являемся на этот свет одинаково голенькими, а уходим отсюда — глядь — все в разных мундирах.

Он дерется не только за свое место в жизни. Все у него есть: дача, машина, паек, секретарша, готовая прилечь рядом, — а все равно на вечный покой к нам стремится, не желает лежать среди рядовых тружеников, которым он всю жизнь служил. Он хочет от рядовых отделиться.

А как над ними ни химичь, запах ото всех идет одинаковый.

Нет, не ценят у нас верные кадры. Горел, можно сказать, на этой адовой работе с утра до ночи. Сколько идей им отдал. Сколько серого вещества израсходовал. Полную структуру разработал и внедрил. На пять докторских диссертаций хватило бы. А мне хоть бы орден поганый. Не полагается, говорят, на такой работе.

Материально, правда, обеспечен по всем статьям. И заискивают передо мной. И приварок есть. Но крохи, крохи, не по моему размаху.

Вот сработаю операцию «Лев», только вы меня и видели. Этот чудик надеется на тридцать процентов. Пусть, пусть, разубеждать не буду.

Ага, прикатили. Черные автомобили ходят быстро. Город замирает, давая им дорогу.

Смотрите, как вышагивают. Сколько их ни видел, всегда в одном и том же порядке. Четко знают, кто первый, второй, пятый. Зарубки им на ногу сделали что ли? Впереди Бровач, за ним Сухопарый, третьим Толстяк, пятым Говорунчик. Правда, двенадцатый плечом заработал, хочет оттеснить одиннадцатого. Суета.

Шагайте, шагайте. Простор я вам обеспечил. Занимайте места согласно вашим билетам. Скорчили постные рожи. Включаю табло. Даю вам 240 секунд.

Кто кем командует?

Ох, что-то сердце закололо. Спокойно, Живчиков, дыши глубже. Пульс нормальный. Ничто мне не грозит. Все продумано до микрона. Все обсчитано. Осечки не будет.

— Дамы и господа, делайте ваши ставки. Прошу вас, займите это кресло. Это специальное почетное кресло для восточных принцев. К тому же оно счастливое. В какой валюте вы будете покупать фишки? О, мсье, десять раз по десять тысяч. Сию минуту, мсье, я должен сосчитать, все в порядке, мсье, прошу вас к этому креслу. Дамы и господа, ставки сделаны. А вы, мсье? Ставите на цифру тринадцать? Все десять фишек?! Дамы и господа, игра. Смотрите, как красиво вертится круг, это наша с вами судьба, дамы и господа. Она крутится, сама не зная, на чем остановиться. Так и есть, мсье, ваша цифра — выпало тринадцать. Вы выиграли три с половиной миллиона. Хотите играть дальше? Дамы и господа, делайте ваши ставки. Три с половиной миллиона стоят на каре. Ставки сделаны, дамы и господа, игра. Круг судьбы завертелся. Сегодня будет большая игра, дамы и господа, к нам пожаловал восточный принц, пожелавший остаться инкогнито. Вот и все. Шарик остановился. Еще раз поздравляю вас, мсье — каре ваше. Помножьте свои миллионы на восемь. Вот ваш выигрыш, мсье, пока в фишках, но мы всегда к вашим услугам. Как, вы хотите сделать еще ставки? Десять фишек

по миллиону на цифру 13. Понимаю, вы хотите испытать и проверить свою судьбу. Дамы и господа, игра. Как? Этого не может быть? Снова выпало 13? Дамы и господа, у меня экстренное заявление. Наше казино закрывается в виду полного и абсолютного разорения. За три минуты мы проиграли почти четыреста миллионов. Не волнуйтесь, мсье, разумеется, вы получите свои деньги, но для этого нам придется продать всю недвижимость. Что вы сказали, мсье, вы покупаете нас всех со всеми потрохами. О, мы будем счастливы служить такому счастливчику. Значит, теперь вы наш хозяин, и вы требуете, чтобы игра не останавливалась, впереди вся ночь и пусть она будет счастливой. Дамы и господа, игра продолжается, делайте ваши ставки. Казино «Райские берега» живет и процветает.

Ну как сердечко, успокоилось? Так скоро я вам не сдамся. Я еще погуляю на Монмартре.

А ведь окопным романтиком был, за правду сражался. Под Оршей оторвало два пальца на левой ноге, загремел в госпиталь, встретил дружка и оказался в штабе фронта.

Что за напасть! Назначают начальником трофейной команды.

— Как? Не могу на такой позор идти.

— Кругом! Шагом марш!

Стыдно было поначалу. А потом привык. Следую на запад в четвертом эшелоне.

Какие у нас тогда трофеи? Тела доблестных защитников родины. Таких трофеев у нас навалом. Подбирали через одного, рапортовали смело — и всех в братскую.

Тут приказ Верховного. Боевое снаряжение не должно погибать одновременно с гибелью защитников. А ну давай разувай, раздевай. Оно еще живым послужит.

Я вам доложу, эти покойники, эти защитники, они все какие-то упрямые. Буквально несгибаемые. С трудом мы с ними справлялись.

Зато в Германии пошли трофеи. Установили нормы почтовых отправок: солдатам 8 килограммов, рядовым офицерам — до пуда.

А генералу какая норма? Он сам себе генерал.

Сам Топтыгин призывает меня к себе.

Слушай, Живчиков, боевой приказ. Бери три пульмана. Загрузишь их и по маршруту Магдебург — Москва, улица анархиста Кропоткина, дом тринадцать.

— Будет сделано, товарищ генерал, хоть четыре пульмана. Я солдат партии.

— Ни в коем случае, Живчиков. Ты же меня под монастырь подведешь. Обязан понимать армейскую субординацию. Маршал отправил четыре вагона, значит, я обязан три. Никак не больше и не меньше, чтобы не обидеть ниже меня стоящих. Назначая тебя ведущим трех вагонов, Живчиков. Можешь и себе прихватить два ящика.

Сделал я под козырек и национализировал своему генералу меховой магазин вместе с манекенами. Напротив радиомастерская — и ее туда же. Три вагона под пломбу. И прямым ходом через всю Германию в запломбированном вагоне прямо на улицу Кропоткина.

Ехал четыре дня поперек всей Европы. Тут хошь не хошь поумнеешь.

Явился с докладом:

— Примите накладные, товарищ генерал. Доставлено на нашу многострадальную родину, пострадавшую от бесчеловечных оккупантов, прямо в руки вашей законной супруги. Все сделано по этикету.

— Спасибо за службу. Доблестного освободителя не забуду.

И вставил меня в список на награждение. После Победы генерала в Москву на повышение. Я за ним. Заступил на московскую должность.

Где он теперь, мой Топтыгин? Проел, промотал мою добычу, лежит в деревянном ложе, вокруг замер почетный караул. Самый почетный.

Дурачком ведь был. Рыскал по домам, книги собирал. Мне бы хоть три холста в трубочку свернуть. А я врываюсь в господский дом с автоматом и по этим холстам очередь шью.

Два года назад приезжаю на одну дачу в Загорки, а там картина на стене висит. Бесценная работа итальянской школы. Одного такого холста до конца жизни хватит. Смотрю внимательнее — что такое? Поверху идут три дырочки, аккуратно заштопанные.

Это же я стрелял!

Восточную башню пробил и два облака продырявил.

Вот какой был отважный. Бедный, но гордый.

Сколько там на табло набежало? Осталось меньше минуты. Стоят по обе стороны. Задумались. Что-то они мрачные сегодня, друг на друга не смотрят. О вечном размышляют. Покойник-то моложе их. Задумается, как я в пломбированном вагоне.

Выходит, и они иногда думают. Что-то тут не того, чувствует моя селезенка.

Ну-ка, увеличим изображение. Приблизим их до себя. Ага, вот так. Панорама по лицам справа налево. Есть движение! Бровью ведет. А тот, сутулый, ему левой ноздрей отвечает. Значит, у них сейчас совещание, да такое, чтобы ни-ни-ни.

Расположились у гроба, как за столом заседаний. Разве что графина с водой нет. И микрофон выключен, в том-то и дело. Кто из них сейчас протокол ведет?

Время истекло. Выводите их на обратную орбиту. Честь оказана. Решение принято.

Узнать бы — какое? Куда теперь наш сапог наступит? Но я терпеливый, я подожду. От меня ни одна пружина не скроется.

Без Живчикова им не обойтись.

Уф! Отбыли. Автомобили у всех одинаковые, однако он с первого взгляда свой узнает. Как ему там не скучно одному сидеть? Думает свою великую государственную думу.

А если двое в один автомобиль юркнули, значит, они объединились против третьего. Не положено по этикету.

Идем в графике. Сейчас начнут речи шпарить, а я снова проверь. Все я да я, никому нельзя довериться. Ничего, скоро я вам скажу: оревуар!

Все сам. Жалко будет уходить: с нуля начинал. Принял хозяй-

ство в разрухе — и начал восстанавливать, развивать — выходить на высший мировой уровень.

Встречаю институтского приятеля Колю.

— Кто ты? — спрашивает. — В министры вышел?

— Бери выше, — отвечаю. — Заведую отделом «В».

— Что сие значит?

— Отдел «В» есть Вечный отдел. Переправляю наличное население в сектор вечности. А так как смертность у нас на Земле стопроцентная, мимо меня никто не проходит.

— У тебя случаем нет свободного местечка? Возьми меня к себе, Гера.

— Штаты забиты, Коля. В будущем году намечается реорганизация. Тогда я тебе звякну. Непременно.

А мы с Колей вместе театральный факультет кончали, только он пошел по колбасной части, а я по вечной. Дирижирую всеми загробными мероприятиями.

Кто сказал: «загробный»? У нас это не принято. Необходимо сладкозвучие.

Вот я и начал с отработки термина. Раньше в нашем деле с плеча рубили: сгинул, мертвяк, дуба дал, гикнулся, сыграл в ящик, сдох, окохурился, скопытился, сиганул, ноги протянул, скапутился. От этого образуются стилистические перегрузки. Народ впадает в уныние.

А ведь наш язык обильный и чуткий. Мы обязаны использовать наш сладкозвучный язык на полную мощность в деле создания материальной базы светлого будущего.

Специальным постановлением утвердили единый термин для всех контор и ведомств: покойник — поскольку теперь он получил свой вечный покой.

Но я на данном термине не остановился. Я пошел дальше. Подал в инстанции проект с новым термином, как более умиротворяющим и потому соответствующим духу нашей великой созидательной эпохи.

— Клиент!

И то! В парикмахерской он клиент. В бане — клиент, в прачечной — клиент, в ресторане клиент, в банке клиент. А мы чем хуже? Так что отныне имеем дело исключительно с клиентом. При этом, учтите, наш клиент податлив. Он есть образец клиента. Поэтому всеми силами боремся за расширение нашей клиентуры.

А кто я на вокзале? Рассчитывал пойти еще дальше: от клиента к пассажиру. Однако на данном этапе поддержки не получил. Отвечают мне: не доросли.

Объявили закрытый конкурс на лучший эпитет. Участвуют всепризнанные мастера пера, исключительно лауреаты.

— Отошедший.

— Потусторонний.

— Успокоенный.

— Отгоревший.

— Почивший.

- Отгремевший.
- Угаснувший.
- Уснувший.

На данный период утверждены два рабочих варианта: успокоенный и отгоревший, смотря по должности и воинскому званию. Но я твердо решил на этом не останавливаться, я пойду дальше и глубже.

Есть у меня высший идеал:

— Безвременный пассажир.

Вот когда начнется давка за билетами.

Где Карманов? Руководит процедурой. А где звук? Вера, куда ты звук подевала? Отдай мне звук, я речи контролировать буду. Бди, Живчиков.

Вот первый вышел. Хорошо говорит. Понимает звук:

— После того, как случилось это, мне трудно... я в затруднении, я взволнован, но мы знаем, что имелись некоторые проблемы и непредвиденные сложности, приведшие к тому, что случилось, но нет, наши сердца отказываются верить, он с нами, он с нами, он всегда останется среди нас. Он не уйдет, мы его не отдадим.

Выверенный товарищ. Знает, что слово не воробей. Я все пишу на барабан. Пригодится если не для истории, то для вечного отдела.

А этот? Затарабанил. И еще воображает при этом, что рубит правду-матку.

— Его не стало. Он ушел. И никогда уже не будет среди нас. Закапилось наше боевое солнце, и мы погружены в глубокий мрак. Он столько не успел, покинув нас. Какая черная несправедливость.

Очернитель — и при том злонамеренный. Придется взять его на карандаш. Ишь ты, мрака ему захотелось. Он же надежду у человека отнимает. Диссидент несчастный.

Придется внести очередное предложение. Будем загодя прослушивать все речи, произносимые в присутствии успокоенного. И вообще — составим им модель, что им следует говорить после того, что случилось. Создадим оптимистический звуковой вариант перехода к вечности. Чтобы всем было хорошо и радостно.

А то нашли повод: плачут, ревямя ревут, причитают, как триста лет назад. Эти слезы расслабляют. Мы обязаны выработать новый принцип. Мы не плачем. Мы говорим. Мы произносим речи. Но не такие, какие в голову взбредут, а жизнеутверждающие и зовущие. Чтоб никакой очернитель сюда не просочился.

Впрочем, это уже не для меня. Я свои счета закончил. Покидаю Вечный отдел. Перехожу к реальной жизни.

Карманов! Шагай ко мне. Теперь они без тебя управятся.

— Алло, Живчиков у аппарата. Есть товарищ маршал. Понимаю, товарищ маршал. Есть проверить наличие по цветному металлу. Так я мигом, товарищ маршал, у меня наличие всегда под рукой. Вот. Вас какой цветной интересует? Свинец. Вот он! На складе имеется в наличии восемь тонн двести сорок килограммов. Мало? Ну конечно же мало, товарищ маршал, я всегда снабжен-

цам говорил. Так мы еще завезем. Сейчас же направлю самолет на рудники. Сколько прикажете, товарищ маршал? Понял, записал. Будет исполнено. Понял. Рудники перегружены. Будем заказывать свинец за железным занавесом, это мне ясно, товарищ маршал.

Хм-м, зачем им свинец понадобился? Что-то я здесь недоучел. Не люблю, когда туман перед глазами. Смотри глубже, Живчиков, глубже.

Примем порцию для ясности. Как она там еще — булькает? Как говорил мой успокоенный друг Миша. — «Почему я пью? Все становится понятнее».

Входи, Карманов. Смелее. Нынче полная запарка. Никак не дадут сосредоточиться. Значит так, операция «Лев» продолжается. Вопросы есть?

Тебя интересует, откуда я знаю, висит ли она там? А что я делал, Карманов, третьего дня, когда ездил снимать мерку для последнего деревянного одеяния отгоревшему? Да, да, я был в той самой комнате на втором этаже. Висит она, милая. Слева от окна. Войдешь в комнату, глянешь на стену — и она твоя.

Как ты ее узнаешь? Интересный вопрос. Дотошный ты паренек, Карманов. Как наш отдел называется? Вечный отдел. Это раз. А в Петряковке ты когда-нибудь бывал? Видел там картину в белом зале? Аккурат на нашу тему. Называется она «Над вечным покоем», куда мы все стремимся с признательной надеждой, что попадем туда позже других.

Вот поднялся ты по витой лесенке, открыл дверь ключом и тут же узнал ее. Узнал ведь, да?

Ах, Карманов, какой ты все-таки неблагодарный. И там висит, и в Петряковке висит. И обе они как две капли. Как же это так, друг Карманов? Две капли, да не родные. В Петряковке-то фальшак висит, а в светелке той — подлинник. И я вручаю тебе подлинный ключ от подлинника. Мои сведения точные, можешь не сомневаться. Важно нам с тобой успеть, пока церемония совершается.

Не веришь? Смотри, что я делаю. Подхожу к стене. Стена раскрывается. Видишь трубочка свернутая. Разверни ее, разверни. Что ты видишь, Карманов? Это и есть «Над вечным покоем». Утес над рекой, белая церковь на том утесе. Полное умиротворение. Крест и безбрежность.

Узнал теперь?

Это тоже фальшак, Карманов. Вроде то же самое, но за сто рублей. А то, что в светелке висит, на полмиллиона тянет. И тридцать процентов твои.

Трудно было создать это величие, а повторить его ничего не стоит. Гений прокладывает путь толпе. Первый в мире бифштекс родился в муках творчества, а теперь его всяк дурак изжарит, было бы мясо. А первый в мире покойник! Что с ним делать? Бросить собакам? Так ведь они привыкнут к человечине и живых начнут хватать. Утопить в реке. Так он всплывет и начнет давать

запах. Сжечь на огне, принести в жертву? Так ведь огонь еще дорог. Долго мучились люди, вижу сквозь толщу времен их тоску и муку. Что с ним делать? И камнями их обкладывали, и в материю завертывали — все не то!

И нашелся великий гений:

— Закопать его!

Полагаю, что данное открытие было для нашей истории важнее, чем открытие колеса. Закопали его, чтобы он глаза не мозолил, и перешли к очередным делам.

Теперь мы с тобой, Карманов, работаем на потоке. Сделали новый шаг в будущее. Боремся за полное сгорание клиента, достигли многого.

Создадим нетленку, Карманов. За окончательное сгорание. Мы с тобой эксперименты вели, командировки заморские брали для изучения вопроса. Какую дать температуру, чтоб было и экономично и чтоб от клиента ничегошеньки не осталось.

Мы с тобой, Карманов, внесли достойный вклад: жирные горят лучше.

Я тебе так скажу, Карманов. Пепел есть единственная реальность. А все остальное фальшаки, как эта трубочка.

Береги ее. Если с умом, то и фальшак пригодится. Аккуратненько вырезаешь холст из рамы, которая висит в светелке, а свой так же аккуратно прибиваешь гвоздиками — и подлинник в твоих руках. Реализацию я беру на себя. Есть у меня один меценат, любитель по нашей части. Собирает все, что касается нашего вечного отдела. Он заплатит хорошо. И хорошей монетой. Ты меня понял? Пусть для этого мне придется пересечь некоторые воображаемые линии в пространстве — мы с тобой не постоим. И приземляемся прямо в Лас-Вегасе.

Правильно говоришь, Карманов, устали мы от этой суеты вокруг гроба. Не умеют у нас ценить творческих работников. У нас как? Все, что для народа, есть фальшак. Наш народ велик и доверчив. Он будет фальшаком больше доволен, чем подлинником. Что у нас не фальшивое? Лозунги — фальшаки, газеты — фальшаки, планы — фальшаки, отчеты, рапорты, сводки — все фальшаки. Колбаса — и та фальшак, 60 процентов крахмала, тридцать процентов туалетной бумаги.

Заговорил ты меня, Карманов. Бери машину и действуй. Возьми мою — малиновую. Полчаса — и ты на месте.

Держи меня в курсе. Связь по воздуху. Пусть не будет сомнения в твоей руке. Ни пуха, ни пера.

А я пошел к черту.

Нет, он меня не обманет. Восемь лет в одной упряжке — и все около успокоенных. Сколько душ переправили на вечное поселение. Сколько камней могильных поставили. Ни один камень не заговорил. Восемь лет с ним душа в душу — у бездны на краю. Такую работу нужно считать как на фронте — год за три.

Алло, Тихомиров? Ты готов? Начинаем операцию «Зайчик». Едешь в Загорки. Впереди тебя идет малиновая «Волга». Ведешь

наблюдение и сообщаем тебе. Если что, действуй по нашему церемониалу, ты меня понял? У меня все.

Но зачем им свинец понадобился, ума не приложу?

Эй, кто там в зале? Слепцов? Где пропадаешь? Усилить звук. Пусть мелодия плывет и обволакивает.

Крючкин, доложи, немедленно относительно поминок. Все napravил? Скатерти свежие? О даче разговора не было? Хорошо, Крючкин, ты свою икру заработал честно. Помни, Крючкин, свою сверхзадачу: у родственников должно остаться самое приятное впечатление от нынешнего дня. Ублажи этих кретинов, Крючкин, за это тебе сверхурочные идут.

Сейчас мы его погрузим на транспорт. Дорога на Ребьячье поле свободна. До вечного поселения осталось час десять. До холста, свернутого трубочкой, сорок минут.

Все идет по графику.

За что они меня так невзлюбили? Я ли для них не старался. Потел, надрывался, совесть перезакладывал, не имея никакой надежды на проценты, здоровье потерял.

Четверть века на бессменном посту. Принял хозяйство в разрухе. В какой-нибудь Эфиопии и то больше порядка было. Теперь у меня электроника, автоматика, импортное оборудование. Тогда на одном керосине сидели. А сейчас готовимся на ядерную энергию переходить, ведем эксперименты. Как ты на керосине полное сгорание обеспечишь? А ядерное — тут уж без остатка. Тут вечная гарантия.

Не сразу дошли до такой жизни. У нас ведь кругом крохоборы. Три года пробивал валюту для закупок, наконец поехал, гуляю по Пикадилли. А что, думаю, если насовсем тут остаться? Воздух незагрязненный, зланные места содержатся в чистоте, казино открыто круглые сутки. Последняя новинка сезона — секс-сауна! Фирма, с которой я дело имел, полный обзор достопримечательностей устроила — снова приглашают в гости.

Но, думаю, всему свое время. Надо прежде жирком обрасти. Там же волчий мир голого чистогана. Даже на вечный покой — за валюту. Выкладывай денежки. Тут без миллиона вообще делать нечего.

Все туда рвутся, там всего завались, все дешево. А я так отвечаю: у нас смерть обходится дешевле. Наше государство гуманное — у нас умереть ничего не стоит, да еще двадцать рублей приплатят за успокоенного. А почему? Любят у нас покойников. И есть за что. Отошедший уже никому зла не сделает, в чужое кресло не полезет.

Вот за это они меня и невзлюбили. Потому что я живой. Глаза им мозолю. Теперь-то я не высываюсь. Как-то вышел встречать лимузину, меня начальник охраны за руку хватил.

— Сюда нельзя.

— Коля, это же я, Гера, мы с тобой на той неделе в сауне, разве не помнишь? И вообще, мы же с тобой с театрального факультета.

— Прошу покинуть площадку.

— Я же свой, Коля. Гера я. Мы же с тобой из одной клоаки. Я тоже списки утверждаю.

— Ты утверждаешь на том свете, я на этом. Чуешь разницу? А то придется объяснить.

— Эх, Коля, — и отошел за оцепление.

Больше к ним ни ногой. Нажимаю кнопки за сценой. Карманов, мой первый заместитель по вечности, объяснил по-научному:

— А в том дело, Герман Васильевич, что мы для них вечное напоминание. Как увидит нас, тут же о вечном призадумается. Да еще боится вас: как вы его потрошить будете, прежде чем в гроб положить. Поэтому нас допускают туда исключительно для замера.

Голова! Кстати, где он? Верно, уже в Загорках. Спешит, скачет — и не ведает, что его ждет.

— Алло, Карманов? Как там у тебя? Я тебя слышу. Идешь в графике, Карманов, не отставай.

Автоматика у нас в полном порядке. Обеспечивает связь со всеми мирами.

Ах, Карманов, царство ему небесное. Примем за него по маленькой. Жил-был Сеня Карманов, любил закусить и подкузьмить, где он будет через два часа? Чует мое сердце — погорит Сеня. А как, спрашивается? Я еще не решил.

— Алло, Тихомиров, ты малиновую пташку не теряй из вида. Ага, он уже против дачи остановился. Веди наблюдение по форме два.

Жадность человека губит, вот что. Я ему двадцать процентов давал, а он торговаться начал, просил сорок, на тридцати согласился.

А ведь головастый был. Я его на одной вечеринке заметил, уж больно он смешно мертвяков изображал. И я в нем не ошибся. Это он придумал систематизацию.

Коль мы в плановом государстве живем, то обязаны все предвидеть. С кем будем иметь дело завтра?

Карманов разработал систему. Для начала завели картотеку на подданных: кто достоин к нам попасть. Значит, должны мы всех просветить, от артиста до министра.

Достоин ты быть нашим клиентом или не достоин?

Коль скоро попал в нашу систему, на тебя заводится сопроводительный лист. Год рождающий и год завершающий, между ними черточка. Пришлось разрабатывать систему научного прогноза завершающей даты. Заключение договор на разработку темы с закрытым институтом. Заложили все параметры. Ждем ответа.

Должны же мы быть в курсе, когда его с пайка снимать.

Или кресло. Когда нового сажать? И как его готовить? Начальники на улице не валяются, их растить надо. Словом, у нас уже работает собственный вычислительный центр, штаты растут. И Сеня Карманов наш главный вычислитель.

На сопроводительный лист все нанесено. Раз-два, нажимаю

кнопку — и завершающая дата у меня в сейфе. Такая дата есть великий державный секрет. Раз в полгода утверждаем на Высшем совете все предсказанные по-научному прогнозы и принимаем их к исполнению. Точность потрясающая. Уже в Пентагоне заинтересовались нашим методом научного прогнозирования.

Клиент живет себе и ни о чем не догадывается. Увы, есть еще в наших отважных рядах некоторая утечка информации. Ну если он хороший человек, если он уж очень честно просит, как ему откажешь? Ведь он все равно не уgomонится. Он дальше будет липнуть:

— А по какой категории я прохожу? Оркестр мне предназначен или нет?

Ишь ты, в шкалу вечности залезть хочет. У нас ведь все продумано: пять категорий, от первой до высшей. Каждому определена та вечность, которую он заработал. Вот он и норовит перескочить.

Но у нас четко!

Железные списки!

— Алло, Живчиков на проводе. Какая заминка? Опять не ту музыку запузарили. Вдова недовольна. Сколько раз я этого Слепцова учил. Я ему выдам мелодию, пусть немедленно меняет звук. Пока вдова у гроба, ее надо уважить.

— Слепцов, ты у меня больше за звук не отвечаешь. Я тебя в мусоропровод переброшу. Ты зачем Гайдна запустил? Она же у нас русопятка. Думать надо.

— Алло, Телегин. Не задерживай погрузку. Отстаешь от графика на полторы минуты. Давай-мотай веселее.

Нынче еще спокойно. А то как начнут царей хоронить, только держись: живых передавят без счета.

Потому как системы не было.

Вот еще одна проблема не решена. Покойнички у нас неустойчивые. Мы его под камень прячем, а он все норовит выглянуть: нельзя ли повыше перебраться? А то как пойдут из мавзолея выбрасывать. Их ведь тогда не остановишь.

В стабильном государстве должны быть стабильные покойники.

Что с нынешними будет? Как я им устойчивость обеспечу, если мяса в магазинах нет? Пантеон что ли им поставить? Сто семь колонн из белого мрамора, чтобы на всех хватило.

Тут другая заковыка — где бальзам для успокоенных доставать? Нужны валютные ассигнования.

Словом, Вечный отдел развивается и растет согласно научно-техническому прогрессу. Открыли у себя реанимацию: а вдруг он еще не до конца успокоенный? Проверить его на это дело.

Занялись пересадкой органов. Успех небывалый. Сам-то, который всех самых, просит:

— Мозги мне пересади.

— Извольте прилечь. Будет сделано.

Разве он признается, что новые мозги хуже?

Завели барокамеру. Полежит он сутки в чистом кислороде — чудеса да и только. Выползает оттуда этаким бодрячком.

А мне квартиру дали на Сладкой улице.

Берем за уши следующую проблему — как увеличить пропускную способность Поклонного зала?..

— Алло, Живчиков у аппарата. Слушаю вас, товарищ маршал. Всегда готов к исполнению. Понял вас, товарищ маршал. Будет в срок и даже раньше. Реклама и материальное обеспечение — вас понял! Спасибо за валюту, Живчиков все исполнит в лучшем виде. Рекламу дадим к утру. Материальную часть к вечеру. А в каком количестве? Что, что? Понял, товарищ маршал. Рад стараться, товарищ маршал.

Ого! Так вот зачем им свинец потребовался. Вот о чем они в почетном карауле ноздрями переглядывались. Мимо меня ничего не пройдет, ни одна акция.

Я им беломраморный пантеон проектирую, а они мне в ответ заказывают свинцовые гробы для рядовых срочной службы.

Сколько им мертвяков понадобится?

Великие мастера. Что-что, а я у них без работы не останусь. С успокоенными у нас теперь полный порядок. Все материки пулеметами завалили. Черные, желтые — кто следующий? Брюнеты, блондины — а земля на всех одна, полтора аршина.

И я при этом должен делать за них всю грязную работу. Подавай им двадцать тысяч свинцовых гробов — ишь как точно вычислили предстоящую кампанию. На каждом валютном гробе я могу заработать сто знаков, это же на два миллиона тянет. Такой куш грех выпускать.

Устрою им за такой гонорар рекламу. Раньше что писали в похоронке?

— Погиб за Родину!

И вдовы-матери рыдали в утешении, все-таки за Родину погиб. Что теперь им сотворить?

— Солдат, помни, что твое тело принадлежит Родине!

Увы, не проходит. Разве что для киностудии — на актрисулек вешать вместо знака качества.

На них, говорят, знака качества негде ставить, охо-хо, что бы такое придумать? Этакое возвышенное, героическое.

А если так?

— Погиб, защищая дело мира во всем мире.

Это может пройти. Составлено с глобальным размахом. И стиль есть.

Сам-то я кто теперь? Генеральный гробовщик.

— Алло, Сергея Сергеевича. Переименовали меня, Серж. Как я теперь называюсь, не слышал? Теперь я есть Союзгробимпорт. С тебя двадцать тысяч, мистер Серж, ты меня понял, адью.

— Карманов, как меня слышишь? Где ты? Находишься на втором этаже. Молодец, Карманов, представляю тебя на медаль. У нас все спокойно. Самолет заправляется на взлетной полосе.

Еще немного — и я взлетаю. Тогда плевал я на вас с высоты птичьего полета. Живите как хотите, но без меня. Моя валюта в чеках, холстина на животе намотана.

Подавай им двадцать тысяч свинцовых — а дальше что?

Вот пойдет потеха. Враз нажмут на кнопки и сами нырк в атомный подвал, который я же для них и выкопал. Но мое условие четкое: при ядерной войне переходим на самообслуживание. Сами кнопки нажимали — и сами себя в землю закапывайте.

Двадцать тысяч свинцовых — ого! Начинается — Пятилетка Пышных Похорон. А мы выполним нашу пятилетку досрочно — в четыре гроба.

Вера, ты ко мне? Слушаю тебя. Что ты там шепчешь? Я тебя понимаю смутно. А-а, переходим на знаки. Это уже интересно.

Куда мне следовать, Вера? В этот угол? Вот он! Сейчас мы его за ус дернем. И сюда тоже?

Теперь все? Ты в этом уверена, Вера? Значит, можно снова перейти на голос.

Это номер, доложу тебе. Сколько лет сижу в этом кабинете. Два ремонта провел, три реконструкции пережил. И вот те на! Сидел все время на двух барабанах. Сколько пленки на одного меня израсходовали.

Второй-то барабан зачем? Ага, понимаю, система дубль в действии. Если ты не умрешь сам, мы тебе поможем.

В чем же я теперь виноват, Вера, как ты думаешь? Анекдоты рассказывал? Так ведь за анекдоты сейчас не берут. А кому я их рассказывал? Исключительно своим людям. Проверенным и провеченным.

О чем еще говорилось в этих стенах? Много державных тайн произнесено. Точно, Вера, теперь они хотят мысли записывать на барабан, а в мыслях мы себе ой как много позволяем. Если мысли начнут записывать, всем хана.

Делаю официальное заявление — я за собственные мысли не отвечаю.

А про «Вечный покой» они слышали? Ай-ай, поехали Карманова брать. А потом за мной. Оперативная группа уже выехала.

Значит, ты все эти годы знала про барабаны — и помалкивала. На них работала. Что же такое они тебе обещали — просто ради интереса, доверься мне.

И это все? Место для папы и мамы на Ребячьем поле. Да я бы тебе пять мест устроил, разлюбезная моя, что ж ко мне не обратилась? Это правильно, пять мест тебе ни к чему.

Отчего же теперь решила расколоться перед финалом? Хочешь меня спасти, потому что они тебя обманули. Ах, Вера, я так и знал. Что ты говоришь, твой папа-генерал пустил себе пулю в лоб? Какой кошмар, приношу тебе свое искреннее... И ты осталась теперь без места на Ребячьем поле, потому что он самоубийца. Его теперь сожгут, это уж точно. И оркестра не будет.

Постой-постой. Когда же это случилось? Четверть часа тому назад. Все сходится, Вера. И мне пятнадцать минут назад был

один звоночек. Начинается большая заваруха, Вера. И папа твой погиб, защищая дело мира во всем мире.

Спасибо, Вера, за своевременный сигнал. Мне пора. А это тебе за верную службу. Держи. Для себя берег. В единственном экземпляре.

Вход в зону вечности по пропускам. Так надежнее, Вера. Ничего не напишешь, пока мы всех пропустить туда не в состоянии. Этот пропуск действителен до окончания двадцатого века и дальше продлевается автоматически еще на 50 лет.

Бери, Вера, бери, для тебя не жалко, это же твоя голубая мечта, я знаю. А то летим со мной, откроем там новую фирму. Если ты на барабанах сидела, то мою голубую мечту знаешь.

Не можешь оставить тело отца. Понимаю тебя. Тогда скажи Крючкину — машину к черному ходу. Я тем временем чемоданчик соберу.

Ах вы, гады ползучие, динозавры и троглодиты. Думаете, у меня против вас своих барабанов нет? Вы у меня тоже на барабанах. Так мы еще посмотрим, чей барабан дороже. У меня тут все про вас записано. Ух ты, тяжеленько. На пуды наговорили.

Сколько весит ложь? И сколько она стоит?

Баста! Ухожу из вашей банды. Найду себе честную банду, дружную, тихую, скромную. Где мои джентльмены с большой дороги?

У меня все продумано, я иду в графике, опережая оперативную ровно на четверть часа. И это несмотря на то, что они все время пытались сбить меня с истинного пути.

— Крючкин, как ты? На месте? Спускаюсь к тебе.

Кажется, ничего не забыл: кассеты, чеки, наличность. Вход пока не перекрыт. Но кто-то там есть, чует моя селезенка. Ну-ка, шмыгнем на всякий пожарный в эту дверь, где водичка булькает.

Так и есть, серый макинтош. Я еще утром на него плохо подумал. Теперь он за мной стремится. Ну топай, мотай, шарь в моем столе, я уже в машине.

Все, Крючкин, пора в путь-дорогу, нас ждут на взлетной полосе. Что, какая полоса? Разве я сказал полоса? Ничего подобного. Куда же мы следуем, Крючкин? Как куда? Разумеется, на поминки. Ты нынче восемьдесят порций черной икры заработал, неужто своего начальника не угостишь?

То-то, разлюбезный шеф.

Серый макинтош дошагал до кабинета. Глядь, а хозяина-то нет, растворился в ближайших каменных джунглях. Срочная команда — оцепить джунгли! Перекрыть все подходы, перекрестки, подземные переходы и черные ходы.

Значит так, Крючкин, по проспекту направо. Вот — хвост нашей процессии показался. Моего Топтыгина везут. Аккуратно догони их и сбавь ход. Так, отлично, теперь давай вотремся в процессию, пристроимся между двумя машинами.

Куда спешить, Крючкин? В сущности, жизнь смешная штука.

А потому смешная, что неуправляемая. До самого конца не узнаешь, правильно ли ты жил.

Главное, не высовываться, Крючкин. Если ты несешься как угорелый, вмиг становишься подозрительным. Такого так и хочется схватить за хвост.

На вечный покой спешить не принято. Скорость 18 километров в час — утверждена на Высшем совете. Теперь мы с тобой в процессии, Крючкин, тут нас никто не найдет. Мы не бежим, мы следуем. Самое безопасное место как для успокоенных, так и для страждущих.

Красиво идут. Недаром я им ход отработывал, ночами по городу гонял.

Уф, устал. Перенервничал. Заездили, замучили. Но теперь с этим покончено. Видишь, что у меня в руке, Крючкин? Правильно — кассета. Но если ты думаешь, что здесь Абба-Абба, то ты глубоко ошибаешься. Как бы не так. Здесь Абевегеде — но какие!! Каждый звук — на вес золота. Пока включать не будем, побережем. Ибо молчание тоже золото.

Устал я. Надо расслабиться. Дышите глубже и реже.

— Стой, Крючкин, стой! Шабаш! Хана! Не могу больше с вами. Прижмись к бровке, высади меня срочно. Так и передай им всем: ухожу из вашей банды. Пойду в честную банду.

Видишь, изо всех сил хлопнул дверцей. Значит, не понарошке ушел. Иду по улице, рядовой прохожий. Из тех, что ездят в троллейбусе по бумажному билету. Повернул в переулок. Прохладно что-то. Дождик моросит. Руки зябнут. Что же я перчаток не взял?

А где я ее найду, эту честную банду, о которой я еще со школьной скамьи мечтаю? Ведь у них на лбу не написано — честные они или нет? Где они тут, за каким углом, в какой подворотне?

Город большой, всюду закоулки, тупики. Дождик льет. А у меня даже зонтика нет. Как теперь найти честную банду, еще промокнешь от таких поисков. А найду — примут ли? Начнут проверять на честность: облай кого-нибудь из чужой банды. Только начнешь привыкать к ним, а тут окажется, что они как раз не из честной банды, такие же, как все. А у меня получится перерыв в стаже.

Где я честных найду? Бр-р, руки замерзают, мороз-то какой, снег повалил. Не к добру это.

Крючкин, где ты? Подавай колеса. Пустите меня обратно в кабину, я же ничего не сказал, ничего не сделал, а мысли не считаются. Да у меня в мыслях ничего и не было. Почему дверца закрыта? Это же я, Гера Живчиков, по прозвищу Шкодливый, потому что я с войны приехал на «шкоде», я же отсюда, из вашей банды. Да, да, совершенно справедливо поправляете, оговорился я. Машинально, клянусь. Это у них банда, самая настоящая банда четырех. А у нас и не банда вовсе, я всегда утверждал, это крепкий здоровый коллектив, мы ведь так дружно жили, душа в душу, никогда никаких упреков, все доходы поровну. Сами брали и другим не мешали. Бери, бери, мы тебя не тронем. Отчего же вы дверцу

не открываете? Я хороший. Никуда от вас не уйду и членские взносы буду платить исправно со всех поступлений.

Армянское радио спрашивают:

— Должен ли коммунист платить членские взносы со взятки?

Армянское радио отвечает:

— Если это честный коммунист, то должен.

Грешен, батюшка секретарь: то десятку утаю, то четвертную, честно признаю.

Ай-ай, пустите. Зуб на зуб не попадает. Руки побелели. Уши отваливаются. Не хочу терять свои уши.

Крючкин, почему дверцу не открываешь? Оглох что ли? А то могу прочистить не только уши, но и мозги. Чтоб в последний раз, смотри у меня.

Ничего я не промок. И про снег не говорил, чего придумываешь. Это тебе приснилось — а не мне. Следуй по маршруту и помалкивай.

Держи руль крепче, Крючкин. Едем в Большой дом, разве не видишь. Перед тобой сплошь зеленые огни — дорогу Живчикову.

Попал я в родной коллектив, маленький и сплоченный. Отсюда только ногами вперед, исключительно под музыку, разряд «высший-супер-ноль-один».

Собираемся за длинным столом, обсуждаем проблемы. На столе минеральная вода, кому «славянская», кому «джермук». И каждому свой стакан, с которым ты приходишь на заседание. Из дома только стакан и зубная паста, все остальное исключительно народное.

Проблемы, конечно, сложные, но обсуждать их в таком дружном коллективе одно удовольствие. А главное — через день. Один день позаседаем, на другой день дома сидим. Или на дачу в Загорки. Отвезут на длинной машине.

Послезавтра опять заседать собрались. Дружно решаем. У нас еще ни разу не было, чтобы хоть один голос против. Все абсолютно «за», независимо от сложности проблемы. Не хотим портить настроение друг другу. К тому же сработались, с полслова понимаем.

— А что если Джимми олимпиаду нам сорвет?

— Насрать, — отвечает Леня, и вопрос решен.

— А вдруг они этим мусульманам еще миллиард подкинут?

— Насрать! — Это Леня на всех положил с прибором. — Под мудрым руководством нашего гендира всех гендиров насрем на этого Джимми!

Если наш Леня решил насрать, будьте уверены, он так и сделает. Мы дружные ребята, голосуем «за». Так вот и кладем одну резолюцию за другой, смотришь, на столе выросла куча.

Пора закусить, чтобы новых сил поднабраться.

Достаю стаканчик. Я лично «славянскую» предпочитаю, сто пятьдесят, больше ни-ни. Аж душиста! Аж крепка! Закуски в рабочее время у нас скромные: огурчики да икорка.

И снова кладем. У нас ведь резолюции не простые. Как минута

прошла, миллиона нет. А Леня знай себе: насрать! насрать! Вот это парень, откуда у него берется. Мудрец! Сдал, правда, за последние месяцы, двух слов связать не может. А зачем ему два слова?

— Насрать! — одно слово, но какое. Все проблемы враз решает.

— Что с Европой делать будем?

— Насрать! — так Леня молвил.

Веселые ребята. В таком коллективе не соскучишься. Со стороны поглядеть, все сидят мрачные, друг на дружку не глядят — насупились. Тужатся.

Это Леня придумал провести очередное заседание не за столом, а у гроба. Чтоб не совершилось никакой утечки информации. Вроде бы стоим в почетном карауле. Собрались у гроба товарища. Весь мир наблюдает по телевизору — только никому невдомек, что тут заседание идет.

А вопрос-то какой — третья степень сложности.

— Ну как? Вводить или не вводить? Штыки ржавеют.

Придумались. На покойника косятся. Кто первый заветное слово молвит? Я две недели пропускал — сейчас моя очередь. Я должен первый сказать насчет этого, как его? ах, как же его? совсем из головы выскочило. Как же эта страна называется? Когда к гробу ехал, прекрасно помнил, а тут забыл. У меня как на грех всю неделю запор был — слово заветное из головы выскочило.

Стою я, значит, и страдаю от несварения. И язык мой ну никак не поворачивается да еще в присутствии покойника, который, можно сказать, меня в люди вывел.

А главное — какая же это страна? Забыл, вот те крест.

Гриша меня в бок толкает, ноздрей говорит:

— Что молчишь? У тебя запор что ли? Справку представь.

Я молчу, язык буквально присох. Понимаю, что гибну, если слово святое сейчас не молвлю, а в животе такое шекотание, будто там все засохло и на сердце давит.

Леня на меня бровью кивает:

— В таком случае ставится следующий вопрос: что с этим чудаком будем делать?

Я за живот схватился:

— У меня справка о несварении.

Тут Леня шаг к гробу делает и рот от великой скорби разевает.

— Насрать, без него обойдемся.

Костя ухом шевельнул:

— Отвезите его домой для облегчения.

Я дальше не разобрал, меня под руки подхватили и понесли ногами вперед, сразу на третьей скорости мимо всех светофоров. Меня и пронесло прямо в кабине, все мое терпение наружу вывалилось. Ладно, думаю, до дома доеду, ванну приму, хорошо что не в почетном карауле конфуз случился — к чему бы это, а?

Подъезжаем к забору, а калитки нет. И забор какой-то другой,

не отеческий. Выпустили меня на воздух и говорят, да кто говорит — Крючкин мой.

— Вот и гуляй отныне вокруг забора. А машину в мойку.

Пошел я вдоль забора. Ни щелки не видать. Присесть негде. А главное, не знаю, где нахожусь: снаружи или внутри? Ладно. И то хорошо, что жив остался.

Смотрю на небо. Самолеты летят. Солдаты с парашютами как горох посыпались. Засевают новое поле. Уж не меня ли освободить хотят. А я им в ответ двадцать тысяч свинцовых и на каждом свинцовом сотнягу заработал.

Вышел на большую дорогу, уже темно. Фонари не горят. Вдруг двое в масках выступают из-за дерева.

— Руки вверх! Ни с места! Кошелек или жизнь!

Ну, думаю, теперь я на верном пути. Берите все, ребята, что у меня есть. Вот очки, вот зонтик, вот пайковая книжка, берите. Тут пропуск на Ребьячье поле, могу и вам по блату устроить. А в бумажнике пять тридцать нашими и сто тысяч зелеными, но только в виде чека, получены в счет аванса от фирмы за устройство заказа на свинцовые гробы. Все вам отдам, только возьмите меня к себе. Сколько лет я вас искал, можно сказать, всю жизнь, я же вижу, вы честные ребята — и дело ваше честное: что думаете, то и говорите. А в ихней банде я больше не могу. Говорят одно, а сами что творят. Всю жизнь я мечтал о вашем правдивом честном коллективе.

Хорошо, хорошо, я же иду, зачем ты меня в спину толкаешь? Ты веди, а не толкай.

В лесу уже темно, но под ногами угадывается большая дорога. Асфальт чавкает. За деревьями темнеет беседка. Свеча горит. Сидят кружком.

— В девять вечера по большой дороге поедет машина, два миллиона наличными. Но там охрана. Какие будут предложения? Чей черед говорить? Гришка — ты?

И вдруг слышу:

— Насрать!

Ба! Я же в родной коллектив попал, небольшой, но дружный.

— Возьмите меня, — вышел из-за пенька. — Уж больно вы хорошие ребята с Большой дороги.

— Что ты умеешь?

— Все мы смертны. Ходим-ходим на Большую дорогу, а в один прекрасный день успокоимся. А я уже тут. Я же из ваших, неужто не признаете?

— Смотрите, ребята, это же Сенька, я его по шапке узнал. Только там его Герой звали. Он в том коллективе хорошо работал, честно, мы навели справки, да вот сорвался, словцо одно подзабыл малость, мы ему сейчас напомним дружно.

И как запузывает сапогом под зад. Мигом вспомнил слово заветное.

— Нас рать.

И взяли меня с испытательным сроком, потом и в штат с пол-

ным пансионом и продовольственными талонами. А главное, нет перерыва в стаже. Чуть что, топаем на Большую дорогу — трудимся честно, с полной отдачей. Утром подают черную длинную машину, еду на работу, то бишь на Большую дорогу. Сделал дело, глядишь, перерыв на обед, едем перекусить, потом к окошечку кассы. В конце квартала премиальные — это закон. А главное, все честно, без дураков. Если я говорю: «Руки вверх» — то это только это и означает. Мы же джентельмены.

Зато какой воздух, какие просторы. Обильна наша Россия. Больших дорог не счесть. Стоишь, вдыхаешь в себя родимый кислород по десять тридцать за литр — и уходить с Большой дороги не хочется.

А главное, на работу не каждый день. День ходишь в Большой дом на Большой дороге, а после отгул. Сижу в качалке у телевизора, доктор приезжает давление мерить. Следит, чтоб я не перетрутился. Укольчик валютный пропишет. Реаниматор от меня ни на шаг, на этот счет особое постановление.

Завтра с новыми силами и со своим стаканом опять на работу. Нас ждет Большая дорога и на ней большие дела. Делим все поровну. Вечером сидим у телевизора, глядим, что на Большой дороге произошло. Не нужны ли коррективы?

Хороший у меня коллектив, честный. Так бы и трудился здесь до самой пенсии.

О том и толкую. Все было хорошо до прихода Эдика. Сам-то он из «Последних новостей», все про нас знал.

Значит, Эдик пришел и говорит:

— Теперь не все будут ходить на Большую дорогу. Чего, например, я там не видел? И не хочу видеть. Мы должны осваивать современные методы. Я буду информатором. У меня большие связи в верхах, и я всегда буду знать, кто, когда и с чем поедет по Большой дороге. Это ценная информация. Поэтому рядовым членам нашего дружного коллектива не будет никакого смысла торчать по 16 часов в сутки в засаде и ждать неизвестно что. Теперь мы будем выходить на Большую дорогу в точно назначенный день и час по особому утвержденному мною графику. Это называется специализация и прогнозирование. Производительность нашего труда резко повысится. Следовательно, возрастут общественные фонды. Вот графики движения по Большой дороге и графики нашего выхода, когда и кто. Лично я беру на себя самое трудное — отдел сбыта. Закажем на валюту компьютеры, разработаем автоматизированную систему: АСУ Большая дорога, все по-современному. Пришел на Большую дорогу, дело сделал, идешь отдыхать, а компьютер на завтра график рассчитывает. Купим самолет ЯК-40, чтобы ездить на уик-энд в Париж и Лас-Вегас. Все по-современному.

Так говорил Эдик из «Последних новостей», и нам, конечно, все это безумно нравилось. Уши развесили. С того и началось. Одни ходили на Большую дорогу, а другие сидели за телефонами или нажимали кнопки компьютерные, а зарплата им шла такая же.

Потом Эдик говорит:

— Кто будет защищать наши интересы перед внешним миром? Я, например, согласен стать министром торговых дел, хотя это чертовски трудное дело. Но сбывать добро надо.

А меня к Эдику в замы. Работа непыльная, паек начал получать. Выписывают на день ящик «славянской», но стакан свой, это у нас железное правило.

А Эдик дальше идею двигает:

— Зачем, говорит, кричать: «Руки вверх!» Это старомодно, грубо. Мы же боремся за справедливость. За свободу! И делаем это ради блага клиента. Надо говорить ему: «Подойди ко мне, мой миленький, я хочу тебе помочь». И он уже наш.

Хорошо живем за Эдиком, не хуже, чем раньше жили. Не сердись на меня, Эдик, но я внутренне начинаю сомневаться: правильно ли мы живем? Кто заветное слово молвит?

А он мне над ухом:

— Нас рать!

Крючкин, разве это ты? Где мы с тобой находимся? Следуем в процессии. А куда? Так, так, понял тебя — на Ребячье поле.

Я думал, что с Эдиком разговариваю. Получается, что я из машины никуда не выходил. Следую по маршруту и жду верного соратника Карманова. А они за мной гонятся — так? У меня система дубль разработана. А у них?

Где же я ее возьму, честную банду? Держи интервал, Крючкин. Лично я больше не играю. Все, Крючкин, выхожу на заслуженный. Документы оформлю и тут же махну куда-нибудь на юг, в Рио-де-Жанейро. Устал я, перенервничал. Всю жизнь с перегрузками.

Икорки бы сейчас. И сто пятьдесят «славянской». Мы бы с тобой славно...

Ты куда, поворачиваешь, Крючкин? Зачем из процессии вылез? Не жмись к тротуару, говорят тебе, не жмись.

Вот оно что. Там малиновая «Волга» стоит. Карманов меня дожидается. А под мышкой у него холст в трубочку свернутый. «Над вечным покоем» — подлинник. Какая удаля, какой размах — чисто русский мотив. Все в природе вроде бы застыло, а в душе твоей истинное содрогание, обращенное к высшему существу. Хочется очиститься, оглянуться на пройденное и посмотреть вперед: сколько за него дадут?

Вот и сбылась голубая мечта. Операция «Лев» завершена. Теперь мы с Левитанушкой в обнимку...

Карманов, ты зачем меня хватаешь? Не бери меня под мышки, мне щекотно, я же сейчас хихикать начну. Мы же договорились, все по графику, все поровну, но не щекочи, умоляю, такого уговора не было.

Куда ты меня, Карманов? Зачем? И меня туда же, в катафалк. Где же народ? Почему очереди ко мне нет? Где караул почетный? Значит, это не по правде. Хи-хи-хи, помягче, Карманов, умоляю.

Ты на кого работаешь, Карманов? Из какой банды? Вот я тебя сейчас приструню. Хи-хи!

Все, Карманов, баста! Я все понял, Карманов. Так приказал Серж, мы все на него работаем. Отныне лежу смирно и не рыпаюсь.

Идем в графике. Хорошо, Карманов, ноги протянул, готов разместиться. Все продолжаю понимать четко: надо значит надо, я солдат партии, этим все сказано. Крючкин, чего смотришь, помоги ему. Поднимайте меня.

Сколько я душ туда переправил. Теперь собственной переправой команду.

Тапочки-то зачем? Зачем ты меня в тапочках в свинцовый гроб кладешь? Тапочки не по графику. Как я в тапочках на люди выходить стану? А вдруг меня у трапа почетный караул встречает. Ах, выдают ботинки при встрече? Так они же моего размера не знают.

И стакан дай в руку. Это железное правило. Стакан свой.

Разве все это не понарошке?

Ага, понимаю! Лежу! Ноги протянул! Согласен на тапочки, на все согласен, только не щекоти меня под мышками, не ши-хи-хи-чи.

Сказал: лежу. Полон оптимизма. Готов к отбытию на вечный покой по ту сторону пространства. В свинцовом-то, правда, не мягко, зато прохладно. И тапочки для мягкости, ты прав, Карманов, ты у меня голова.

Стой, Карманов, крышку не закрывай. А холст? Где холст, спрашиваю? Тут он? Дай пощупать. Точно тут. Чувствую, что он. Мысленно вижу: престор и стихия. Тихо, Карманов, не волнуйся, больше не буду шмыгать. Руки крестом сложил. Лежу в графике.

Это ты ловко сообразил, Карманов: гробы путешествуют без виз. Теперь я не волнуюсь. Самолет наготове, стоит на полосе. Закрывай меня, Карманов, закрывай. Видишь, я уже совсем спокойный, лишь бы меня не щекотали. Хорошо тут, прохладно. Устал я, перенервничал, отдохну тут, глаза прикрою, я спокойный, я спокойный.

Я теперь безвременный пассажир.

1981

Татьяна БЕК

* * *

Р. Сабитову

В спецодежде и в кепочке он, не вдаваясь в оттенки,
Принесет вам багульник в начале холодного марта, —
Татарчонок московский, рожденный в бутырском застенке,
И возвращенный детдомом, и выросший выше стандарта.

Обращаюсь к тирану, который кровав и коварен:
На имперском олимпе уместны любые уловки.
Только что тебе сделал неграмотный дворник-татарин
И подруга его, убиравшая снег на Петровке?

...Он — тюремная карточка в ворохе сталинских метрик,
Он — сиротской обители неунывающий житель,
Он — рабочая косточка,
— если хотите: электрик, —
Он — детей ненаглядных родитель и усыновитель.

Волевая надежда моя никогда не потухнет.
Я историю вижу как битву тирана с мальчишкой.
Победил человек. Вот он чаю напьется на кухне
И уйдет от меня — обязательно с книгой под мышкой.

Я еще не сказала, что он — исключительный книжник!
...Он — улыбчивый, тихий и, точно багульник, упорный,
Он — по виду чудак, а когда приглядишься — подвижник
Этой жизни безжалостной,
этой распутицы черной...

* * *

Похоронив родителей,
Которых не жалели, —
Мы вздрогнем: все разительней
И горше запах ели.

Очнешься от безволия,
Чей вкус щемяще солон, —
Над кубом крематория
Слышнее птичий гомон.

Утрата непомерная
Под крик веселой птицы...
О жизнь моя, о смерть моя, —
Меж нами нет границы!

* * *

Не видать из-за горечи, —
Что там... Содом? Перегибы ли?
— Где вы, давние родичи?
— Целым коленом повыбили.

...Вы — работники, ратники,
Вы — просветители с Азбукой,
Вы — в мундире и в ватнике,
Только без камня за пазухой!

Ты,
закончив Реальное
(Господи Боже!) училище, —
Угодил в ирреальное,
Черного года, судилище.

Ты,
ходившая к раненым
В госпиталь, что под Саратовом, —
Прямо в капоре мамином
Сгнула в гноище адовом.

* * *

Розгами, лозунгом и топором —
Прочь недобитых!.. Ату!..

Рослая женщина в шляпе с пером
Твердо
взошла
на паром.

Ничего не оставил ты
(Если оставил, то вызнаю!) —
Только лекцию с кафедры,
Ясную и бескорыстную...

Ничего ты не прятала,
Ибо была простодушною, —
Лишь портрет авиатора
Или письмо под подушкой...

Вы и были как не были —
Рослые, русые, милые.
Только щепки от мебели.
Только туман от фамилии.

О наследство щемящее —
Все из догадок и вымысла!..
Я свое настоящее
Вашиими силами вынесла.

(В 29-м и в 42-м
Сны ее скомкает гром.)

...Даже в парижском гуляя саду,
Страшную кровную слушать беду,
Не помышляя о том,
Что

в несказанно далеком году
Т а м обессмертят ее маяту.

...Мы, у кого помраченье в роду,
Даже — архив — соберем.

Елена АКСЕЛЬРОД

Сонет о географии

От Черной речки в двух шагах Машук.
Елабуга видна с его высот.
Размашистую сеть свою плетет
Российской географии паук.

Повсюду щупальца царевых слуг —
От хищной Персии до Камских вод.
Арбе, что Грибоедова везет,
Сопутствует теплушек скрытый стук.

Палач закатывает рукава.
Ты дома — это значит, ты в петле.
Впадает в Каму вольная Нева.

Каким же чудом в непроглядной мгле,
Захлебываясь в пыточной смоле,
Все новые всплывают острова?!

1985

* * *

Тридцать лет говорила,
а нынче ни слова, ни вздоха,
Никого не корила —
во всем виновата эпоха.
Во всем виноваты
эпоха, судьба, человеки,
Земля так поката
в двадцатом затравленном веке —
Нельзя не скатиться куда-то,
где больше нет жизни,
И ежели сам ты не сгинул,
так плачешь на тризне.

Глаза не подынешь,
от жалости изнемогая.
Ни слова, ни вздоха...
Но все же эпоха другая.
Другая ли? Ветры другие,
но те же вулканы,
Сдернули кожу,
солью присыпали раны —
Старые, новые...
Прежние, вечные счеты —
Кто на охоту,
кто возвратился с охоты.
Зверь или егерь
мой ближний, мой брат окаянный?..

1988

* * *

Я никогда не поверю, что Авраам
Может по знамению свыше отдать Исаака.
Пусть богохульствую, пусть не войду я во Храм —
Сыном богата — и что мне объятия мрака!

Сколько живу, вдоль пустыни изгнанья бреду.
Манны небесной отведать едва ли сумею.
Но если от сына кару небес отведу —
Значит, придет он, значит, придет в Галилею.

Пусть от меня отвернется он в долгом пути,
В жертвенник брошусь, чтоб озарилась дорога.
Испепелюсь... Только пусть он успеет дойти.
Праха частица, тогда лишь восславлю я Бога.

Клумба цветов

Рассказы

1. Эсхатологические настроения определенной части бывшей молодежи

По ночам творится что-то страшное. Проснувшись якобы от грохота (звука) самолета, пересекающего невидимый барьер, можно обнаружить следующее: ветер свирепо разрывает кусты, деревья, комнату озарило фиолетовым, на столе — недоеденный лещ копчено-печеный ТУ—15—07—62—31 от 26.VI.84 СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 72 ЧАСА МРХ СССР МОСРЫБА МОСРЫБОКОМБИНАТ, пустая бутылка из-под пива «Ячменный колос» (на глиняных ногах) вместимость 0,5 литра ТУ—18—6—15—79 МИНПИЩЕПРОМ РСФСР РОСПИВОПРОМ МОСКОВСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ ПОСУДЫ 29 коп., недопитый «Тоник горький», вместимость 0,33 л Т2—13 РСФСР 819—80 МИНПИЩЕПРОМ РСФСР РОСПИВОПРОМ МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ (напиток применяется для разбавления алкогольных напитков); жена спит — недочитана подшивка журнала «Новый мир» за 1926 год с произведениями В. Лидина, Н. Никитина, В. Маяковского, М. И. Калинина, М. Пришвина, Мих. Голодного...

Трах-тах-тах — снова полыхнула июльская гроза. «Дальняя молния в злобе разделила весь мир пополам... Опять начался дождь, и после каждого раздраженного света молнии, после каждого удара грома дождь шел все более густо и скоро. Из тьмы неба теперь проливался сплошной поток воды, который бил в землю с такой силой...» (А. Платонов). А я не верю, что после каждого, и сплошной, и такой... Не хочу, и не верю, хоть и славно написано. Или вот еще — А. П. Чехов, помнится, неплохо писал, что гром начинает грохотать, будто кто ходит босой по железной крыше... Это — правильно, и это я одобряю, я и сам босой как-то ходил в детстве по железной крыше в родном городе К., что стоит на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан... Подойди к окну, не бойся — у черных стекол девятиэтажных многоэтажек Теплого Стана застыли, жадно вглядываясь в пространство и время, русские писатели, как передовые, так и реакционные, не только, но и... (синтаксис). Пойми: писатели — нервные, убогие, пьяные тоже болеют за матушку-Россию. Не бойся: они хорошо писали. Они все писали хорошо, отчего и остались навечно торчать у окон кооперативных

многоэтажек во время июльской грозы, смерчей, ураганов и близящегося конца света.

А все потому, что болгарская предсказательница, гражданка Народной Республики Болгарии, сочла, что 5 августа 1984 года будет окончательный конец света. Что это значит — не объяснили, но утверждали аргументированность сказанного тем, что еще в 1982 году она же предсказала смерть Вождя, которая и наступила в том же году. «Джуна-экстрасенс?» — робко вспомнил я. Небрежно отмахнувшись и посмеявшись над моей неосведомленностью, дополнительно сообщили: это та гражданка обещала писателю Л., что у него сгорит библиотека. Писатель Л. пошел домой и перевез библиотеку на дачу, где она сгорела вместе с дачей. «А разве он еще жив, писатель Л.? Ведь сейчас уже 1984 год?» — «Не бойся, не только жив, но и получил днями орден Трудового Красного Знамени или Знак Почета, мы точно не помним, не помним...» — «А почему же не Героя Социалистического Труда и соответствующий орден Ленина получил этот классик, произведения которого мы изучали в школе?» — «А мы с одной стороны не знаем, а с другой — у него, наверное, уже есть все имеющиеся в нашей стране ордена, за исключением того, последнего, который у него теперь тоже есть...»

...Выморочность повествования, времени, пространства. **«ВЫМОРОЧНЫЙ, вымерший. Выморочный род. Выморочное имение, осталось после вымершего рода, после владельца, умершего без наследников»** (В. И. Даль). Но с другой стороны — ведь не я же виноват в эсхатологических настояниях определенной части бывшей молодежи и в том, что 5 августа 1984 года будет конец света, я даже пытался с этим бороться, хотел реалистически описать июльскую грозу, как А. П. Платонов и А. П. Чехов, но к превеликой своей злобе я (а вернее — наш герой) не обнаружил в своем жилище интеллигентного человека какой-либо пишущей ручки или какого другого пишущего предмета, за исключением ссохшегося белого фломастера, негодного даже на то, чтобы поставить крест на дверях в какую-нибудь Варфоломеевскую ночь. Естественно было бы искать теперь черную бумагу, чтоб написать белым по черному, но от сознания такой глупости можно удавиться на той самой непрерывно озаряемой молнией березушке, которую сечет за окном русский ветер, мстя ей за то, что она в течение столетий секла русские задницы... Произошел описанный в газете «Правда» самум в Зарайске и Ивановской области. Незоснательная природа восстала против порядка, ее нужно высечь! Или это президент Р. дует из-за океана, подобно Гулливеру, которого недавно показывали в купленном идиотском английском фильме? Или еще что, но смерч начался, как утверждают официальные источники, в Горьковской области, под городом Горьким, где «ясные зорьки», и это особенно подозрительно, и все вы знаете, почему... Поневоле сделаешь вывод, что передовой форпост науки гораздо ближе к территории чародейства и волшебства, порчи и дурного глаза, чем все мы думали. «Рассердилась великая наука! Напустила смерчу да суховею!» — мог бы сказать тот, кто бы это мог сказать. Но отнюдь не я. Я теперь всего боюсь. Гроза за окном, молнии

блещут, дом того гляди повалится, как в Японии, хотя чего уж теперь, спрашивается, бояться, когда 5 августа на носу, а вместе с ним и конец света.

Ну вот... Опять я слышу недоброжелательные голоса... Я кошунствую? Ну не словоч ли тот, кому может прийти в голову эта паскудная мысль?.. Да разве ж я не гражданин своей страны? Разве ж я не знаю, что:

ЖАЛОСТИ НЕ ЗНАЮТ

О чем пишут из США

Радиостанции США на все лады расхваливают американский образ жизни. А вот письма, с которыми меня ознакомили в одной семье, говорят совсем о другом. ...Во время фашистской оккупации украинская девушка по имени Людмила была увезена в Германию, а после войны очутилась в США, где и проживает в городе Сан-Диего (штат Калифорния).

Муж ее — безработный, уже дважды отсидел в американской тюрьме за «свободные» высказывания. Имея двух детей, Людмила не смогла в свое время возвратиться на Родину. Она нетрудоспособна, была контужена во время войны.

Вот выдержки из ее последнего письма к родным. «Этот жестокий мир наживы жалости не знает, слезам не верит. Жизнь в США становится все опасней. Идешь днем по улице и боишься собственной тени, все думаешь, как бы тебя не ограбили, не застрелили. Мы стараемся не выходить на улицу после захода солнца — опасно. Волна преступности буквально захлестывает Америку. Уменьшаются правительствен...

ЩЕДРЫЙ САД ЗАКИРА

По-нашему, по-советски

Он хорош в любое время года, этот сад. Прекрасен весной — в буйном цветении укрыт бело-розовой пеной; знойным летом всегда прохладно под густой, словно шатер, тенью листвы; осенью гнутся ветки от зрелых плодов. Сад стал любимым местом жителей поселка. Кто бы ни приехал в Нефтебад, гостя обязательно приведут в этот сад, угостят фруктами, расскажут о нем много интересного.

Необычна история нашего сада. Лет шесть назад здесь был пустырь — весь в гранитных валунах. Гоняли по нему ветры круглые шапки верблюжьей колючки. И в мыслях никто представить не мог эту предгорную террасу цветущим садом. С кетменем в руках пришел сюда Закир Масалиев и сыновей своих привел. Долго не могли поверить земляки в затею Закира. Одни не прочь были над ним посмеяться, другие жалели напрасно затраченные силы.

— Брось, сынок, пустое дело затеял, — качали головами аксакалы, наблюдая, как выворачивает он замшелые валуны.

— Земля камен...

«Правда», 2 июля 1984 г.

А что касается урагана в Зарайске и Ивановской области, то вот мне рассказывала родственница Лена. Знакомый фотограф снял, и она видела эти ужасные снимки, разрушенный дочиста дом, кровать двуспальная, ночной горшок взлетел и криво повис, кошка мяучит на пустом пороге... Страшно, хотя вся страна тут же пришла на помощь. Жертвовали деньги, посылали бригады, одеяла, платки, палатки, сгущенку. Все равно страшно. И невозможно представить, невозможно описать. Невозможно по совокупности причин, из ко-

торых главными являются скорый конец света, ручки нет, а также отвратительно болят ухо и челюсть, не давая забыться сном среди отчаянно бунтующей городской природы, озаряемой светом молний.

А началось все это еще 29-го апреля, когда наш герой почувствовал стреляние в ухе, которое к Дню международной солидарности трудящихся превратилось в невыносимую боль, отчего он был вынужден среди праздника опадающих воздушных шаров и цветения ехать в Сто первую градскую больницу, что расположена на Ленинском проспекте напротив магазина «Байкал», торгующего «Тоником» ТУ—13 РСФСР 819—80, где его начисто успокоили, сказавши, что ухо у него «чистое» и только, значит, «зубик болит», и ему нужно к стоматологу. Он и пошел. А стоматолог, сволочь такая по фамилии Годунова (все фамилии подлинные), тоже говорит: это у вас зубик мудрости режется в ваши 38 лет, хи-хи-хи, как поздно...

Обласканный, веселый направился он домой, но боли усиливались до предела, наступившего 15 мая 1984 года, когда из уха потек зеленой гной, а перед этим пять ночей завывал, хватаясь за голову, щеку, — больно, не спал. А сосед по многоэтажке напился пьяный на собственное сорокалетие и врезался в принадлежащий мне на основе права личной собственности автомобиль «Запорожец» (ЗАЗ 968 м), смяв вмятку правое переднее крыло, переднюю панель и т. д. Отчего далее параллельно разворачиваются два сюжета: лечение уха (левого) и крыла (правого), в обоих сюжетах терпим поражение. Ухо не лечат, крыло не ремонтируют. То есть делают и то, и другое, но из рук вон плохо, как врачи-преступники в больницах или вредители на заводах и шахтах.

В разбитом автомобиле, рыдая от боли, с ухом, сочащимся зеленой гнилью, наш герой вновь является 16-го числа в Сто первую градскую, где ему снова говорят врачи ЛОР (ухо, горло, нос), что у него с ухом в полном порядке, страдает он по линии зубов, что у него, вероятно, остеомиелит нижней челюсти со свищем в ушную полость, отчего ему нужно немедленно госпитализироваться в больницу № X, которая находится на тихой измайловской улице.

На битом сорокалетним идиотом «Запорожец», с сочащимся ухом, явился в эту больницу, где пьяные с битыми харями сидели в коридоре, окруженные милиционерами, ибо больница была «специализированная» по челюстям и зубам. Некоторые находились в бессознательном состоянии, их катали на каталках. Миловидная девушка, врач в белом халате, велела мне идти на рентген. Рентгеновский стол был занят каким-то бессознательным человеком, и я даже подумал, что это — труп, но вскоре его перегрузили на каталку, и место освободилось. Я лег на стол в своих светлых джинсах «АВИС» (40 руб.) и понял, что неправильно понятый мною труп обмочился. Но я ничего не сказал, ведь мочи было совсем немного, к тому же у меня все так болело, что мне было не до этих смехотворных претензий.

Посмотрев мокрый рентгеновский снимок, миловидная девушка сказала, что по зубной линии у меня все в порядке, остеомиелита нет и быть не может, что это ЛОР-врачи «туфтят». Я спросил, как

мне жить. Ехать к ЛОР, последовал ответ. Но я уже был там... Найдите хорошего платного врача ЛОР, я вам советую. И еще — не вздумайте лечиться к нам, вы же видите, что у нас творится... Девушка придвинулась, явственно пахнуло портвейном, и я, забрав на память указанный снимок, отбыл обратно на Ленинский проспект, где врачи ЛОР, тоже довольно молодые люди, уперлись — ни в какую, что дескать это — остеомиелит, и все тут, а больница № X «свистит» и просто «не хотят класть», посоветовали найти платного зубного врача, «хорошего». Вот же черти! Я отправился домой полоскать зубы горячей водой с солью.

И это была такая ночь, после которой меня совершенно не страшит никакое 5 августа 1984 года. От боли я терся головой об обои и все пытался занять в пространстве и времени такую геометрическую позицию — на плаву ли, на весу — чтоб боль не била, чтоб хоть на минуточку, на секундочку, на миг забыться, чтоб боль ушла хоть на крохотный МИЖОЧЕК. Ох же ты
. (крайне грязные нецензурные выражения, практически все, что я знаю из этой части русского языкового спектра).

Дальнейшее изложение последовательности и последствий болезни не доставляет мне никакого удовольствия, к тому же боюсь, что описания положений, лиц, ситуаций начнут повторяться, и это может быть истолковано как очернительство, нарочитое сгущение красок, типизация нетипичного, что мне совершенно ни к чему, у меня и других забот хватает. Поэтому перехожу, как Хемингуэй, на телеграфный стиль и обещаю, что вскоре совсем закончу этот рассказ, слабый, как я в моем теперешнем положении. (Такой же «рассказ», как я — «герой».) В общем, слушайте, если хотите:

Утро после апофеоза боли к врачу Годуновой обратно,
Которая, больше меня напугавшись,
Мне направление в ведущий головной имени Семашко
Институт дает и сама при этом песню Иосифа Кобзона
Поет. День же — суббота,
И мне нужно забирать машину, которую чинят за 350 рублей
В подмосковном городе Истре мастеровитые рвачи:
С одной стороны — рвачи, с другой — врачи...
С гроем в ухе я машину в Истру отгонял,
А по дороге выл и молча рыдал, а также песню Владимира
Высоцкого исполнял. Не из тех, что Роберт Рождественский
На пластинку и книжку «Нерв» пускал, а из тех, которые
Народ и без него знал, любил, беспредельно уважал...
ЗАТОПИ ТЫ МНЕ БАНЬКУ ПО-ЧЕРНОМУ, что ли?
Возвратившись кое-как на электричке в Москву, я к
Семашке держу направление.

И там, наконец, получаю честное и правильное лечение.
Что доказывает, что вовсе не очернитель я,
А просто диалектически сложна судьба моя.
Все волшеббно меняется. Прекрасное обращение. Очереди нет.
Что за напасть?

(Потом друг, врач и поэт Александр Лещев мне сказал, что
туда очень трудно попасть,

Что туда лишь блатные идут

И коньяк за 13 руб. 80 копеек с собой несут.)

А я-то и не знал, а то бы еще сильнее радовался, что

К Семашке попал, хоть и жизнью своей рисковал,

Но не знал, а лишь по-прежнему тихо-тихо стонал.

Новокайновая блокада. КАИН и АВЕЛЬ. Толстой иглой

колют под ухо меня.

Завязывают, как зайца. В Истру еду в полубессознательном

Состоянии. Я ХОЧУ ВИДЕТЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!! На электричке.

Как — не помню. Спасибо жене, кабы не она,

Скончался бы я и скорчился от горя, как свинья.

В Истре рвачи уже пьяные, но вроде бы все сделали, а

Красть им нечего, красить нечем, краски у них нету.

Мы, говорят, простые люди, все с высшим образованием.

Ладно... Пошли вы... Нет сил... Жена садится за руль.

Я — дремать и покачиваться рядом...

И на этом мои страдания, дорогие друзья, практически заканчиваются, что еще раз доказывает — жизнь прекрасна, и никакие временные трудности не способны порушить это мое патриотическое мнение о ней. Мне три раза меняли диагноз, каждый день кололи толстой иглой, рвали зуб мудрости № 8, заодно сломали зуб № 7. На меня упала врачебная лампа, плохо прикрепленная винтом. Я закрутил винт, мне сказали спасибо. Хороший платный врач лечил мне зуб № 7, сломанный во время бесплатного выдиранья зуба № 8, была адская боль в разверзтой полости, но я крепился, как партизан. Из уха снова тек гной, но потом все прекратилось, я полностью вылечился, практически здоров, у меня теперь хронический артроз, мне нельзя с хрустом есть яблоко, широко зевать и много разговаривать. Зато писать можно, что я и делаю, ставя точку.

Точка. Не хочу больше писать. Что-то не так. Нужно что-то другое, более светлое, как светлы, например, мои джинсы «АВИС» или светел светлый путь лунной дорожки, уходящей в сентябрьское море близ селения А. Симферопольского района Крымской области. Что-то не так, что-то другое... Билет, но куда?

А между тем июльская гроза вскоре незаметно кончится. Незаметно наступит утро. Призрачный молочный свет наполнит комнату. Природа будет дивно как хороша, и мы еще поборемся с ней. Рыбак замрет на озере, подманивая леща, ожидая щуку. Яблоки с глухим стуком упадут на крышу той бани, где жил Пришвин. Железнодорожный рабочий с молотком пройдет вдоль полотна строящейся магистрали века. Пилотируемый корабль войдет в плотные слои атмосферы. Чайка Джонатан с клетком пролетит «над седой равниной моря». И вдруг заалет восток, вызолотится полнеба — вот и прошла ночь, вот и спасибо, ну и спасибо...

2. Героический поступок, связанный с убийством лебедя Борьки

Плацкартный вагон № 15 дополнительного поезда № 606, мерно подрагивая, ехал в 1984 году из Симферополя в столицу нашей Родины — Москву. За железнодорожными окошками мелькали всем с детства знакомые пейзажи: гнилой Сиваш, Джанкойские степи, Мелитополь с его знаменитыми дыньками «колхозница», продаваемыми прямо на перроне по весьма умеренной цене на рубль четыре штуки... Запорожье — колыбель милого автомобиля ЗАЗ, индустриальный Харьков, холмистый Белгород, тучные нивы Курщины, Орловщины, Тульщины, Мценск, стоящий на реке Зуша, византийские маковки Серпухова, Ясная Поляна, Бутово, Щербинка, Чертаново, Серп и Молот, Курский вокзал... Пассажиры притомились, устав разглядывать ежесекундно меняющиеся, но от этого еще более потрясающие виды родной земли и поедать крутые вареные яйца, помидоры, огурцы, дыни, арбузы, плавленые сырки, слушая по местному радиовещанию песню «И снится мне не рокот космодрома», исполняемую знаменитым рок-ансамблем «Земляне», что был справедливо раскритикован в газете «Правда», ибо его участники как-то раз дошли до оголтелого бесстыдства, публично выступив на сцене и используя в качестве реквизитной атрибутики элементы флага США, звезды и полосы. И пассажиры устали.

Они устали и совершенно естественно, что заговорили о том, что вдруг сильно их взволновало на сей вялотекущий момент пространства и времени. А именно: есть ли в нашей жизни, жизни без войн и глобальных катастроф, место подвигу.

То есть не стоит считать их наивными людьми либо простачками: они, конечно же, хорошо знали об усилившейся по вине империализма международной напряженности, о зловных душманах, карабкающихся по глухим тропинкам, проложенным в отвесных скалах, о неблагоприятных делах тайландских властей, совершающих опасные вооруженные провокации на границе с Народной Республикой Кампучией, о военных операциях в республике Чад, о крайних «играх» Вашингтона в Центральной Америке, росте «коричневой чумы» во Франции, о массовых беспорядках на окраине Индии, связях западноевропейской «десятки» и асеановской «шестерки», и, наконец, о том, что все народы не могут не выразить своего глубокого негодования по поводу политики и действий правительств, которые нашли общие интересы с режимом Претории и создают благоприятные условия, содействуя ему в совершаемых им преступлениях против Африки и человечества.

Они хорошо знали все это, но говорили совершенно о другом, и описывать их, говоривших, нет ни смысла, ни нужды. Этот простой рассказ адресован довольно широкому кругу соотечественников моего возраста, которые неоднократно ездили в Москву из Крыма и других живописных уголков нашей родины, кушая упомянутые

фрукты, овощи, видя упомянутые пространства и пейзажи, так что ничего нового я никому сообщить не могу за исключением одной конкретности — внесения в эту жизнь духа героичности, прекрасности, оптимизма, которые подобно ранее редким, а иные весьма распространенным приправам: аджике, ткемали, русской и французской горчицам, хрену тертому, кетчупу, кэрри освежают и облагораживают дежурные блюда скромного обеда нашей трудовой семьи; превращают эту трапезу в пиршество, вызывают бодрость, уверенность, мягкую улыбку, а не злобу по поводу все еще имеющихся, к сожалению, всегда жизненных и моральных неустройств; и, самое главное, резко, прямо, открыто обнажают свою мировоззренческую позицию, выступая против уныния, которое не только мешает всем нам правильно ориентироваться в пространстве и времени, не только сушит личность на корню, лишая совокупность личностей, называемую обществом, моральной уверенности, способности повышать производительность труда, весело, играючи, глядеть в будущее, одерживая одна за другой маленькие незаметные победы, способствующие пусть и не райскому хотя бы процветанию, но выживанию в сложных условиях, поначалу, может, и вовсе не заметному, а потом все более и более крепящему тело, дух, но и является УНЫНИЕ седьмым смертным грехом, страшным для православных. Ах, развеселитесь же вы в конце-то концов те, кому хоть что-то дорого! кончайте строить скорбные хари. Жизнь идет, растут дети, всем нужно и хочется жить, да здравствует мир, дружба, долой раздоры и улыбнитесь наконец-то друг другу, братья, умоляю вас! Что совершенно не значит, будто никто не имеет права вздохнуть, зарыдать, напиться, порвать на себе рубаху. Но горе РЕАЛЬНОЕ — это нечто иное, чем вечно возведенные к небесам унылые очи, наполненные видимыми миру истерическими слезами. Не надо! Не нужно! Такие шутки больше не пройдут! Хватит!..

Герой с удивлением обнаружил себя в тесном тамбуре близ сортирной двери курящим папиросу «Казбек» и произносящим этот невнятный внутренний монолог в окружении других вагонных мужчин, которые, страшно дымя, заполнили узкое пространство таким количеством никотина, какового хватило бы на то, чтобы убить целый лошадиный эскадрон, с боем рвущийся куда-либо, размазывая шашками, саблями, кинжалами, ятаганами, финками, и внезапно рухнувший в чистой ковыльной степи по причине неведомого этим людям и коням яда. Фу, зарпортовался я окончательно...

— Что, старая, доллар потеряла? — участливо обратился к старухе, шарящей под недосыгаемой ребристой поверхностью пола молодой человек лет тридцати восьми с желтоватым лицом, в синеватом тренировочном костюме и туфлях «Адидас» производства грузинских умельцев. Проводник вагона, лицо женского пола, названное старухой, разогнув поясницу, коротко послала его матом и ушла в свое служебное помещение, чтобы кипятить чай для пассажиров, заботиться о них, сделать их путешествие еще более приятным, запоминающимся.

— Неудачная шутка, — заметил желтолицый, продолжая сосать

мундштук угасшей папиросы и лукаво поглядывая на героя. — Не все шутки удачны, но они и не должны быть такими; ведь нельзя же сплошь пришивать вместо пуговиц бриллианты или все время кушать вместо хлеба пиццу и рыбный пирог. Не знаю, кстати, как вы, а я недавно был в городе Калининграде, бывшем Кенигсберге, и остался немало поражен видом этого старинного, но преображенного центра бывшей Восточной Пруссии, откуда черные стрелы войн и пожаров шли на различные славянские племена, откуда возмущенная общечеловечность мира не положила этому конец в результате победы советского народа во Второй мировой войне и международных соглашений, ликвидировавших безобразия, о чем до сих пор свидетельствует надпись на группе бетонных стел с элементами чеканки по тонированому алюминию, расположенных близ разрушенного неправославного собора и нового местопребывания могилы профессора Иммануила Канта, которую перенесли из развалин бывшего баронского замка, угрюмо возвышавшегося над городом ровно до того времени, пока битые камни и кирпичи не разобрали с целью постройки современного бетонного многоэтажного Дворца, сияющего светом и стеклами, чтоб он тоже возвышался над городом, но уже с правильных позиций, неся радость, добро, уверенность всем тем, кто смотрит, задрав голову, на эту стройку, которую строители никак не могут закончить, ибо баронский фундамент, потревоженный современными механизмами, все время чего-то сюрпризы некоторые дает: то кривится, то проседает — так утверждают местные жители, которым всем, как мне, ясно, что замечательный Дворец рано или поздно будет сдан в срок и принят комиссией с оценкой «отлично» или, на худой конец, «хорошо».

А надпись эта, свидетельствующая со стен о переменах, глясит следующее:

В славном сорок пятом
Ты пришел солдатом
К берегам Прибалтики
Русский человек.

И сказал: «Довольно»,
Чтобы не быть войнам,
Пусть земля советская
Будет здесь навек.

Москвичи, куряне
Псковичи, смоляне
Мы в трудах не ведали
Никаких преград.

Отдыха не знали
Из руин подняли
Новый русский город
Наш Калининград.

Таким образом, бывший Кенигсберг, а ныне Калининград, окруженный бывшим Тильзитом, Тапиау, Раушеном, Кранцем, Койвисто, Нойхаузенем, Лабиау, Фридландом, Инстенбургом, ныне соответственно Советск, Гвардейск, Светлогорск, Зеленоградск, Приморск, Гурьевск, Полесск, Правдинск, Черняховск, стал теперь центром самой нашей западной области, имеющим 366 тысяч жителей, крупным портом на Балтийском море, с железнодорожным узлом, базой рыболовного и китобойного флота, городом, имеющим развитое судостроение, вагоностроение, деревообрабатывающую, целлюлозно-бумажную, рыбоконсервную промышленности, 3 вуза, в том числе университет, 2 театра и множество исторических памятников, могил, улиц, домов, деревьев. Зоопарк там еще имеется, раскинувший свою обширную территорию напротив гостиницы «Москва», где раньше гитлеровцы танцевали свои паскудные танцы, справляя фашистский шабаш, а ныне живут туристы, командированные, отдыхающие, простые советские люди со всех концов нашей необъятной родины — СССР, крупнейшего по территории государства на земном шаре, занимающего 22,4 миллиона квадратных километра, то есть, практически, одну шестую часть обитаемой суши и простирающегося с востока на запад почти на 10 тысяч километров, а с севера на юг на 5 тысяч километров.

Жил там и я. Будучи в командировке, я по службе встречался с многочисленными представителями трудящихся Калининграда и постепенно полюбил этот славный город, окутанный дымкой современных сказаний и легенд, многие из которых сводились к тому, что он является как бы двуслойным, если не многослойным, ибо история с проваливающейся баронским фундаментом оказалась, по словам горожан, отнюдь не единственной, а стоящей в ряду других аналогичных, хотя все это, на мой компетентный взгляд, выдумки и вранье, которое я привожу здесь исключительно для того, чтобы развлечь вас и отстранить от дорожной тоски и скуки.

В частности: после прокладки озеленительного газона в самой сердцевине города, после того, как европеизированный этот газон своим ровно-зеленым травянистым цветом вызывал удовлетворенные толчки сердец глядящих на него горожан и других граждан, временами на этом газоне неизвестно откуда стали появляться серые упитанные крысы. Уныло свесив длинные хвосты, они сидели, внимательно глядя на зевак красноватыми бусинками отвратительных глаз. И так же лениво куда-то исчезали, и это КУДА-ТО было, по слухам, обширными неизвестными подвалами, где, по слухам, хранилось взопревшее фашистское зерно, мясные туши, окорока, колбасы, но при раскопках ничего из указанного найдено не было. Еще: строили дом на бывшем разбомбленном фундаменте, общежитие для ребят. Подводя водопровод, откопали неизвестную чугунную трубу с литыми готическими буквами, долго стояли, не зная, как с ней поступить, но потом все же решились и, разрезав металл автогенном, обнаружили потекшую очень чистую, вкусную, проточную воду. Обошли соседние дома, пылливо расспрашивая — не нарушилось ли в чьих квартирах водоснабжение, но у всех все было в порядке,

и неизвестную трубу постепенно предали забвению, поставив толстые заглушки и проведя рядом свой водопровод, имеющий четкие, конкретные ориентиры на картах и планах, новосозданных нашими людьми взамен уничтоженных гитлеровцами при их поспешном отступлении, бегстве через Пиллау (Балтийск) и потоплении фашистских паникующих судов героической подводной лодкой отважного капитана Маринеску, о трудной судьбе которого с таким блеском рассказал на страницах журнала «Новый мир» писатель-маринист Александр Крон, ныне уже тоже покойный.

А также профтехучилище, организованное в бывшем католическом монастыре сразу же после начала в старинном городе новой жизни, имело пять подвальных этажей в землю, наполненных саксонским и мейсенским фарфором, гобеленами и хрусталем. Все это снесли туда, опасаясь бомбежек, глупые обыватели. Вскоре после обнаружения ценных находок эти этажи навечно замуровали, чтобы курсанты не баловались там в темноте. Замуровали и залили бетоном, потому что профтехучилищу совершенно не нужны пять подвальных этажей в землю, делать там совершенно никому нечего, вот их и закрыли, чтоб они никому не мешали и никому не отвлекали, чтобы, повторяю, курсанты не баловались там в темноте...

Да...Конечно же... Все правильно... Зайди в мемориальный фашистский бункер близ Университета, где прятались ошалевшие гитлеровцы, трусливо слушавшие, как на город падают большие наступательные бомбы, и советские части храбро штурмуют небывалые в мировой истории концентрические укрепления, разномерными кольцами охватившие осажденный город и прорываемые нашими одно за другим до полной и окончательной победы... Зайди, и ты увидишь различные изображения свастики и орла на фотографиях, относящихся к самому мрачному периоду жизни старинного города, зловещую свастику и мерзейшего фашистского орла, распростершего свои когти и крылья над военным парадом нацистов, марширующих по той самой площади, где и доселе стоит кроткий, хоть и немецкий Фридрих Шиллер, с доброй улыбкой глядящий на расположенное визави здание Калининградского областного драматического театра. Эх, бронзовый немец! Что бы ты сказал, кабы узнал, что у твоих живых соотечественников, ошибочно выбравших капиталистический путь развития общества, якобы висит, по слухам, объявление на каком-то вокзале ФРГ: «Поезда на Кенигсберг ВРЕМЕННО отменены». — «Хрена бы вам, а не временно, майн либен камараден! — сказал бы ты, поднаторевший в жизненных реалиях за времена стояния. — Хрена вам собачьего в зубы, сукины вы, рассукины дети!..»

Отдышавшись, желтолицый рассказчик продолжил свой рассказ:

— Но я, собственно, не о том. Бог с ним, с этим Калининградом, бывшим Кенигсбергом, провалился он совсем, то есть я говорю в том смысле, что умная интересная жизнь уже осветила его старинные берега, а со временем и дальше там все будет еще лучше. А я о том самом незнакомце ярко выраженной наружности, который подошел ко мне в Зоопарке, когда я в свободное от командировочной работы время любовался различными птицами, купающимися в отверзтых

дымящихся полыньях замерзшего пруда, в Зоопарке, этом пустынно-ватом, вследствие зимы, громадном зверином оазисе, где есть верблюды, слоны, тигры, пумы, медведи, волки, бараны и другие животные, которые водятся в зоопарках. Незнакомец подошел ко мне, посмотрел, как я гляжу на птиц, грязно выругался, после чего и начал свой рассказ.

— Вы приезжий? — полутвердительно спросил он.

— Да, — ответил я. — Я — командировочный... Вернее, если четко говорить по-русски, не командировочный, а командированный. А вы?

— А я — человек меланхолический, — сообщил незнакомец. — Вы знаете Куршскую косу? Так она ведет из русского Калининграда в литовскую Клайпеду через Зеленоградск, через Нерингу и Рыбачий, где расположен рыболовецкий колхоз-миллионер, а Неринга паромом соединена с Клайпедой, и я давно мечтал побывать во всех этих населенных пунктах, потому что по всей 98-километровой длине косы можно видеть высокие, до 70 метров, дюны, поросшие сосняком и черной ольхой с примесью липы, вяза, дуба, других деревьев, хотел услышать, увидеть, как поют и выглядят птицы знаменитого Нидского заповедника, описанного Андреем Битовым, Куршским заливом хотел полюбоваться, где водятся карповые, рыбец, судак, корюшка и в который впадает река Немунас (Неман), важная водная артерия запада Державы. И конечно же Клайпеда, бывший Мемель, основанный в 1252 году и столь воспетый Карамзиным в его «Письмах русского путешественника», что мне УЖАСНО, ну просто СТРАШНО захотелось осмотреть Мемель весь, с его архитектурными памятниками XVII—XVIII веков, краеведческим и морским музеями, драматическим театром, производством художественных изделий из янтаря, барами, кафе, и я думал, что мечта моя сбудется.

Но меланхолия, характеризующаяся слабой возбудимостью, глубиной и длительностью эмоциональных переживаний, мрачная настроенность, уныние, тоска не позволили мне исполнить мою мечту, ибо по ряду обстоятельств, связанных с тем, что билетов до промежуточных пунктов Куршской косы, являющейся экологически охраняемой зоной, не продают и нужно ехать из Калининграда напрямик до Клайпеды, я тогда по совету одного постороннего человека, совершенно не имеющего отношения к моему рассказу, поехал в Зеленоградск, вы, наверное, слышали про такой город, который раньше назывался бывший курортный город не то Кранц, не то Гранц, поехал с тем, чтобы там подсесть на попутный автобус и уж тогда ехать туда, куда моей, а не их душе угодно, то есть в Ниду или Рыбачий, а отнюдь не сразу в Клайпеду, куда я непременно бы поехал, но лишь потом вдосталь надышавшись морскими ароматами и человеческим безлюдием. Но билетов не оказалось, шофер был груб, и я отказался разговаривать с ним в таком тоне, решив для частичной компенсации исполнения мечты прогуляться хотя бы по окрестностям этого самого Зеленоградска, основанного тоже в 1252 году и тоже имеющего дюны, здания готической и новой постройки, ратушу, живописные развалины.

А была такая, знаете ли, весна апреля месяца 1984 года. Море подмерзло у берегов желтоватыми комьями, орут чайки, продают жареные пирожки, отдыхающие бродят в фетровых шляпах и русских сапогах. Я углубился в дюны.

И тут выглянуло солнце, залив своим животворным светом и залив, и все вокруг. Песок быстро нагрелся, белый кварц, составляющий его, казалось, тоже стал излучать свет, тепло, добро, но вдруг пахнуло дымком, и я насторожился, выпив чуток водки из заранее припасенной бутылки.

Я немного отполз в сторону и в мягких складках дюн, готовых скрыть преступление, увидел среди безлюдного пространства и времени страшную картину, услышал жуткий разговор.

У пылающего костра сидели двое подонков, наверняка из тех, что, как написано в газете «Советская культура», нигде, наверное, не работают, а живут припеваючи, носят хорошую одежду, джинсы, имеют дома западную стереотехнику, «видео» и совершают морские круизы от Сочи до Ялты в каюте «Люкс». Один из них был тощий, рыжеватый, с измученным лицом и выпавшими, полусгнившими зубами. Другой — плотный, коренастый, с лысым черепом, громадной черной бородой, глубоким шрамом под глазом, напоминающим синяк, был еще страшнее, чем первый. Привязанная за лапку, трепыхалась поодаль от них прекрасная птица, в которой я сразу же узнал русского лебедя семейства утиных. Или «шипуну», или «крикуна», или «малого», не знаю, я не силен в орнитологии. Лебедь лежал смирно, но я понял, что перед этим он бился и вырывался, пытаясь дорого продать свою жизнь. А разбойникам было все равно. Они точили ножи и хрипло переговаривались:

— А здорово мы поймали лебедя Борьку, любимца местной детворы...

— Сейчас мы его убьем, ощипем, зажарим и съедим, позвав перед этим девок, купив вина и танцуя на берегу рок-н-ролл в трусах и лифчиках, потому что солнце пригрело и здесь, в уютиности дюн, можно даже загорать без ущерба для здоровья.

— Да, давно мечтал покушать такую царскую птицу, не все же мне хватать куру потрошеную, замороженную сразу же после убийства ее электрическим током на мясокомбинате города Алексин Тульской области.

— И я рад, что мы убьем лебедя Борьку. Тем самым мы бросим вызов обществу, его морали, предрассудкам и заодно покушаем... Долой старую мораль! Обнажимся! — как говорил Достоевский, и я смело произношу это слово, потому что такое противоречие не антагонистическое, а выражает лишь то, что жизнь идет, не топчась на месте и скромные наши берега будут вскоре озарены присутствием нового человека...

Негодяи хохотали. «Подлецы! — хотел мысленно воскликнуть я. — Как вы смеее употреблять в подобном контексте такие высокие слова, которым вы научились в институтах и университетах за счет того общества, над моралью которого вы собрались тайно глумиться?! Да видели бы таких сволочей, как вы, ваши отцы, которые, возможно,

положили жизнь на то, чтоб все, в том числе и вы, благоденствовали в нашем краю, и мораль расцвела у нас пышным цветком, или, может, просто участвовали ваши отцы в освоении целинных и залежных земель, ставя первые палатки на суровой казахской земле, и в мыслях не имея, что их отпрыски дойдут когда-нибудь до такого цинизма, чтобы есть лебеда Борьку на этом чудном историческом берегу, где вся природа замерла и слилась в гармонию с человеком, который кажется ей добрым. Неужели ваша так называемая «ученость» и подверженность сомнительным теориям доведут вас в конце концов до преступления?»

Я огляделся по сторонам и понял. Пока я буду бегать за милицией, они убьют лебеда Борьку и если даже не успеют его съесть, то все равно окажутся тем самым совсем пропавшими для общества, погрузившись в огненную геенну безверия и наплевательского отношения ко всему святому. Одновременно я не бросился на них. Я никогда не занимался физкультурой, обрюзг, отяжелел к своим тридцати восьми годам, и сражение непременно было бы мной проиграно. Меня могли избить. Били бы и ногами, с таких станется — опьяненные вином, жадной лебединого мяса, они могли бы не остановиться ни перед чем, я сам неоднократно дрался ногами.

И тогда я принял единственно правильное в этих условиях решение. Чтобы не погибнуть от холода, я выпил остатки водки из бутылки, крадучись направился к морю, по горло зашел в мелководье Куршского залива и закричал, пуская пузыри:

— Тону! Тону!

Видимо, в этих парнях еще не выветрились остатки человечности. Они насторожились, мигом сбросили с себя одежду, тоже вбежали в мелководье Куршского залива и вытащили меня на берег греться у костра и кататься по песку, мокрого, дрожащего, с зубом не попадающим на зуб. Мне дали водки. Катаясь по песку, я незаметно ослабил путы лебеда Борьки, и он вдруг взлетел, с шумом захлопав крыльями, как взлетает громадный самолет на Внуковском аэродроме, низко двигаясь над блочными многоэтажками Теплового Стана и Ясенева так, что в квартирах людей иногда дрожат стекла, мешая смотреть телевизор. Лебедь летел! Он держал курс на Калининград, и в покачивании его крыл, гордой осанке слышалась неземная торжественная мелодия, музыка совести, милосердия, гармонии, братства всего земного на земле, зверей, растений, птиц, веры в счастливое будущее всех народов, мир, дружбу и разрядку с Америкой.

— Ну что, стыдно, подлецы? — тихо спросил я подонков.

— Стыдно, батя, — опустив головы, сказали они. — Уж ты не отдавай нас в милицию, договорились? Ты водки еще выпей, мы тебя еще и коньяком угостим...

— Да, я выпью вашу водку, выпью ваш коньяк, но лишь с одним условием, чтоб вы, поросята, обои немедленно рассказали, как вы дошли до жизни такой!..

— Действительно поросята, — вынуждены были согласиться они, и один из них, а именно рыжебородый, начал свой рассказ:

— Иногда, под влиянием магической травы, которую я покупаю

на Центральном телеграфе города Москвы, мне удастся совершать путешествия не только в пространстве, но и во времени. Однако путешествия эти не всегда заканчиваются благополучно. Так, например, в последний раз я оказался в имперском Петербурге 1908 года. Сви-репствовали суровые годы реакции. Братоубийственная война с японцами и последующее декабрьское восстание 1905 года изрядно пошатнули трон империи, отчего репрессии еще больше усилились. Столыпин вешал всех с помощью своих военно-полевых судов, отчего репрессии еще больше усилились, и даже появилось такое выражение «столыпинские галстуки». Росло полное обнищание и приток крестьян в город, где они спивались, работая на заводах и играя по трактирам на гармониках. А в те времена, вы знаете, наверное, махровым цветом цвело в культуре и литературе унылое упадничество, основным выражением которого являлся так называемый СПРИ, Союз Писателей Российской Империи, где было и немало честных людей, но в правлении его засели махровые декаденты и валютчики. Они совершенно не заботились о качестве и судьбе литературы, а думали лишь о том, чтоб им побольше хапнуть, понастроить дач, наполучать квартир в 120 кв. метров и, уйдя на покой, заняться винными откупам. Сам я был далек от литературы, но у меня был товарищ, молодой писатель 1880 года рождения, который никак не мог вступить в этот союз, хотя очень сего хотел, многого еще не понимая в жизни. И он уже почти было туда вступил, вернее даже и совсем вступил в 1899 году, но его оттуда тут же выгнали, придравшись к тому, что он, якобы, связан со Львом Толстым, а также передает рукописи за границу, что являлось откровенной ложью, потому что он был тихий, мирный, малосознательный человек и лишь любил, мечтательно смоля пахитоску, глядеть в окно в своем шелковом стеганом халате, а потом описывать все, что он в этом окне увидел. Именно он и рассказал мне во время моего путешествия в 1908 год ту самую кошмарную историю, которая и послужила толчком к тому, что я только недавно собирался сделать с лебедем Борькой и чего избегнул лишь благодаря вмешательству судьбы в вашем лице, товарищ! А молодой писатель 1880 года рождения говорил мне:

— Я, милостивый государь, не знаю, как вас звать и как вас по батюшке, уже совсем было снова вступил в СПРИ и был настолько в этом уверен, что побился об заклад на ящик шустовского коньяку, что меня туда примут. Однако судьба в лице моих врагов снова вмешалась в мою биографию, и мой прием снова отложили, отчего, потерпев моральный крах я получил и весьма ощутимый материальный убыток. Я вынужден был купить этот ящик, и мы, своей веселой декадентской компанией, отправились к Петропавловской крепости пить и гулять. Не стану описывать нашего скотского веселья! Мы наняли лодку, сломали весло, купались в одном исподнем, фраппируя солидную публику, а потом я заснул на берегу, удуренный коричневым коньячным змием. Очнулся я уже в участке, в обществе пьяниц и беглых сибирских бродяг. Уже от одного этого мне стало страшно, и я застучал в окованную сталью дверь. Вопреки моим ожиданиям, меня выпустили из тусклого помещения, привели в кабинет

к приставу и стали стыдить, что я, такой известный молодой писатель 1880 года рождения, так себя веду. Я терялся в догадках, не ведая причин этой полицейской любезности, и лишь потом мне стало понятно, что друзья мои уже подняли к тому времени на ноги «весь Петербург», и какое-то видное лицо уже телефонировало в участок, чтобы ко мне отнеслись помягче, учитывая мою художественную нервную натуру. Дело шло к освобождению, воздух свободы уже шумел передо мной, как ветвь, полная плодов и листьев, но мне вдруг пришло на ум порадовать собеседника безвинным и остроумным, на мой взгляд, анекдотом. Я спросил его, знает ли он, почему чины полиции не могут есть маринованных огурцов? Он сказал, что ему сие неизвестно. Потому что у них голова в банку не проходит, сказал я и тут же был водворен обратно к бродягам, откуда выбрался лишь на следующий день под давлением либеральной общественности, адвокатов, певца Федора Шаляпина и баронессы Будберг... Я вижу, вы пришли к нам из иного мира, накурившись магической травы, так пусть моя история послужит для вас хорошим жизненным уроком и помешает вам совершать в своей жизни необдуманные поступки, а я сделал для себя соответствующие выводы, и мое имя вы еще узнаете в своем будущем...

— Он был столь надменен и мудр, — продолжил рыжебородый, — что мгновенная ненависть охватила меня, и я поспешил вернуться в наш счастливый 1984 год, где услышал от известного советского поэта Евгения Р., что в Союз писателей был недавно принят один человек, которому исполнилось 102 года.

— Может, 104? — с надеждой спросил я, дрожа от непонятого возбуждения и производя в уме вычитание 1880 из 1984.

— Нет, 102, — твердо ответил поэт. — Его первые литературные шаги направлял сам Короленко, в начале 20-х он писал агитационные частушки, затем долгие годы пребывал в безвестности по независящим ни от кого обстоятельствам, а теперь его приняли в Союз писателей.

Я, зная, что поэт Евгений Р., известный на всю страну своей честностью и бескомпромиссной правдивостью, не сказал за свою жизнь ни единого лживого слова, полностью поверил его убедительному сообщению, но в моей голове все помутилось, я поехал в Калининград, где и решил окончательно убить лебедя Борьку, чтобы дать выход своей трансцендентальной агрессии.

Он, вытерев пот со лба, замолчал. Стояла мертвая тишина. Лишь чайки слабо вскрикивали, да ленивые волны перекачивали на мелководье пустую бутылку из-под пива.

— Ну а вы, — обратился я ко второму разбойнику.

— Что я... — пробурчал он, почесывая лысый череп и массируя синяк под глазом. Ему явно не хотелось говорить, но, по-видимому, совесть и воспоминания о безоблачном школьном детстве взяли свое, и он тоже заговорил.

— Я сильно смущаюсь и почти не могу. Сам я из народа. Как-то раз я стыдил одну буфетчицу, что она неправильно сдала мне сдачу со стакана портвейна, грозился вызвать ОБХСС и упечь ее куда сле-

дует, чтобы всем, кому поручен общественный портвейн, было неповадно злоупотреблять этим доверием. Однако буфетчица полностью признала свою вину и на недоданную сдачу налила мне соответствующее количество напитка, добавив еще и от себя, от своей души 150 грамм в виде штрафа за содеянное. Но я понял, что она хороший и грустный человек лишь тогда, когда услышал из ее уст один печальный эпизод ее одинокой жизни. Как человек, буфетчица была еще проще, чем я, отчего мне, тщательного избегающему в своей жизни нецензурных слов и отвратительных ситуаций, никак невозможно передать ее слова в виде прямой речи. Однако, я надеюсь, что вы поймете и не осудите ее. Женщина служила в театральном буфете одного из маленьких городков на юго-западе Сибири. Театр ее был так себе, не ахти, но в описываемый сезон поставил пьесу Фурдадыкина «Ошибка Катерины», вызвавшую громадный ажиотаж у зрителя, в основном женского пола, который всхлипывал и сморкался в носовые платки, слушая гневный монолог героини, направленный против пьянства как тяжелого социального зла, ибо ее муж совершенно спился под влиянием славы хорошего инженера, его поперли со всех работ, он жил в дворницкой, потом одумался, приполз на коленях к Катерине, пошел в коллектив, но... было поздно. Катерина не смогла простить его, потому что он ударил ее по лицу, а коллектив простил, и он снова сел за кульман в углу, трясаясь и только теперь с ужасом осознавая, как низко он чуть было не пал. Выходя из театра, зритель много спорил о том, права ли была Катерина, не пустившая мужа обратно, чтоб он не мешал ей правильно воспитывать детей, а также — как трактовать слово «ошибка»? Тогда ли она ее совершила, когда вышла замуж за потенциального подлеца или когда не подала в финале руку помощи этому исправившемуся человеку, нет ли тут «вещизма»? Ставил «Ошибку Катерины» пожилой подслеповатый старичок, главный режиссер этого театра, приехавший сюда, в глубокую провинцию, по велению своего горячего сердца не то из Вологды, не то из Керчи. Все в театре были очарованы его изящными манерами, галстук-бабочкой, австрийскими ботинками и в особенности тем, что он совершенно не пил водки. Пьесу много репетировали, и если репетиция проходила удачно, старичок шел в буфет, где буфетчица держала для него специально охлажденную бутылочку шампанского. Режиссер выпивал сам и угощал наиболее отличившихся актеров. На этой почве он и сдружился с буфетчицей.

А она была одинока. Первый ее муж работал моряком и убежал со своего судна в Южной Корее. Вдосталь нахлебавшись капиталистических «щей», он конечно же вернулся на родину, и добрая родина, как мать, великодушно простила его, а жена, как в пьесе, нет. В это время у нее был уже другой муж, которого вскоре тоже посадили за обсчет, обвес и пересортицу. Третий ее муж поехал в Москву учиться на артиста, там и остался, сделал карьеру, служил в театре на Таганке, а про свою вдову из маленького городка на юго-западе Сибири, от которой видел в жизни одно только хорошее, совершенно забыл, не слал ей ни писем, ни открыток, ни конфет к празднику, бывают же подлецы! И одинокая женщина сильно смутилась, встретив такого

изящного старичка, и сердце ее затрепетало, как в пьесе «В ожидании Годо», спектакль по которой подготовила творческая молодежь театра в свободное от основных занятий время и которую запретил лично сам Козорезов из области, курировавший театр и объяснивший свое решение малой художественностью спектакля, непрофессионализмом и несоответствием его гуманистическому замыслу автора пьесы, служившего секретарем у великого Джойса.

Бедная буфетчица! Поэтому, когда старичок однажды вечером пригласил ее к себе, сказав: «Посмотрите, как я живу», она тут же согласилась, взяла вина, закусок и отправилась к нему в его роскошную трехкомнатную квартиру, где он проживал без жены, потому что, по слухам, был разведен, и без друзей, потому что боялся прослыть гомосексуалистом, как это случилось с его предшественником по режиссерскому посту, что, пожалуй, и соответствовало действительности, хотя и происходило с обоюдного согласия извращенных сторон.

А наша буфетчица, как она сама мне потом призналась, тоже, конечно, была «уже не девочка». Никаких иллюзий относительно их дальнейшей совместной жизни или даже продолжительности календарного срока романа она в свои сорок пять лет не имела, но хотя бы на нормальное человеческое отношение могла рассчитывать эта бедная женщина, настоявшаяся до ломоты в костях за буфетной стойкой и желающая только одного — прилечь и отдохнуть, предварительно вкусно покушав и слегка выпив.

Поначалу она ничего не заподозрила. Старичок явно обрадовался, встретив ее, не ожидал, видеть, такого успеха, чтоб к нему пришла такая красавица, и, лъстиво изгибаясь, провел ее в гостиную. Буфетчица заметила, что мебель этой комнаты была довольно уютная, хотя и не очень богатая. В углу стояла софа и стереопроектор «Аккорд» за 60 рублей, паркетный пол был тщательно наощен, отчего паркетные дощечки смотрелись особенно красиво. Посреди обширной комнаты стоял покрытый скатертью стол с тарелками, ножами, вилками, хрустальными рюмками и фужерами, но ни выпивки, ни закуски на нем почему-то не было, и буфетчица, догадавшись, вынула свои припасы, отчего стол стал еще краше. Также она обратила внимание на то, что около стола почему-то нет стульев, на которых нужно сидеть, но уже не решилась спросить об этом странноватого хозяина.

Потому что он уже включил по стереопроектору пластинку Чюрлениса «Море». Море недобро шумело, изрыгало желтоватую, как слюна, пену, катало пустую бутылку, обрушило на них свой «девятый вал», как на одноименной картине Айвазовского, которая висела у буфетчицы в буфете. Они выпили немного шампанского и сжевали по ломтику севрюги холодного копчения. Стульев по-прежнему не было. Старичок вдруг подскочил, издал петушиный крик, как Суворов в одноименном спектакле, и бросился на буфетчицу. Она закрыла глаза, но он пролетел мимо нее и надолго заперся в соседней комнате, не издавая ни звука.

Буфетчице стало неловко, и она, желая компенсировать смущение, стала кушать и выпивать в одиночестве, отведала финской колбаски, выпила ликеру и уже принялась за курочку, как вдруг Чюрленис

взревел особенно мощно, на пороге появился старичок, и вдова протерла глаза, раскрыла рот, ибо ничего подобного она не видела за всю свою долгую сознательную жизнь. Старичок, скрестив руки на груди, как Наполеон, стоял в проеме двери практически совершенно не одетый, на роликовых коньках. Прерывающимся от надменности голосом он велел буфетчице таскать его вокруг стола до получения окончательного результата, и только тут растерянная женщина поняла, зачем так тщательно был навощен пол и отсутствовали стулья. Ошалевшая, задыхаясь с непривычки, не имея соответствующей физической и физкультурной подготовки, она таскала его, черта, почти до самого утра. Неугомонный старикашка успокоился лишь тогда, когда стало светать и пропел первый петух. Услышав пение петуха, он тоже завопил и бездыханный упал на софу. Буфетчица тогда тоже прилегла — ведь ей так рано нужно было вставать на работу. Больше они не сказали друг другу ни единого слова, потому что мгновенно заснули. Поцеловав спящего старика, буфетчица утром возвратилась за свою стойку, а к вечеру старого подлеца выгнали с работы за моральное разложение, но не из-за буфетчицы, а вследствие наступившего исполнительного листа на алименты различным бабам, не то из Керчи, не то из Вологды, а может, и из Сыктывкара, Джанкоя, Брежнева или Вятки — страна у нас большая, и всюду живут женщины.

Вот какие бывают нечестные люди, закончила свой рассказ буфетчица, и я, не понимая, что ИМЕННО она имеет в виду, робко спросил ее об этом, но она, чувствуя свою безнаказанность оттого, что я был уже изрядно пьян, грубо велела мне убираться вон. И теперь я не могу определенно сказать... — «лысый череп» закивал головой, — почему именно после ЭТОГО мне захотелось удушить лебеда Борьку, но тяга, неодолимая, как влечение, привела меня сюда, где я нашел подельника, такого же подонка, как я сам. Мы объединились и начали осуществлять задуманное. Мы поймали лебеда Борьку. Мы хотели изжарить его и съесть.

Рыжебородый тоже закивал. Они с надеждой глядели на меня, а я, выдержав значительную паузу, важно изрек:

— Слабо! Слабо, молодые люди! Я гораздо больше вас перенес в жизни много тяжелого и трагического, но не разочаровался в ней, не закружился, как бесцельная щепочка в мутном потоке гордыни, неумных желаний, бессмысленности, патологии, бешенства души, звериной жестокости сердца, всего того зла, которое, как вы ошибочно считаете, неискоренимо, независимо от человека, присуще ему изначально, ибо в моем теле еще осталась душа, и оба этих компонента моей личности всегда готовы совершить подвиг в нашей жизни под мирным небом, жизни без войн и глобальных катастроф!

— Ну уж, — усомнились разбойники.

— Не «ну уж», а я только что на ваших глазах совершил героический поступок, связанный с убийством лебеда Борьки, и этот поступок в наше мирное время правомочно приравнять к подвигу, потому что вы могли убить меня или надругаться надо мной.

— Против этого мы не спорим, — согласились бандиты. — Мы только сомневаемся, батя, чего уж ты такого особенного видел в

жизни? Врешь ты, поди, все, а коли не врешь, то расскажи, нам это будет интересно послушать, это, несомненно, обогатит нас знаниями и, возможно, послужит нашему дальнейшему исправлению в сторону прекрасности жизни.

— Ну что ж, ваша взяла, — медленно улыбнулся я. — Слушайте, поросята.

И я рассказал им такое, отчего они оба выпучили глаза, со страхом и обожанием глядя на меня и будучи недееспособными вымолвить ни слова.

— Вот. А теперь давайте мне обои по червонцу и дуйте куда глаза глядят. Вы не такие уж плохие люди, ступайте и попытайтесь исправиться! — распорядился я, поочередно обняв каждого из них, прижав их, плачущих, к сердцу, сам всплакнув.

— А хотите узнать, что он сказал им? — рассмеялся желтолицый, покачиваясь в узком пространстве тамбура вагона № 15 дополнительного поезда № 606, следовавшего в 1984 году из Симферополя в столицу нашей Родины — Москву. — Но предупреждаю, что вам в этом случае придется раскошелиться. Лично я дал этому неизвестному четвертак. Уж больно любопытно было, что он им мог такого запулить. Но поверьте — секрет стоит таких денег. Я даже предлагаю: вы даете мне тридцатку, а если, на ваш взгляд, секрет таких денег не стоит, я вам тут же верну эту тридцатку, или часть ее, не соответствующую степени важности моего сообщения.

«Герой» молчал, с невыразимым отвращением глядя на желтолицего. А тот засуетился, сбегал в вагон и стал показывать ему какие-то свои документы, бумажки, из которых ровным счетом ничего не следовало. Проводница стала разносить вкусный грузинский чай, и они с удовольствием выпили по 2—3 стакана, закусывая хрустящими свежими булочками. А вскоре поезд прибыл на конечную станцию. Пассажиры, сердечно попрощавшись друг с другом, вышли на перрон, чтобы больше никогда не встретиться в этой жизни.

3. «Клумба цветов»

Молодой писатель берет некоторое количество листов бумаги и пишет следующее:

КЛУМБА ЦВЕТОВ

А жила в комнате № 3 недалеко от входной двери верующая сорока девяти лет Надежда Изотовна Гончарова. Мать ее скончалась сразу. Отец умер в 1937 году, в возрасте ровно 50 лет. Он чисто вымылся, надел белую рубаху, и закопался в январский снег. Сама Надежда Изотовна, сохранившая вместе с девственностью девичью стать, румянец, походку, была абсолютно тишайшая. Служила, не подымая глаз, «техничкой», т. е. уборщицей. Пищу, как все, готовила на керосинке и рано утром, когда никто не видит, выносила в заметенный метелью дворовый нужник эмалированный горшок с крышкой. Пугливо запахивалась в облезлую шубку. Костя и Мария Тверских

утверждали, что красный угол ее гнилой жилплощади, за дверь которой она никого и никогда не пускала, был торжественно оборудован крестами, венками и бумажными иконами, что впоследствии подтвердилось полностью.

А жил в комнате № 14 блатной Гера, восемнадцати лет, чьи родители очень редко писали письма «с зоны», куда они оба влипли на долгие годы за послевоенные кражи худо лежащего государственного имущества, попрошайничество и хулиганство. Самостоятельный Гера пользовался заслуженным авторитетом среди окрестной, тяготеющей к криминалу молодежи. А что? Был он ловок, бесстрашен, носил сапоги — «прохоря», куртку — «москвичку» с цигейковым воротником, белое кашне, фетровую шляпу. В его комнате играл патефон, ломкие юношеские и терпкие бабьи голоса с воодушевлением исполняли блатные песни. Соседей Гера никогда не обижал, приятно им улыбался, оказывал им мелкие услуги по линии продажи какого-либо их мелкого имущества на Покровской барахолке, откуда юноша неизменно возвращался веселый, игривый, чуток выпивший. Выручку вручал полной мерой, но от «гонорара» никогда не отказывался, особенно если сильно настаивали.

Естественно, что больше он нигде не работал, и к нему иногда заходил участковый Калмыков, у которого и без Геры хватало жизненных занятий. Гера с ним всегда очень вежливо беседовал и не унывал, потому что и так всем было ясно, что рано или поздно его посадят.

Вот. И надо же было случиться такому факту, что однажды, когда Гера пробирался под утро домой, мерца в сизой мгле раздуваемым угольком папироски «Казбек», приклеенной к толстой нижней губе, то он чуть не сбил с ног девушку, спешащую куда-то прочь с нашего барачного крыльца. Гера столкнулся с ней, нечто звякнуло у девушки в руках, что-то плеснуло Гере под ноги, пахнуло.

— Ах! — воскликнула незнакомка и, закрывшись от стыда рукавом, неловко засемила по снегу в больших валенках.

И только тут изумленный Гера понял, что столкнулся он вовсе не с девушкой, а с девой, Надеждой Изотовной Гончаровой. Гера выплюнул папиросу, поскреб крутой затылок и, пройдя по ледяному коридору, завалился в своей комнате спать.

Проснувшись, он со смехом вспомнил свое рассветное приключение, но ему вдруг стало удивительно: как бы это он мог допустить такую ошибку относительно пожилой гражданки. В темноте любого можно перепутать с кем угодно, но вот почему же он тогда мгновенно счел, что столкнулся с ДЕВУШКОЙ, Гера не знал, и тайна эта стала занимать его имеющийся ум.

И некогда, начистив сапоги, Гера с целью разрешения этой тайны немного выпил и стал в семь часов вечера у входа в барак, припывая на ветру полуразвалившуюся заборную штaketину и покуривая все тот же «Казбек».

— Ты чего тут, Гера, один маячишь, как штырь? Пошли в клуб «Бумстройка» стилем танцевать! — кричали ему блатные.

Но Гера с ними не пошел, а дождался, когда Надежда Изо-

товна, тяжело таща дерматиновую сумку с картошкой, появилась от автобусной остановки.

— Здравствуйте, Надежда Изотовна. Давайте, я вам помогу, — сказал он.

Дева невидяще на него глянула, на ее лице обозначились красные пятна, пятна тут же резко побледнели, и она быстро-быстро кинулась прочь от Геры, неизвестно зачем сказав ему перед этим «здравствуйте».

Гера ухмыльнулся и, последовав совету друзей, действительно направился в клуб «Бумстроя», где в этот вечер творилось большое веселье, а потом кого-то подкололи, и все разбежались под милицейские свистки.

Ночью Гера тоже ухмылялся. Он шел по темному коридору, где уже уснули за всеми дверьми, и лишь от одной пробивалась узенькая полосочка слабого света, да слышалось бормотанье.

Ухмыляясь, Гера прошел к себе и щелкнул выключателем. Под серым потолком зажглась тусклая электрическая лампочка.

Гера все ухмылялся, все барабанил пальцами по клеенке, а потом снова вышел в коридор, подошел к комнате № 3, прислушался.

Слов шепота никак было на разобрать, но юноше послышалось:

— Господи, Господи...

— Господи-господи, все люди проспали! — пробурчал он.

И осторожно постучал. Шепот как будто оборвался. Скреблась под полом крыса, храп пробивался через соседские двери, утепленные стекловатой, мешковиной, клеенкой.

Гера снова постучал.

— Кто там? — услышал он тихий голос.

— Это я, — шепотом сказал Гера.

— А вам чего надо?

— Вы откройте, вы не бойтесь, вы мне откройте, я хочу у вас посидеть.

— Пьяный ты, уйди, я закричу, я стучаться буду, — так же тихо втолковывала Надежда Изотовна.

— Вы в Бога веруете, и я тоже хочу веровать, я хочу с вами вместе молиться, — говорил Гера.

— Ты врешь, врешь ты, дурак, ты все врешь, — отвечали за дверью. Гера нажал плечом. Дверь не поддавалась.

— Я к тебе завтра опять приду. И послезавтра. Я тебе принесу цветов, — сообщил он. — Я в тебя влюбился.

— А-ах, — тихо ахнула дева.

— До свиданья, — сказал Гера. — Мое слово — закон. Против меня не иди. Закон мое слово, ты поняла?

— Мне пятьдесят сегодня стукнуло, нечистый ты...

— А это мне без разницы, — сказал Гера, удаляясь. — Я тебя не обижу, но я в тебя влюблен.

А наутро его взяли. Он лежал в грязной постели и сонно шурился на вошедших. Понятые, состоящие из Кости и Марии Тверских, топтались на пороге.

— Ну что, Геродот, отец истории? — вздохнул Калмыков. — Допрыгался, сукин сын? Скок-поскок, теперь судить будем.

— За что? — дергался Гера, закатывая белки.

— О! А то ты не знаешь, то ты не знаешь! — Одевайся, хватит вольтить, — велел Гере крепкий человек в штатском.

И Геру повели. Население барака, высунув из дверей физиономии, дружелюбно прощалось с арестантом, который радовал окружающих таковыми бойкими куплетами:

Провожала меня мама, говорила:

«По дороге слушай, сын, конвоира...»

— Заткнись, кончай базлатъ, — уговаривал певца Калмыков.

По дороженьке я шел, не боялся,

Всю дорогу с конвоиром огрызался... —

вопил Гера.

За суматохой и обсуждением такого важного события из местной жизни как-то стерлось отсутствие и исчезновение Надежды Изотовны. И лишь когда к ней пришли из конторы узнать, почему техничка туда уже несколько дней не является, то все столпились, стучали, говорили: «Надя, открой, Надя, открой, Надя, ты спишь, что ли?»

А когда взломали дверь ее стылой комнаты, то увидели, что восковые свечи девы давно погасли, что в чайной ложке — лед, седая паутина по стенам, а сама она, чисто вымытая, во всем белом, сидит окоченело, навалившись прекрасным лицом на чистенький свой стол, крытый вязаной скатертью, на толстую книгу с пожелтевшими страницами.

Ну и потом, конечно, у нас много чего говорили. Болтали, что самоотравилась, Геру приплетали, что он чего-то насчет ее хвастался — в пивнушке ль «Белый лебедь», в клубе ль «Бумстройка». Но экспертиза не обнаружила на теле покойной никаких следов яда, выюшка печки была открытая, так что угореть Надежда Изотовна тоже не могла. Так что смерть ее тоже осталась тайной, как и все остальные тайны на земле.

Родственников у нее совершенно не оказалось, а комната ее принадлежала ЖЭКу. Но ЖЭКу не нужны ни такие отжившие люди, ни такие ветхие дома. Надежду Изотовну похоронили вскладчину, всем нам дали новые квартиры, барак разрушили, местность заровняли бульдозером.

И сейчас там громадная клумба цветов, на которой цветут георгины, астры, маки, левкои. Клумба цветов, и фонтан, и железобетонная фигура. Около клумбы удобно расположен ряд садово-парковых скамеек. На них часто дремлют старые пенсионеры, уронив на колени развернутую газету, матери и бабки качают в колясках малых детей, влюбленные держат друг друга за пальцы.

Все это свидетельствует о том, что жизнь снова продолжается неизвестно куда. Да есть ли какой смысл в жизни или смысл ее только в ее прекрасности? — восклицаем мы, не зная ответа.

...Молодой писатель ставит точку. Молодой писатель остервенело рвет некоторое количество листов бумаги.

Дорогому Юре — не такая злать
расстояние — с любовью
Олеся НИКОЛАЕВА Олеся

АВГУСТИН

ПОЭМА

— А волосы у меня были, —
Продолжал он, отхлебывая чай из блюда, —
Вот дó сих...
И он бил себя по пояснице.
— Однажды, когда оступился и летел в пропасть,
Они зацепились, запутавшись, за колючку.
Так я и выбрался невредимым.

...В восемь лет он был увезен матерью в горы,
Где пострижен в мантию с именем Августин
Отшельником-старцем.
После смерти матери и блаженного старца —
Лет через двенадцать —
Спустился возле Сухуми.
На деньги тайных монашек, живших при церкви,
Приехал в Лавру.
Там его не приняли без документов.
Он подался в Печоры.
Ему сказали — если бы у него был паспорт,
Его бы взяли на послушанье,
А так — и нечего думать.

— Если они займутся выяснением, кто я,
Они потребуют показать, где жил я,
Вызовут свидетелей, заведут дело,
А это значит — показать им тропы,
Открыть Верхнюю и Нижнюю Пустынь,
Выдать старцев.
Многие там живут без паспорта, нелегально;
Власти многое бы дали, чтоб до них добраться.

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — каждое действие
определяется не точкой его приложенья,
А тем, во имя чего оно совершалось...

— А если сказать: жил отшельником,
Никого там нету,
Ничего не видел и — в полную несознанку? —
У меня сидели врач-психиатр — друг моего детства,
Писатель-детективист с юридическим образованием
И отец Антоний — священник из Подмосковья.

— Тогда его пребывание в психбольнице
Затянется на неопределенное время:
На нем будут защищать диссертации,
Делать карьеры,
Целые отделы — получать зарплату —

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — только личный подвиг
Определяет духовность жизни.

— К тому же, как только он сдастся на милость властей,
Его тут же
Приведут к военной присяге,
А ему как монаху,
По постановлению одного из Соборов,
Не помню, простите, какого,
Держать оружие запрещается. Так как быть с этим?

— А осенью начинались ливни.
Они шли с вечера до утра и с утра до ночи.
Казалось, ничего не высохнет здесь вовеки:
Все к земле прильется, втопчется в землю.
Ближе к зиме монахи из Верхней Пустыни чуть-чуть
спускались
И оказывались около Нижней Пустыни — совсем близко.
Иногда мы ходили к ним —
Особенно, если что-нибудь нужно — соль, спички.
Там был один такой замечательный — отец Авель.
Им же оттуда было удобней спускаться к Сухумской
церкви.

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — только по чистоте жизни
Можно судить об истинности чудотворца.
Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — истинное чудотворенье
Всегда сопровождается покаянным чувством.

— Где ты взяла такого? —
Спрашивал писатель-детективист, не скрывая восторга.
— Что ты с ним будешь делать? —
Спрашивал врач-психиатр довольно мрачно.
— Ну что, кажется, не очень дикий, —
Улыбался отец Антоний тихо и ясно.
— Остается тебе его усыновить, — засмеялся кто-то, —
Это единственное, что ты можешь для него сделать...

— По ночам, случалось, выли шакалы,
И медведи бродили по горным тропам,
И особенно чудесно светлячки мелькали,
Туда-сюда летая перед глазами.
Ну и, конечно, цикады, конечно, птицы —
Соловей, пока он семьею
Не обзаводился...

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — а при всем при этом —
Не за наши подвиги и молитвы,
Не за наши добрые дела и жертвы, —

Исключительно по Божественной милости,
По любви его крестной
Нам открываются
Врата Царства.

Наконец, все решили, — для спасения Августина
Необходим покровитель,
Который бы проследил, как движется дело,
И, возможно, своими связями бы добился,
Чтобы все прошло безболезненно, мирно, гладко;
Чтобы дали паспорт молодому монаху,
Освободили от воинской службы,
Позволили работать при монастыре или церкви —
Возносить пустынноческие молитвы
О земле православной Российской,
О властях и воинстве ее огромном,
И он, избежав допросов, благодарил бы Бога.

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — человек может сломаться
Под тяжестью слишком рано исполненного желанья.

— А причащаться мы ходили в Сухумскую церковь.
Ну а так — вечерние, утренние молитвы,
Монашеское правило: три канона,
Кафисмы, Евангелие, Апостол.
Ну и конечно — Иисусова молитва
И вообще — подвиг молчанья...

Засыпая, я думала — как же ты, все-таки, жизнь,
Удивительна, баснословна,
Все в тебе перемешано, все три дороги,
Никаких указателей: направо, налево, прямо.
Еще вчера, считай, я грела глупое тело на камнях Сухуми,
А может, завтра взберусь на какую-то там вершину
И тяжелый клобук надену,
И завернусь в трудную рясу.

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — любого новонаначального,
Пытающегося забраться в небо,
Надо взять за ноги и сдернуть на землю.

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, что и прокаженный,
Подходя к Господу, просил:
«Если хочешь, Господи, можешь меня очистить».

— Так вот, — продолжал Августин, устраиваясь
поудобней, —

Этот отец Авель сидел дважды:
Первый раз за то, что крестил в Черном море
Пионерский лагерь.
Второй — за царицу Тамару.
Какой-то полковник в его присутствии

Обозвал ее нецензурным словом,
А отец Авель был крепкий, сильный, под два метра ростом.
Пришлось полковнику извиниться.
Отцу Авелю же — прогуляться
По сибирским просторам.

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — лучше прогневить человека,
Чем прогневать Бога.

Назавтра Знаменитый Писатель,
Избранный в покровители,
Защитник, неожиданная надежда,
Уезжал в Гватемалу, потом — в Гонолулу и еще куда-то.
Сегодня у него был единственный вечер,
Да и тот был занят:
Он задавал ужин в Дубовом Зале
В честь классика английской литературы.

— Ты хоть знаешь, что он написал, —
Спрашивал Знаменитый Писатель,
Ведя меня лабиринтами к ресторану.
— Кажется, «Алые Паруса», — отвечала я,
Смеясь собственному остроумью,
Ибо чувствовала, что все началось отлично.

Каждый вечер до самой глубокой ночи
Мы с Августином разжигали кадило,
Ходили по комнатам, распевая молитвы,
И я больше всего боялась сфальшивить,
Однако, в конце концов, вдохновение побеждало.
В доме уже все спали:
Чиновники и поэты, лауреаты и кандидаты,
Горбачисты и сталинисты,
Якобинцы и гугеноты,
И кадильный дым окутывал их сновиденья —
Хронику века, программу «Время»,
Акции, баталии и реформы,
Семейные неурядицы, мировые войны,
Общественные нагрузки, неприятности на работе.

— Мы немножко посидим на банкете, —
Сказал Знаменитый Писатель, —
А потом поговорим по твоему делу.
И я так загадочно ему кивнула,
Что он не выдержал и спросил почти сразу:
— Ну, вкратце, что у тебя такое?

— Августин, — говорила я, — дай-ка скуфью примерить.
Ну как — идет мне?
А теперь еще, пожалуйста, и мантию с рясой.

...Тоске никогда не забавна
вспоминать,

Я вертелась перед зеркалом то так, то этак.
В конце концов, я выпросила у него и клубук.
— Настоящая матушка, — отвечивал он монашеские комплименты.

— А почему ты никогда не встречалась со мной бескорыстно? —

Спрашивал Знаменитый Писатель.

Зачем это я бегаю от депрессии по утрам

В тренировочных шароварах?

Слушай, зачем это все тебе —

Какие-то, извини, попы, монахи?..

...Тот, кто поручил мне Августина,
Очень меня ругал за мои ночные примерки.
Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил — можно и в миру вести монашеский образ жизни:
Необязательно облачаться во вретнице, давать обеты.

— Получается, — настоятельно повторяла я, —

Либо предательство старцев,

Либо психушка по всем статьям,

Либо тюрьма со штрафбатом.

— М-да, — тянул Знаменитый Писатель, —

Зачем это все тебе — тюрьма, психушка?

А классик английской литературы,

О котором временно все забыли,

Делал вид, что ему и так очень приятно:

Вот — поэты разговорились, разгорячились,

У них ведь столько проблем: ускорение, перестройка...

— Подложный паспорт? — сказала я.

И тут же немного скривила рот, как в шпионском фильме.

— Подложный паспорт? — спросил Знаменитый Писатель

Тонем заправского революционера

На конспиративной квартире где-нибудь в Женеве.

— Ну да, — небрежно кинула я,

Как сотрудница ЦРУ в Московском парке.

— Слушай, — он вдруг по-ковбойски

Заиграл оливковыми желваками, —

Он что, никак не пойму, — твой любовник?

...Тот, кто поручил мне Августина,

Говорил, — то, что в мире называют любовью,

Это все — страсти, страсти...

Тот, кто поручил мне Августина,

Говорил, — истинная любовь изгоняет пристрастья,

Как Христос — бесов.

Тот, кто поручил мне Августина,

Говорил, — лишь любящий Христа — свободен.

Тот, кто поручил мне Августина,

Был угоден Богу, свободен и беспристрастен.

— А ведь у меня есть, — сказал врач-психиатр,
друг моего детства, —

Один кореш — уголовник.
Если он уже вышел, так для него
Сделать подложный паспорт —
Плевое дело.

— Ого! — воскликнул писатель-детективист с
юридическим образованием,
И назвал статью, в которой был обозначен срок,
И весьма немалый.
— Между прочим, — заметил отец Антоний, меняя тему, —
Существует поверье,
По которому тот, кто хоть раз примерял монашеский
клубок,
Неприменно станет монахом.

— А однажды, — продолжал Августин,
раскаживая туда-обратно, —
Поднялся к отцу Авелю в Верхнюю Пустынь
Какой-то странник.
«Батюшка, — говорит, — смилуйся, поисповедуй».
Был он вертолетчиком, когда с гор сгоняли монахов.
Был приказ доставлять их вниз живых или мертвых.
Гнал он так двух пустынников, те прытко от него бежали.
Но вертолетчикам с высоты было далеко видно,
И было им видно то, что пустынники бегут к краю ущелья.
А пустынникам уже, наверное, начинало казаться,
Что они отрываются от погони, что спасенье близко.
И вдруг за деревьями перед ними открылась пропасть.
Они, как вкопанные, как пораженные громом,
пред нею остановились.
Тут-то и подлетели к ним жадные вертолеты,
Закружились, как грозные птицы над обреченной жертвой.
И тогда пустынники трижды перекрестились
И по воздуху, по воздуху, как по ровной дороге,
Бездну перебежали и скрылись где-то.
И вертолетчики содрогнулись.»

— Августин, — неожиданно проговорил кто-то, —
Почему тебе обратно-то не вернуться?

Отец Антоний обычно долго откашливался
И начинал медленно, с расстановкой:
— Одного монаха поманила птичка.
«Какое-то необычное у нее, — подумал он, — оперенье,
голос».
И пошел за ней и всего-то на полчаса вышел из кельи.
А когда вернулся назад, в обитель,
Видит — игумен уже другой, и братия ему незнакома.
Стал он спрашивать про своего духовного старца.
Все ему отвечают с недоумением,жимают плечами —
Мол, и видом не видывали, и слыхом не слыхивали
про такого!

Наконец, отыскался отец библиотекарь —
Человек, сведущий во всяких разных вопросах.
Он сказал, что действительно,
Назад лет этак полтораста
Жил в монастыре названный старец,
И даже вызвался отыскать
Древнюю его могилку.
Эта осень была особенно щедрой.
На кухне в большой прозрачной вазе
Стояли желтые кленовые листья
И оранжевые сухие цветы, —
Августина поразило,
Что их у нас называют «китайский фонарик»,

Он трогал их удивленно и осторожно и радовался:
«Надо же — и не вянут!»
На массивном блюде лежали багровые разрезанные арбузы,
Мокрый виноград, черные сливы,
Разноцветные перцы, крепкие зеленые груши.
Темнело рано, и было радостно зажигать мягкий свет,
Ставить на плиту чайник,
Творить перед едою молитвы:
«Благослови ястие и питие рабом Твоим» и так далее.

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — на всяком месте
Достойно славить Господа Бога.

Августин начинал уже заметно томиться,
Находясь под домашним арестом.
Целыми днями он свешивался с балкона
И громко обсуждал прохожих.
— Августин, — говорила я, — не высовывайся
Или надень мирскую одежду.
Ты привлекаешь внимание милиционеров,
Они охраняют «Березку» и тоже, томясь, глазеют.
— Снять подрясник! — вскрикивал Августин, —
Ни за что на свете!
Каждое утро он его бережно чистил щеткой
И подолгу гляделся в зеркало,
Стягивая светлые волосы
Черной галантерейной резинкой.
Отец Антоний складывал на коленях смирные руки
И начинал, покашливая:
— Среди русских сказок
Очень много притч, вот одна такая.
Жили-были старик со старухой,
И пригрели они у себя уточку-хромоножку.
А она, когда они уходили, превращалась в деву,
Убирала избу, варила похлебку.
И старик со старухой были очень довольны, однако,
Эта тайна не давала им никакого покоя.
И решили они утолить любопытство,
Притворяясь, будто уходят.

Сами же — притаились в сенцах и ждут, что будет.
И когда уточка скинула с себя оперенье, сделалась девой,
Им захотелось присвоить плоды своего откровенья:
Сожгли они теплые перья и встали победоносно.
И тогда сказала им дева:
— Увы! — за то,
Что вы своей волей нарушили весь ход жизни,
Лишили меня покрова и облаченья,
Должна я теперь вас, несмышленные, покинуть
И тридцать лет и три года мыкаться на чужбине.

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — несвоевременное прозреньё
Может исказить судьбы Божьи.
Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — можно и от всех земных встреч отказаться
Во имя встречи небесной.

Постепенно деревья начали терять листья,
И земля стала до черноты обнажаться,
И разоблачались кусты, и леса редели,
И земля готовилась к холоду, к испытаньям.

Если смотреть Августину в глаза,
Он вдруг как-то застенчиво усмехался
И опускал их,
А щеки его покрывались девичьим румянцем.
Эта стыдливость взора была очень мила,
И все ее принимали за кротость.

К нам приходили монахи и монашествующие молодые люди:
— Не у вас ли живет старец с Кавказа?
И он выходил навстречу.
Занимаясь в другой комнате своими делами,
Можно было услышать:
— А волосы у меня были вот до сих...

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — настоящему христианину
Не следует ждать осязаемых результатов
В устройении земной жизни.
Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — истинному христианину
Отчаиваться не должно от видимого поражения
в этом мире.
Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — надо любить не себя,
Но свое призванье...

Решено было отправить Августина к Грузинскому Каталикосу:
— В конце концов — Кавказские горы — его владенья.
Может, он, — ободряли мы испугавшегося вдруг Августина, —
Согласится за тебя поручиться.

— И прожил раскаявшийся вертолетчик у отца Авеля
Целый месяц в непрестанном плаче.
И простил ему отец Авель все его согрешенья.
И благословил его до самой кончины
Прислуживать церкви на самых черных работах.
Тот радостно обещал грузить уголь для храма,
Ла зимой и летом
Мести дворик церковный, или лед сколачивать ломом.

Грузинский Каталикос и подложный паспорт.
Жена генерального секретаря и Знаменитый Писатель.
ЮНЕСКО. Патриархия. ООН.
Красный Крест. Какой-то там полумесяц.

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — ничеґо не стоит просить у Бога,
Кроме как покаянья.
Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — ничего не стоит просить у Бога,
Кроме как помилованья и прощенья.
Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — кто хоть раз солгал,
Рискует не поверить и Божественному Глаголу.

На пороге стоял отец Антоний.
Из-за его спины выглядывал маленький человек
С длиною седой бородою.
— А это подарок нашему Августину, —
Его старый знакомец,
Монах Елеазар, он его знает с детства.
Монах Елеазар сиял, кивал головою,
Глаза у него блестели:
— Кто же мог ведать, что я в Москве его встречу!
Вот истинно неисповедимы пути Господни!
Вот милость Божия!
— Августин! Августин! — закричала я. — Выходи скорее!
Тут тебе прекрасный сюрприз, желанные гости.
Слышно было, как самозабвенно он пел
Под шум низвергающегося душа.
— Сподобил меня господь в начале прошлой зимы
Посетить Нижнюю Пустынь, — начал Елеазар,
Часто-часто моргая, совсем по-детски,
Пришел, а там матушку Августина отпевают в часовне.
Смирненная была женщина, высокой жизни.
Августин говорил, что за целых полгода
Господь ей открыл сроки ее кончины.
И еще говорил, что, давая ему последние наставленья,
Благословила она его материнским благословеньем
С гор никогда не спускаться, да видно что-то
Приключилось с ним, раз он, смиренный,
Молчаливый, кроткий, — здесь оказался.
Для меня ж, окаянного, его увидеть —
Утешение в скорби, благоволенье Божие.

Он с нетерпением поглядывал на дверь ванны.

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — в духовной жизни
Все свершается не потому что,
А ввиду того, что.

Наконец, дверь открылась,
И на пороге появился раскрасневшийся Августин,
Растрепанный, с улыбкой блаженства:

— Ну, какой там еще сюрприз? А, отец Антоний!
— Здравствуйте, — он поклонился Елеазару, смотревшему
остолбенело.

Образовалась пауза, и я сказала:

— А это наш Августин — очень ли изменился
От бесполой московской жизни?

— Это не Августин, — ответил Елеазар,
Почему-то пяясь и озираясь.

— Как это не Августин? А кто же это?

Я почувствовала вдруг, что наш новый гость
Какой-то несимпатичный.

— А может, это другой Августин? —

Спросил отец Антоний, краснея и заикаясь.

— Это не тот Августин, не с Кавказских гор.

А кто он — Бог его знает.

...Тот, кто поручил мне Августина,

Говорил, — Господь может наслать на человека
Временное ослепление,

Если зрение мешает совершению путей Божьих.

Тот, кто поручил мне Августина,

Говорил, — надо оставаться свободным

От всего «своего» —

Даже от всякого предположенья.

Тот, кто поручил мне Августина,

Говорил, — каждая встреча

Уготована нам свыше.

И тогда они все ушли в комнату

И от меня закрылись.

Они сидели там долго — часа четыре.

Мне очень хотелось подслушать,

О чем они говорили,

Но я не решалась.

И только когда я просунула туда голову,

Предлагая ужин,

Я успела ухватить обрывок фразы:

«Ничего, ничего ей не говорите!»

Наконец, из комнаты вышли Елеазар и отец Антоний.

Елеазар, который снял сапоги в прихожей,

Казался совсем маленьким, совсем тщедушным.

Августин ужинать отказался.

Вынужден тебя огорчить, — голос отца Антония
Звучал торжественно и очень мягко, —
Ты должна знать, кого у себя скрываешь.
Августин — это не «другой Августин»,
А Петушков Саша.
Сбежал из армии в Кавказские горы спасаться.
Жил несколько месяцев у отца Авеля и подлинного
Августина.

Просил, чтобы его постригли в монахи,
Его же благословляли
Спускаться в мир, сдаваться в часть,
Продолжать службу.
А он, по его словам, так уже к ним прилепился,
Так прижился,
Что не мог ни глаз, ни рук оторвать
От креста, кадила и облаченья,
Прихватив их с собою в мир
На молитвенную долгую память.
Ну а дальше, дальше, ты знаешь.

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — выпрошенный у Бога крест —
Самый тяжелый.
Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — тот, кто выходит на проповедь,
А Господь его на это не посылает,
Умножает лишь своеволие и претит Богу.
Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — каждый человек
Нам поручен Богом.

— Я предчувствовал, предчувствовал, —
Ликовал писатель-детективист, потирая руки.
— Надо еще проверить, — настаивал врач-психиатр, —
Может, у него оружие там, в портфеле.
— Ничего, ничего, — поглаживал по плечу Августина
Монах Елеазар и прибавлял, — сердешный,
Покаешься, пострадаешь — Господь тебя не оставит!

Все, что Августин украл, было возвращено обратно.
Он сначала три дня молчал, забившись в угол.
Потом несколько дней проплакал под дождем на балконе.

Я делала вид, будто ничего не знаю.
Возможно, я, на всякий случай, сама боялась
Какого-то разоблаченья.

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — осуждающий своего брата
Сам вскоре впадает в подобное прегрешенье.
Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — надо бояться не людей
И каких-то там обстоятельств,

А только греха и Бога.
Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — надо бояться Бога так,
Как боится любящий человек,
Что возлюбленный от него отвернется.

— Можно ли мне после наказания вернуться в церковь?
Августину ответили утвердительно, радостно, хором.

— А стать монахом?

— Это уж как на то будет воля Божья.

И все стали долго прощаться друг с другом.

И по нескольку раз просить друг у друга прощения.

И уже первый снег пошел,

И по нему расходились все по разным дорогам.

Елеазар садился в Сухумский поезд.

Отец Антоний входил в холодную электричку.

Наверное, пока он к себе доберется,

Снег уже заметет его деревянную келью.

Только дым из трубы будет долго виться над полем,

Будет долго гореть свеча в домике над рекою —

За весь этот свет,

За весь православный мир,

За настоящего и выдуманного Августина,

За всех нас, грешных.

...Тот, кто поручил мне Августина,

Говорил, — кроме любви,

Нет в жизни иного смысла.

Тот, кто поручил мне Августина,

Говорил, — кроме славы Божьей,

Нет у жизни иного предназначенья.

Тот, кто поручил мне Августина,

Говорил, — нет в жизни иной цели,

Кроме соединенья с Богом.

Тот, кто поручил мне Августина,

Говорил, — нет иного права у христианина,

Кроме права прощать всем сердцем.

Вскоре уезжал и Августин — Петушков Саша —

В военную часть сдаваться.

На нем был серый румынский костюм —

Бесформенный и унылый.

Он был пострижен, побрит, выглядел жалко.

Ручаюсь — жальче всего было ему расстаться

Не с золотым наперсным крестом,

Не с архиерейским кадилом,

Но с самим Августином —

Желанной чужой судьбою,

С ангельским его облаченьем —

Со строгим подрясником,

С бархатною скуфьею,

С мантией, развевающейся по ветру,

С клобуком — этой таинственной легкой лодкой

О двух узких веслах,
На которой, по преданию, после смерти
Отправляются вниз по большей и властной реке монахи,
И это уже навеки!..

— Опускай глаза, — говорила я, ведя его по вокзалу, —
Миродержатели века сего по глазам узнают жертву.
Не хватает еще, чтоб они в последний момент
Тебя изловили!

— Я вот только не знаю, — сказал он вдруг на перроне,
Кончилась моя жизнь, началась ли...

Все вокруг в летящем снегу терялось...

— Поцелуемся на прощанье, — сказал он кротко, —
Кто знает, увидимся ли еще, нет ли!

...Тот, кто поручил мне Августина,
Говорил, — каждое испытанье
Надо пройти насквозь,
И путь этот — наикратчайший...

Убирая комнату, где жил Августин,
У его изголовья
Я нашла сложенную в четыре раза бумажку.
Там было написано неграмотно и прилежно:

«Сыне, отдай мне сердце!»

Далее шел непонятный текст —

То ли какой-то гимн,

То ли воображаемого Августина

Вдохновенное сочиненье:

~~И каждый источник, обгоняющий тебя, выплеснут из Моих~~
глубин

«Доверься руке Моей, уверуй в Промысел Мой.

Ибо Мое попечение о тебе простирается от земли до небес.

И каждое дерево, провожающий тебя, выросло из Моих
семян,

И каждый источник, обгоняющий тебя, выплеснут из Моих
глубин

И если враг одолевает тебя,

Это Я послал его победить

Терзающую тебя змею.

И если обессиливает тебя болезнь,

Это Я послал ее иссушить

Опаляющий тебя соблазн.

И если сума натирает тебе плечо,

Это Я жернова навесил на грабителя твоей души.

И если тюрьма заковывает тебя в кандалы,

Это Я посадил на цепь

Безумный замысел твой».

Возможно, было какое-то продолжение,

Но второго листка так и не удалось обнаружить.

...И только оранжевый китайский сухой фонарик

Горел красноватым светом, покрывался пылью,

Тускнел, выцветал, но держался долго —

Почти целую зиму.

1987

Молодая картошка

Старуха жила и жила. Вся высохла до последней человеческой звонкости, вся сморщилась до последней серебряной ниточки на плешивой макушке, но в свои восемьдесят шесть лет не отсохла совсем от дерева жизни так, чтоб отлететь на ветру шелушинкой и растопиться в нашей общей природе. Кто-то в раздаточной времени помнил о ней и ежегодно выкраивал ей кусочек старушечьей жизни, совершенно не пригодный для более молодого существа, — разве что для котенка?..

Но старуха благодарила, весело улыбаясь лукавым сморщенным ртом с тремя зубками. И ежегодно второго февраля, в день своего рожденья, повязавшись нарядным кашемирным платком, со всех сторон и так и эдак оглядывала свой новый кусочек жизни — на что он годится и как пустить его в дело, чтобы хватило до следующей раздачи.

Втайне старуха была уверена, что там, на раздаче житейного времени как-никак ценят ее смекалку, ее нежадность и нетранжирство, ее маленькие уловки на пользу мальчику, через которого и шло к старухе главное — охота жить и хозяйничать жизнью, несмотря на крайнюю старость с ее уродством и немощью.

И на этот раз старуха распорядилась своим кусочком недурственно: в мае она вместе с мальчиком вскопала вдобавок к огороду еще и несколько соток заводского поля, картошку там посадила, чтобы ту картошку и на зиму запасти, и на рынок снести, а мальчика приодеть на вырост для его будущей без неё жизни.

Откуда у такой старухи в сыновьях мальчик двенадцати лет завелся, — никто не слышал, и старуха молчит. Она свое дело знает. Сама живет и мальчику жить дает. Но торопится старуха, торопится — помнит, что кусочки ее жизни вот-вот кончатся, и хватит ей только вздохнуть, моргнуть, да ноги протянуть...

Определила она мальчика позапрошлым летом к подруге в артель коробочки расписывать. И так славно, так ладно у него это расписное дело пошло, что старуха сама собой талант у мальчика пронюхала и не дала в землю зарыть! Куда-то они с подругой грамотной написали, кто-то молодой с бородой приехал, и теперь возьмут мальчика с осени в художественную школу с общежитием. Худой у старухи мальчик, кашлючий, ростом мал, криволап, нос морковкой, глаза бусинками, никакой в общем прелести, но имеется необычайность чувствительная — то ли сиротство, всем за жизнь свою благодарное, то ли впрямь художественный талант, искра божья, да ведь написанное святым духом только святым духом и прочесть можно.

А пока захотелось старухе с мальчиком молодой картошки по-

пробовать! Соседка вчера ездила на заводской участок, ведро накопила, картошка — прелесть!..

Вышла старуха на дорогу, а там знакомый шофер починается, сговорилась она с шофером, и подвез он ее с мальчиком в грузовике. Погода была золотая, солнце лилось, текли ветерочки. Мальчик копал молодую картошку, а старуха обтирала ее от земли, в два ведра складывала — одно сами съедим, одно всем продадим. Она ничуть не думала о продаже дурно, потому что многое для жизни приходилось ей покупать. И для нее было естественным, чистым делом продать на рынке ведро картошки или корзину лука, чтобы купить постного масла, сахару, мыла, вермишели, — да мало ли чего?.. И яблоки она продавала охотно, если родились, и смородину, и крыжовник — стаканчиком.

Однажды какой-то летчик купил у нее землянику и обозвал старуху противным словом таким: «Спекулянтка! Продаешь чего не сажала!»

Старуха отняла у него газетный кулечек и вернула восемьдесят копеек за стакан земляники, которую нынче утром собирала она в лесу, ползая на карачках в мокрой траве. Она уже встрепенулась было ему объяснить, как поест землянички бесплатно, да с какой платформы на какой поезд садиться, да сколько ехать до той землянички, а сколько двигаться пешим ходом. И вдруг поглядела в его стальные глазки, надутые несправедливым гневом и богопротивной правотой, и расхотелось ей тратить на этого молодого летчика свой кусочек старушечьей жизни.

Сейчас она вспомнила об этом с улыбкой и была довольна, что так по-хозяйски распорядилась тогда своим небесным добром, а также земным. Нечего тратить ей зря последние силы на молодого балбеса, который желает задаром поест что на земле растет и что старуха ползком собирает. Ей надо тратить только на мальчика, прискорбная сиротская тайна которого ей одной известна и ею же напрочь забыта, поскольку старуха укромно простила кого-то и позволила кому-то перевалить со своей молодой на ее старушечью шею эту славную, горькую ношу — ничейного мальчика, который сделался главным делом старухиной жизни.

Ах, как чудесно пахнет в ведре на картофельном поле молодая картошка, — вы помните? Ну, конечно, еще бы! Старуха сложила шесть кирпичей, развела огонь и поставила с водой котелок. А в газете у нее лежал настоящий копченый лещ! И думала старуха о том, как ловко она догадалась в тот раз притащить эти шесть кирпичей и спрятать их под ботвой. Хорошие мысли старуха любила, хорошие воспоминанья, добрые знаки, веселые мелочи, — все, что радует, длит, одаряет нечаянно. Она сидела сейчас на теплой, сухой земле и грелась под боком жизни, бросающей и старухе свои душистые кусочки, и мальчику, и ласточке, и стрекозе, и всякой мелкой букашке. Ее глаза слезились в тепле, и она утирала влагу сухой желтой ладонью, и бубнила какую-то песенку, слова которой знала когда-то, еще полвека назад или даже меньше...

Тогда у старухи были свои законные такие же мальчики, как

вот этот, Саня и Сеня их звали, Саня и Сеня... И муж был, Григорий Петрович. На фронте Петрович сошелся с другой и домой не вернулся. Дети выросли, — он написал, — и теперь забот у тебя никаких, живи в свое удовольствие, выходи замуж, старуха! Большой шутник был Петрович, всякую работу любил, петь-плясать, с бабами кувыркаться. И в двадцать лет, и в двадцать пять называл он ее весело: моя старуха! Ведь был он моложе на целых два года, а уж лет пятнадцать, как помер от сердца в больнице. Ох, веселый был человек! Мужик был! — старуха вздохнула с улыбкой, повернутой куда-то в синюю глубину своих маленьких глаз и в еще более синюю глубину своей памяти, где грелась сейчас на солнце ее крохотная душа.

Она ловко слила воду и слегка выпарила картошку, подбрасывая ее в котелке и глубоко вдыхая белое жаркое облако, выпиравшее из посуды. «Щас накормлю молодой картошкой и лещиком, и у меня для него яблоко наливное припрятано, в этом году яблок не жди, недород, шиповника насушу, — бормотала сама с собою старуха, раскладывая копченого леща на газете со всей подобающей для эдакой рыбки почестью. Она полила мальчику на руки из бутылки, он умылся и отер лицо подолом рубахи. «Однако ж, ты — кра-а-асивый мужик!» — сказала старуха протяжно, и мальчик ей улыбнулся грустно и широко своим некрасивым лицом. Он был толстогуб и скуласт, с синими, как у старухи, глазами — без никаких ресниц и бровей.

Но если уж вспоминать... а вспоминать старуха — ужас как! — не любила, поскольку в памяти были тоска и боль, которые мешают делать жизненное действие... Так вот, если уж вспоминать, крепко язык прикусив и ни-ни! ни звука, то мальчика этого, десяти месяцев от роду, привез как-то летом сын ее Сеня, врач из Полтавы, и сказал, что оставит до осени. Сене тогда шел пятьдесят третий год, а жене его, Ане, пятьдесят пятый. Старуха спросила: «Анюта знает?». А сын ее несчастный ответил: «Узнает... если жив буду». Но Сеня той же осенью умер в своей больнице, разрезанный на операции, а старухе пришло письмо от Карнауховой Светы двадцати трех лет, что мальчик этот — ее, что Сеня жениться на ней не стал, а теперь заберет она мальчика, если выйдет замуж за хорошего человека, согласного на воспитанье чужого ребенка.

Старуха ласково ей ответила, чтоб выходила замуж для своего семейного счастья, а за мальчика не беспокоилась, он хорошо очень устроен у богатой старухи. Тут она лизнула конверт по клейкому краешку, залепила его как следует и отослала в ящик, помолясь о том, чтобы гражданка Света Карнаухова подольше не волновалась о мальчике в своей грядущей супружеской жизни.

Все подружки старухины померли, кроме двух, но эти две казались ей вечными, они расписывали в артели коробочки, шкатулки и другую ненаглядную красоту. И старуха искренне полагала, что подруги ее будут живы, пока в артели краски не кончатся, а краски не кончатся никогда, иначе станет намертво производство и все мастерицы разом помрут.

— Ешь, — говорила она мальчику, — глянь, какая рассыпчатая,

снегурочка! А лещик-то мировецкий! С моими подружками не пропадешь, завсегда угостят. Ты в случае какой беды к мастерице Клане приклеивайся, тебе до взрослости уж недолго, лет пять, а Клане семьдесят шесть всего-то, еще молода, поможет! — и старуха сияла при мысли, что так хорошо-распрекрасно она в этой жизни устроилась, выбрав себе таких молодых и надежных подруг.

— Эй, старуха! Привет! Как живешь, старушечка! — с гоготом и улюлюканьем подкатились трое парней, совершенно ей не знакомых. Старшему было на вид лет двадцать, он нагло без спросу запустил руку в котелок с горячей картошкой и стал уплетать, чавкая и чмокая напоказ. Помладше, лет восемнадцати, выдрал у мальчика боковину леща, смазал ею ребенка по лицу и громко, как животное, стал сосать рыбе мясо, словно как если бы оно сделалось сто крат вкуснее — от униженья ближнего. А веселый и злой, лет шестнадцати, помахал перед бабкиным носом физкультурным своим кулаком и рывкнул:

— А ну, гони, бабка, рублики на выпивку — во как в глотке пересохло, харкнуть в рожу твою нечем! И цыц — будто денег нету! Я тебя тут прямо на поле ногой раздавлю, как картошку вареную! И щенка твоего так врыло хрясну, что станет он удобрением — ха-ха-ха! — и не догонит меня никакая милиция, у меня во-о-он там папашкина машина, а папашка — ба-а-альшой человек!

Старуха глянула вкось во-о-он туда, где он показывал, и увидела красную легковую машину с дверцами нараспашку. А у машины стояли две девицы, одна другой заплетала косу.

— Господи! — подумала старуха. — И сколько же их там помещается? Как тараканы в печке! Господи! И девки с ними, а парни-то пьяные, еще разобьются...

Старший вытащил из кармана складной нож и раскрыл со свистом длинное лезвие, он стал точить его для куража об кирпич, через раз тыча в лицо то мальчику, то старухе.

— Небось торгуешь своей картошечкой, спекулянтка проклятая! И яблочками торгуешь, и лучком, сволочь! — приговаривал он, свой ножик потачивая с жутким свистом и скрежетом.

— Да какими яблочками? Недород ведь нынче на яблочки, — приговаривала старуха, проклиная себя за то, что денег при ней, кроме копеек, вовсе не было. — Нет у меня денег, нет. Я вот на рынок повезу картошку, вот и будут, вот и будут тогда деньги, тогда все отдам, берите, разве мне жалко, с удовольствием, пожалуйста, мне не жалко, — бормотала она, невпопад улыбаясь. И вдруг побелела старуха, ойкнула и повалилась на землю замертво, с каким-то окончательным стуком.

— Сдохла твоя бабуся, закапывай! От нее воняло козлом! — сплунув, сказал старший, пнул бабку ногой в бок и скомандовал:

— Атас! По машинам!

Мальчик упал старухе на грудь, обнял все ее кости и зарыдал, подвивая, со стоном. Он залил слезами старухину кофту и, тупо уставясь на первое ужасное горе своей маленькой жизни, увидел, как жутко высохла старушечья шея, как сморщилась кожа на желтой

щеке. Он выл и гладил свою родную старуху, и целовал, и пытался взять ее на руки, чтоб унести с проклятого места. Он услышал рычание мотора, увидел пыльный хвостик за красной машиной и бес- сильно потряс вослед кулаками:

— Бандиты! Уехали! — всхлипнул он и еще сильнее прижался к своей холодной, деревянной, бездыханной старухе.

И тут старуха заплакала, открыла два синих-пресиних глаза, улынулась мальчику криво сквозь слезы и выдохнула:

— Господи! Как хорошо, что уехали! Спасительно, Господи, ты меня надоумил. Умерла — и все тут! С мертвой и взятки гладки! Что им дохлую-то старуху кромсать? Им живой страх нужен, чтоб в руках трепыхался, бился!

Она кряхтя поднялась, отряхнула подол сатиновой черной юбки, прибрала на груди свою кофту, глотнула водицы. Восторженно и ликующе, как на воскресшую, глядел на старуху мальчик, он торопился, с жадною дрожью, ей угодить своей быстротой, послушаньем души, только что увидавшей чудо.

Они прикрыли шесть кирпичей и две лопаты картофельной ботвой между грядками, подхватили два ведра молодой картошки и подались на край поля, к дороге. Старуха по-девичьи подбирала на ветру свою черную юбку и уже весело хмыкала, перегребая наспех всю эту разбойничью историю, подробно разглядывая все ее жуткости, а также во всех подробностях то, как ловко она обхитрила эту адскую шайку, как мудро с помощью божьей она, старуха, провела за нос этих молокососов, как здорово, что глубокая старость не отшибла у ней разум и что на этот кусочек жизни у нее, такой старой старухи, всего хватало — и ума, и хитрости, и здоровья, словно у молодой.

Минут через сорок она сидела с мальчиком в кузове крытого брезента грузовика, придерживая два ведра с молодой картошкой. Мальчик плакал, прижавшись к старухе и время от времени глядя ладонью костлявые плечи ее и спину — жива ли?! А старуха дышала теплым закатным ветром, и дышала так глубоко, чтобы мальчик не сомневался: жива старуха, жива, совсем живая!

Уже виднелась развилка, ведущая на Постники, где жили старуха с мальчиком, но шофер грузовика вдруг резко притормозил и какое-то препятствие он объехал, изрядно потрянув своих пассажиров с картошкой.

То, что через мгновенье увидели старуха и мальчик, было ужасно. Посредине шоссе лежали в кровавой луже пять человеческих тел, накрытых рогожами, а в метрах пятнадцати на обочине валялась красной лепешкой та самая легковая машина. И водитель цистерны лежал в кабине, откинув мертвое свое тело. Милиция что-то записывала, отмеряя землю гибким железным метром. Санитары курили.

Всё дорогу до Постников старуха и мальчик видели перед собой это красно-кроваво-железное месиво, которое чуть не лишило их жизни, но лишилось жизни само — по какой-то неведомой воле непостижимых сил, выкраивающих кусочки старушечьей жизни, кусочки, совсем не пригодные для более молодого существа, — разве что для котенка?..

Ночью мальчик вставал смотреть, жива ли его старуха, и наткнулся нечаянно в темноте на ведро с молодой картошкой, которое зазеленело. Старуха на звон этот пробормотала сквозь хрупкий сон:

— Жива я, жива, живая, спи, мальчик, я притворилась..

1973

Под лезвием звуков

— В морду дай ему, в морду, я тебе говорю! Бежит он рысцой, закаляется, а ты спокойно, с большим достоинством идешь случайно ему навстречу — и хрясть! хрясть! хрясть!.. А еще лучше так: он сидит в президиуме, ведет собрание, ты посылаешь записочку с пожеланием выступить, он тебя объявляет, а ты спокойно, с большим достоинством идешь на сцену и при всех плюешь ему в рожу — хр-р-р! хр-р-р! хр-р-р! Все понимают — за что, и мы устраиваем бурную овацию. А этот мерзавец, подонок, вор, курва, сексот, угробивший столько народу, навалит в штаны от страха и, попомни мои слова, начнет тебя уважать, ублажать, и все ты получишь сполна, спокойно, с большим достоинством. Ты же меня знаешь, я плохого не посоветую. Сам терпеть не могу сомнительных действий, интриг, эта мелкая возня не по мне — слишком жизнь коротка и до-о-о-роги идеалы.

Бу-бу-бу... Грум-вжжик, грум-вжжик... ййй-ййй-ййй... Непроглядное утро, промозглое, ледяное и слякотное, с гремучей, визгучей дверью в парадном, с тарактеньем и шамканьем лифта, пахнущего мочой и окурками, с подметальным размахом, шварком и скрёбом лопат и дворницких метел в гулком колодце за окнами, где собаки прогуливают хозяев, рычащих, роющих землю, задирающих лапку под деревом, вынюхивающих друг друга.

А в почтовом ящике — три газетки, четыре письма, две повестки, два счета за телефон, который не отвечает, и... малюсенький мышинный младенец:

— Иди ко мне, моя крошка, бархатный нежный лоскутик! Я отнесу тебя к мамочке, к твоей мышиною бабуле, к толпам хвостатых родичей, которыми полон подвал.

— А я уже мертвый, ты разве не видишь? Надень очки, вот они — в левом кармане куртки. Надень и увидишь, как я спал и меня задушили, крепко и весело сжали меня в кулаке и — хруп! — и пи-пи!.. А потом затолкали в железную щелку. Зато мне теперь не хочется ни пить, ни есть, ни дрожать от страха, я сплю в благодати, а мясо мое отнеси под кустик, пускай съедят, меня в этом мясе нет, весь вышел, — он говорит блестящими выпуклыми глазенками, лежа в ладони, под мертвым сияньем общественной лампы дневного света.

Иду и бросаю его под кустик в глубокий снег, не оборачиваюсь,

пересекаю двор, а в глазу на затылке серебристое тельце удавленника сливается с морозной снеготочивой мглой...

— Нет, паршивец, ты дай мне собственную оценку — бу-бу-бу! — тогдашнего пакта между Молотовым и Риббентропом и приведи — жу-жу-жу! — бесспорные доказательства, неоспоримые факты, а не твяканье этой контры, этой газетной своры гнусных переворотчиков! Я преподаю вам не только и не столько нашу историю — грум-вжжик! грум-вжжик! — а железную идеологию нашего общества! Да заткнись ты, заткнись, вся семья у тебя такая! Мало он пролил крови, мало пересажал, мало перестрелял! Не свою он умер смертью! Скоты! Свиньи неблагодарные — грум-йяй-йяй! Гений он был, ге-ений! В гробу мы видали Европу и всю мировую общественность! В гробу — бу-бу-бу! Подумаешь, Гитлер?! Нет ничего позорного, это же — битва гигантов, мы расширяли границы! Мы, негодяй, законно увеличили свою территорию. Да плевать мне, что о нас думают! Вон из класса! Больше не смей приходить! — грум-грум! — на мои уроки. Ты очерняешь — бемц! — ты извращаешь идейно — бамц! — всю нашу действительность, ты ненавидишь историю родины — грум-йяй-йяй! — ты предаешь идеологию нашей партии, вежливая ты сволочь!

— За что-о-о-о? Он ничего тако-о-о-о-го! Грум-вжжик, грумм-вжжик, йяй-йяй!

— И ты вон из класса! И ты! И ты! И ты!.. Задуш-ш-шу, какмыш-ш-шат! Мразь, шваль, газет начитались, наслушались голосов, нагладелись на переворотчиков — бамц-бамц! — на прогрессистов, ревизионистов, антисталинистов, подонков!

Дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля, переменка, все мчатся в уборную.

Жилистая подслеповатая кошка под кустом на снегу поймала задушенного мышонка и лапой толкает, чтоб он удрал, а она чтоб его догнала, а он чтоб опять удрал, а она чтоб опять его догнала и, вымотав этой древней игрой кровожадной, беспроигрышной, съела и облизнулась. Пища должна бегать!

— А я уже мертвый, ты разве не видишь, проклятая кошка? Меня в этом мясе нет, весь вышел! — говорит он блестящими выпуклыми глазенками, вылетая из класса в мировое пространство — мороз и солнце, день чудесный! Тю-тю, Валентитрия Мутиновна, я свободен, я выброшен, о счастье! Теперь я не буду ходить на ваши — бу-бу-бу! жу-жу-жу! грум-грум! йяй-йяй! А буду гулять со своей девочкой и читать «Оправдание добра» Соловьева.

А другой сказал: — Хрен вот! Выгнать меня не можешь, драная кошка, стерва и псих! У нас пока еще есть конституция, и никто не имеет права лишать меня среднего образования. Цыц, а то врежу! Нет у меня денег для репетиторов. И будешь ты учить меня, Валентитрия — хрясть! — Мутиновна, это — твоя работа, тебе за нее государство платит из налогов — курва! — моих родителей, из их кармана. Так что заткни свою пасть, а то харкну. И запомни — орать на меня бесполезно, я подрабатываю санитаром в психушке и все

эти фокусы — до первой затрещины. Так что будь добра успокоиться — вот валерьянка, у меня ведь тоже нервы контуженные!

Когда телефонная вилка из стенки вынута, все равно мне слышно, как звонят и звонят без конца. В этом году мрут от удушья, от легких, от запойного курева. Друг мой дальний, уж дальше некуда, красавица, умница, каторжанка, мать ограбленная, сильная, нежная, беззаветная, над черной рекой, где одно дитя уже утонуло, а другое еще купается, — это звонят о ней, завтра в двенадцать, морг 2-й МПС, цветы и серебряный рублик во гроб, в ледяные ножки, чтоб заплатила Харону за перевоз. Уж чего не терпела — так быть в долгу! А в той, предыдущей, жизни она под забором нашла больного зверька, дала молока, подстилку и блюдечко. Спи, голубка... спи, моя Людочка. Нет тебя в этом мясе, его отнесут под кустик, а летом поставят камень. Вышла ты вся. Оболочка — неузнаваема. И только домой возвратясь, я целую твое отраженье в колодце глубокой памяти под каплющей воском свечой.

Я только хотела сказать, что ничего не забыла, за все благодарна, за каждую корку. Но трубку сняла пустая жилплощадь: — Почему вы звоните так поздно и кто вы такая? Вы знаете, сколько времени? Уже одиннадцать ночи, — грум-вжжик-ййй-ййй! И вообще!

Мускул воды свивается с мускулом времени, перетеканье мглы, прозрачная непроглядность, тропический ливень, папоротники, хвощи, лианы, лемуры.

Ййй-ййй, мой отрок сидит под бананом и пишет воспоминанья.
— Он болен?

— Да, — говорю, — отвращеньем к школе. Острая форма.

Оба завуча и родители двух изгнанников прибыли на толковище. В кабинетике душно, пахнет бумагами, истерической кошкой и чокнутой историчкой. Историчка чокнулась в тот момент, когда его вынесли из мавзолея. Поклялась отомстить за поруганье святыни, за оскорбленье гения, победившего Гитлера и Германию, освободившего страны Восточной Европы, ежедневно уничтожавшего внутренних подлых врагов и ежегодно снижавшего цены. Она поклялась до гроба служить ему верой и правдой, обостряя борьбу, классовую и международную. Таких было много, и ей полегчало. Но ежегодно пять-шесть-семь каких-то гаденышей задавали ей самые каверзные вопросы и так мерзко, так подло, так вежливо ей возражали, что она колотилась в припадках и валяла им двойки в журнал, прогоняя с урока, или хуже того — повышала отметки боксерскому классу за кровавую кашу из начитанных этих гаденышей.

Но вот сидит она, Красная Шапочка, с ангельским видом, ласково улыбаясь, головка набок, губки сладкие, глазки невинные, и так застенчиво и кокетливо сумочку теребит, ярость свою загоняет в подметки. Сразу видно — ханжа и базарная баба.

— Я очень, ну прямо очень — бу-бу-бу! жу-жу-жу! — любила

ваших детей... до этого года. Но теперь, когда все печатается и родители читают все без разбору — вжжик-ййй-ййй! — ваши дети срывают мои уроки своими вопросами, а также каверзными ответами — грум-вжжик! грум-вжжик! — и вступают со мной в совершенно бессмысленный спор, в бесполезный и даже вредный для их будущего политического лица. А зачем? Я даю материал по схеме, идейно выверенной и оснащенной всеми неоспоримыми фактами. Это — готовые ответы для экзамена в любой вуз. Вы меня слышите? Умные родители понимают, что, имея мои конспекты, — бу-бу-бу! жу-жу-жу! — думать не надо и спорить незачем, а надо только единственное — грум-ййй-ййй! — отвечать, как записано под мою диктовку. Вы меня слышите? Это очень всем облегчает, спросите завучей, все они — мои бывшие ученицы — вы меня слышите? — и все сдавали в пединститут.

— А я не хочу, — говорит ей одна мамаша, — чтобы моя Глаша за отметку перед вами холуystвовала и пресмыкалась. Ребенок имеет право задать вопрос!

— А я имею право поставить двойку — за срыв урока!

— Нет, не имеете!

— Нет, имею!

— Никакого!

— Полное!

— Вы развращаете!

— Вы врете!

— Вы оскорбляете!

— К черту! Ухожу! На пенсию! Ищите! Себе! Другого! Учителя!

Тут оба завуча хватают ее за кофту, за юбку, за весь трикотаж:

— Валентитрия Мутиновна! Никогда, ни за что не уходите на пенсию! Где мы найдем учителя в середине года? Для десятых классов? Где?! Ведь сегодня никто не знает, как преподавать этот страшный предмет — обществоведение! — грум-вжжик-ййй-ййй! Лучше мы выгоним этих детей из школы — бум-бум! — с их проклятыми вопросами! Пусть катятся, отщепенцы, чи-та-а-те-ли!

— Вам плохо, родительница?..

— Нет, мне хорошо... Это вам плохо — грум-ййй-ййй!

— Почему?

— Потому что я записала — бемц-плямс! — на магнитофонную пленку.

— Куда?.. Куда вы удалились?!

— В Роно! в Гуно! В созвездие Стрельца!

...Снег, ветер, метель. Какая-то в черном плаще обнимает дерево на Гоголевском бульваре и лбом-бом-бом! по стволу и бормочет гражданка, глотая слезы:

— Прости бессилье мое и отчаянье — в час молитвы о сокращенье злокозненных сил тщеты и адской богопротивности, распинающих детство твое, о, чадо божье!..

— Гражданка, вам плохо?

— Нет, что вы, мне хорошо. Я всегда в это время немного дышу через дерево. Знаете, лейтенант, надо выбрать большое, сильное дерево, обнять его и прижаться — грудью, лбом, животом, коленями — и дышать сквозь него, дышать, хотя бы минут пятнадцать, а лучше — тридцать, под звездами. Очищает.

— И от камней?

— И от камней. Возьмите мое дерево, я как раз его раздышала и оно еще теплое.

Хруп-хруп! Хруп-хруп! Это я прохожу мимо, мимо этой гражданки, мимо этого лейтенанта милиции, который в обнимку с деревом на Гоголевском бульваре очищается от камней.

На попутной лошадке качусь по кольцу — до своего переулка — жу-жу-жу! бу-бу-бу! — кучер трудится инженером, два года работал в Индии, там в гостинице ползают прозрачные ящерицы — хапнут мушку и видно, как мушка эта внутри переваривается до полного исчезновения к вечеру.

Вот и ночь. Добрести до дивана и набок — как дохлая мышь. Открываю первую дверь подъезда — крошечная тьма. С трудом вспоминаю код, бестолково давлю на разные кнопки. У подъезда — хруп-хруп! — гуляют собаки с хозяевами:

—...он тебя объявляет, а ты спокойно, с большим достоинством, — бу-бу-бу! — плюешь ему в рожу — хр-р-р! хр-р-р! И все понимают, за что, и устраивают овацию — грум-вжжик! грум-вжжик! — слишком жизнь коротка и до-о-о-роги идеалы.

Ййй-ййй-ййй! — завизжала вторая дверь, открываясь. Лифт не работает. И, чтобы насмерть не задохнуться ни на одном из шести этажей, сплю и вижу я Киев, детство и небеса Подола, ту высокую гору, где Андреевский храм в облаках, — как легко мне тогда дышалось, как всюду мне было близко и крутое мне было плавным...

1988

Хлад, глад, свет

Мама мыла Машу. Маша мыла Мишу. Нажим... волосок. Нажим... волосок. Не торопитесь, дети, не залезайте на клетку рядом. Не рвите бумагу перьями. Слишком не нажимайте. Рука не должна дрожать. Почерк — это характер. Пишите красиво и чисто. Перья «рондо» не годятся, от них — одни выкрутасы.

Парта — одна на троих. Не кладите два локтя на парту. От этого тесно соседу. Дети, не забывайте о ближних. Никогда не толкайтесь локтями. Не кушайте промокашку. Нажим... волосок. Нажим... волосок.

На окнах толстый лиловый лед. Сквозь замазку не дует, но стужа вгрызается в стены, как в яблоки, — и стены хрустят.

Всего холодней — в стене и в спине. В спине у стены. В стене у спины. Мама мыла Машу. Маша мыла Мишу. А где мама и Маша достали мыло?

На базаре — двести рублей кусок. Самое лучшее мыло — собачье с дегтем, от него дохнут тифозные вши. Вши бывают возвратные и брюшные. Поэтому тиф — тоже бывает брюшной и возвратный. Нажим... волосок. Нажим... волосок. Мама мыла Машу. Маша мыла Мишу. А где в это время было их барахло?

Оно было в прожарке. В прожарке сидит тетя Рая. Она там заведывает жаром и паром. Тетя Рая жарит все барахло, куда народ моется. А по ночам она жарит мундиры, куда народ воюет. Мундиры — это шинели, галифе, гимнастерки, портянки. А есть еще кителя и бескозырки. Потом тетя Рая подметает жареных вшей — десять бочек жареных вшей! Она мне сама говорила. Их берет подсобное хозяйство для удобрения огородов. Это изобрел для народа дедушка Мичурин, чтобы всем хватило свеклы и картошки до полной и окончательной победы над фрицами. Свекла сладкая. Картошка — очень сладкая, если морожена. Из картофельных шуруков, если они есть, пекут деруны. До войны они назывались блинчики.

Блинчики бывают ни с чем и со всем — с маслом, с мясом, с творогом, со сметаной, с яблоками, с вареньем, с джемом, — со всем, что бывает до войны, до войны, до войны, до войны, до войны, войны — до.

Войны — до, была улица Малая Васильковская, потому что рядом у рынка продавали целые ведра маленьких васильков с опаленными солнцем зубчиками. Я — Василек! Я — Василек! Вы меня слышите? Мама, я умираю...

Нажим... волосок. Нажим... волосок. Пишите красиво и чисто. Мама мыла Машу. Маша ела кашу. Войны — до. Пришли трое и управдом. Папа вешал на елку стеклянный дом. Весь дом упал и разбился. Мама стала вся белая. А папа весь черный. А они хулиганили в комод, в шкафу, в банках с крупой и вареньем. Распотрошили письменный стол и диван. Расковыряли Машину кашу.

Папа сказал маме — все утрясется. Только без паники. Только без нервов. Дети так впечатлительны! Их психику надо беречь. Для них ничто не должно измениться. Где-то что-то кто-то напугал. Произошла ошибка. Это — мелочь в великом процессе великой истории. Мужество и спокойствие. Величайший все знает, все видит, все слышит. Папа ему напишет. И мама ему напишет. Мама дала папе мыло и клумачок с барахлом. Сало и хлеб он не взял. Там кормят.

Папа выменял там это мыло на папиросы. Он очень курил. От этого у него отбили печень и почки. Он потом не мог ничего глотать, ел только жидкое. Нельзя так много курить. Он превратился в скелет. И потом на нем уже никогда не росло мясо. От этого дыма он стал быстро слепнуть. Но тут на нас напали фашисты. И вождь срочно послал папу на секретный завод, чтобы из трактора сделать танк. Но папа сделал еще и самолет, и бомбы, и мины. Теперь он получает паек. Как все.

Из пайка мы с мамой продаем на базаре спирт и покупаем для папы махорку по 90 рублей за стакан с верхом. И относим ему на завод. В проходной у нас берут передачу и записку, что все хорошо. Завод очень замаскирован, и папа там ночует в замаскированной комнате. Однажды он ночевал дома и страшно кричал во сне, как перееханная собака. Я тоже. Меня разбомбили в поезде. Я от этого очень моргаю. И мне трудно играть с другими детьми, они меня за моргание дразнят. Но будут еще и такие игры, где можно выиграть, если все проморгаешь. Нажим... волосок. Маша ела кашу. Маша ела кашу — целых четыре строчки.

Я ем промокашку, она — как вафля-микадо. Все жуют промокашку. Весь класс. Сорок три человека. Скоро звонок и дадут булочку с сахаром. А кто вчера не был в школе, тому — две. А кто позавчера и вчера не был, тому — три. Три, три, трилистник. Такой цветок. Носи на груди — не убьют. Шьем кисеты для безымянных героев, в каждый кладем трилистник. Потом получаем письма — все живы, но много раненых.

Мама бинтует раненых. Бинты тоже едят. Если очень больно. Бинты — как промокашка. Они промокают кровь. Мы — чернилки-невыливайки. Невыливайки с кровью. Можно подлить, если мало. Мама моя подливает в раненых кровь. Кровью пишут. Любовные письма и страшные клятвы. Нажим... волосок. Рука не должна дрожать. Пишите красиво и чисто. Клянусь убивать врага, умереть за родину и вернуться с победой. Жди меня. И я вернусь. Только очень жди. Кровавые дожди утопили фашистов, они проваливаются сквозь землю, а там бункер и Гитлер красный от крови, и Геббельс. От этих фамилий я очень моргаю.

И уже прилетела комета кровавого цвета. Утром дети видят ее из окна. И ночью в госпитале видят ее раненые. Дети и раненые видят комету. Больше никто. По субботам — концерты для раненых. Я пою и читаю Некрасова. Там пахнет йодом, кровью, гноем и потом. Сперва — ужасно тошнит. А потом все привыкают. И выздоравливают.

Комета может упасть на землю и ее расколоть. Та сторона, где Гитлер, обломится и вся сгорит. А та сторона, где мы, расцветет от тепла и будет кружиться, покада не станет круглой. Комету прислали нам марсиане. Они голубые и питаются воздухом, у них поэтому нет голодных. Они разговаривают глазами, читают мысли на расстоянии — прямо из головы. У них голова хрустальная. У них не бывает плохих мыслей. До того, как питаться воздухом, они открыли, что можно есть промокашку. Нажим... волосок. Нажим... волосок.

Промокашка — она, как воздух, ее можно есть без конца. Из нее во рту получается розоватая кашка. Пресная, чуть сладковатая, пахнувшая бинтами и стружкой. Эй, рубанок, спозаранок стружку лей!.. лей, лей!.. Клей тоже едят, если в нем крахмал. И мел едят. Когда едят мел, он разговаривает. И во рту — два слова: крах мал, крах мал, мал крах. Кр-р-рах! Мал мел. Мул мыл мол. Лом был бел. Лом бел мял лоб. Бил об мóрок. Обморок!.. обморок!.. обморок!..

Боль, лось, темь — там... Об пол — лбом! Тили-бом, тили-бом... Летим!.. Едим!.. все подряд. Кашка, ромашка, роза. Тетя Роза в пузо втыкает штырь. Нашатырь!.. Глотанье меча. Запах — моча. Мир бел. Лицо — мел. Хлад, глад, свет! Звон. Дон-динь!.. Всем! дают витамин. И булочку с сахаром.

Тетя Роза давно убита, она была санитаркой, ее наградили орденом. Это не тетя Роза, это моя учительница. Осенью мы помогали ей квасить капусту в бочке. Она голодает с двумя детьми. И носит галоши на лапти, а лапти на шерстяные чуваки.

Через тридцать лет в моей черепной коробке лопнет какой-то сосудик. Малюсенький. Вечно он помнил, о чем никому нельзя говорить. Потому что все и так это знают не хуже тебя. Он заведовал тайнами целой эпохи. Он был целомудрен. Мужествен и благороден. Такой малюсенький. Такой крамольный — насквозь. Презирующий полуправду, трусость в худшие дни, наглость — в лучшие. Присвоеные чужих страданий, пыток, хлада, глада и света.

Сквозь этот сосудик протекало, струилось отчество первой моей учительницы. На Урале. В Челябинске. Варвара... а дальше — лом бел мял лоб — хоть убей, на помню, не помню, не помню-у-у!.. И моргаю, моргаю... Нажим... волосок. Нажим... волосок. И вся она возвращается, прозрачная, каллиграфическая, как яйцо куропатки. Как ледяная листва на окне, за которым летала комета.

Вот ее отчество — хлад, глад, свет, звон, всем дают витамин и булочку с сахаром — Хладгладсветзвонвсемдаютвитамиனுбулочкусахаром! В руке у нее, в хрустальной руке у нее — шнурок, на шнурке — мешочек сатиновый, в нем — промокашка. В промокашке — трилистник. Чистой силы цветок. Если рванят, так не убьют. А убьют, так вернешься с победой.

А где мой трилистник? Где мой трилистник? Где? мой? трилистник?.. Господи, вот он! Лежит в промокашке. В прямой, розовой кашке. В маме, которая мыла Машу, и папе давала мыло, и кормила его из ложки, когда он вернулся из ада, из сада пыток. Нажим... волосок. Нажим... волосок. Волосок, на котором висит. Вся жизнь. Вся судьба. Вся память. Обмороки голодных. Обмороки обжор. Чванство низких. Скромность высоких духом. И бинты. И прожарка. И мыло. И мел. И кровь. И гной. И пот. И хлад. И глад. И свет. И трилистник.

Сто лет с наслажденьем жую промокашку. В самолете, в поезде, на собрание, в больнице, в очередях. Всюду, где очевидно, что правда — она постижима, но то она есть, то нет ее. А истина — непостижима, но есть всегда. И в худшие дни, и в лучшие. И до лучших дней доживают все. Но всех раньше — мертвые.

До и после недели рукопожатий

Незримый лежал в трущобе и жевал сушеные финики. Сын пустыни, он выглядел дважды старше своих тридцати лет, и вдобавок глубокие, жирные, потные складки придавали его лицу выражение кожаного мешка, где переваливается с боку на бок протухшая питьевая вода.

— Эй, ты, не бойся! — сказал он белобрисому, скуластому парню с завязанными глазами. — Сейчас я буду тебя кормить. Миска — в углу направо. Ползи!

Он никому не доверял кормить своих пленников, он любил это делать сам. В квартале, где Незримый родился, обитали стаи голодных птиц и животных, и годовалым ребенком он ползал среди них, посасывая сладкую гниль помоек, а позднее, встав на ноги, яростно дрался с ними за кость и за корку, рыча и зверея. Так добывали пищу многие дети его народа, они не боялись смерти, ничто не считали грязью, и брезгливая маска к ним никогда не липла. Выражение брезгливости появлялось гораздо позже, годам к двадцати, когда умопомрачительная помойка цивилизации распахивала свои роскошные, уже не бесплатные внутренности, подманивая животных, чьи молодые, голодные железы вопили, что жизнь единственна.

Белобрисый облизнул пересохшие детские губы в кровавых трещинах и не сдвинулся с места. Руки его за спиной были замкнуты на железку, и жгучая боль разливалась в левом боку, текла в поясницу и закипала в ногах, раскаляя ступни.

Незримый знал эту боль наизусть, и силой воображенья он сейчас пропускал сквозь себя кипяток этой пытки, чтоб удвоить страданье, униженность и отчаянье жертвы, для которой он был незрим. Как бог, — подумал Незримый, — как неподсудная сила, чья непреложность выше добра и зла. Благодаря этой силе, он выжил в таких переделках, которым не место в памяти, если ты не издох и жизнь тебе предлагает свое время и действие — в обмен на забвенье.

Он вырос в огромной семье и уже не помнил, сколько там было сестер и братьев — полтора или два десятка? — так много их вымерло от болезней, жестоких драк и несчастных случаев. Но самой красивой из них, самой веселой и нежной, самой незабываемой, несомненно, была Камилла, эта шлюха, — с удовольствием вспомнил Незримый и улыбнулся, мысленно перебегая кровавую диагональ той улочки в Триполи, где она расплескала мозги, поскользнувшись на подоконнике и оставив ему в наложницы восьмилетнюю дочь.

— Хочешь выпить? Я сделал тебя знаменитым. Все радиостанции крутят сегодня ту пленку с твоим голосом. Весь мир думает о тебе. И обо мне, никому не известном. Твои портреты во всех газетах. А мои, слава богу, — нет. Я — безымянный, незримый, не лезу в гла-

за и пью за твою всемирную славу. Если ваши ослы ровно в девять не удовлетворят мои скромные просьбы, я прострелю твои мозги через задницу. На, выпей!

Незримый железными пальцами сжал заложнику ноздри и влил ему в глотку полстакана местной паршивой водки. Он захлебнулся и выблевал желчь в приступе судорожного кашля. Руки, замкнутые за спиной железным кольцом, мешали ему глубоко вздохнуть, и он кашлял все громче.

— Заткнись, падалы! Услышат... — Незримый стал колотить его кулаком по спине, меж лопаток, и пленнику сделалось легче, он больше не кашлял. С отходом желчи воздух ему показался слаще, и горечь на губах и во рту медленно отмывалась слюной и дыханьем. Он опьянел, расслабился и, сперва опустясь на колени, лег на каменный пол:

— Господи, это — я, пошли мне воспоминанье!

Во сне он купил мороженое на пыльной, ветреной улице, которая где-то вдали обрывалась, впадая в море. Мать ходила туда на закате — потрогать рукой корабль и помечтать на скамейке. Прутиком он сосчитал чугунные ромбы в ограде Этнографического музея, на мраморных ступенях которого, как в зеркале, переливались струистые отблески волн и облаков.

Когда улица кончилась, он увидел, что на скамейке у самого моря сидела мать, читая газету, которую ей перелистывал ветер. Она обернулась и спросила, не разжимая губ:

— Мой маленький, радость моя, где же ты был так долго?..

Незримый рванул его за ухо, вышиб из забытья и выволок из трущобы на воздух: — Поехали, быстро, быстро!

В кузове маленького фургона белобрысая голова заложника билась об железное дно, и он потерял сознание. Полицейские нашли его через семь минут после звонка: — Шеф! Под мостом у аэропорта...

Через месяц он выписался из госпиталя и вернулся на родину, через год его перевели из Министерства Иностранных в Министерство Внутренних Дел. Через пять лет во всем мире объявили Неделю Рукопожатий, и на третий день он, запивая водой аспирин, услышал из телевизора голос Незримого:

— Народ моей молодой республики знает, что жизнь человека единственна и священна. Это придает нам силы в борьбе за равноправие и справедливость, за человеческое достоинство каждого крестьянина и рабочего, а также будущей народной интеллигенции. Нам отвратительно любое насилие, мы с радостью подписали конвенцию по борьбе с терроризмом, и мы неустанно боремся за права человека. Открытость, добросердечие, уваженье ко всем народам и религиям — исконные черты нашего национального характера.

Тут Незримый зло и весело улыбнулся, сунул руку за борт кителя и вмиг исчез, уступая экран козе на горном лугу.

— Господи, это — он! А-а-а-а-а!.. — закричал мученик, раздираемый лютой силой прозренья и падая вниз лицом.

К концу Недели Рукопожатий он уже не был русым, он стал

серебряным, словно свежая кладбищенская ограда. И мычал на
больничной койке, утратив речь.

Он забыл свое имя и как называется море, скамейка, мороженое,
воздух, вода и все то, что он чувствовал, чувствует, чувствовать
перестает.

И мать в этом сне спросила, не разжимая губ:

— Мой маленький, радость моя, это что у тебя в голов-
ке?.. Инсульт?..

Австро-Венгрия

*«Да выковыривает плуг
Пуговицу с орлом».*

Эдуард Багрицкий

На железнодорожной станции венгерской
В толчее денек.
А из-за ограды тычется железный
Траурный веночек.
«Был здесь, — говорят мне, — госпиталь военный
В тех сороковых».
Сколько же забытых, сколько незабвенных,
Мертвых и живых!
Пыльной травой поросло все это
В цвет сухих небес.
Пролетают мимо посредине лета
«Форд» и «мерседес».
«Здесь была казарма при имперском иге, —
Объясняют мне, —
И артиллеристы дыбили квадриги
В этой стороне».
Бакенбарды Франца и штиблеты Швейка,
Вот и ваш черед!
Заросла в ограде кладбища лазейка,
Солнышко печет.
Полегла Европа в рыхлые траншеи,
Проиграл Берлин.
Только я не знаю ничего нежнее
Этих именин.
Девочки Европы в горбачевских майках, —
Чудо из чудес!
Мальчики Европы в шортиках немарких —
«Форд» и «мерседес».
Что же я глазею, старый иностранец,
Тент мой полосат.
Пусть меня охватит нежный их румянец,
Легкий их азарт.
О, как бесконечно долго я не видел
Этой суеты.
О, как тихо тронул европейский ветер
На венке цветы.
Не припасть навеки черными губами
В полосатый шелк.
Только б расплатиться мелкими деньгами
За уют и долг.
И веночек трепещет траурною лирой,
И спит Дунай.
Пользуйся, товарищ, этой жизнью сирой,
Но не умирай.

Дом поэта

Я был в квартире Эндре Ади*
И не застал там никого.
И все же, все же, Бога ради,
Не забывайте дом его.
Ни полинялые диваны,
Ни рамки в стиле либерти,
Венецианские стаканы:
Цена их — Бог не приведи!
Не разрушайте дом поэта
Среди корысти и беды,
По случаю кончины света
И всяческой белиберды.
Свет отгорит и вспыхнет снова,
Взойдут народы и падут,
Но этого молитвослова
На столике не создадут.
И выцветший на фото локон,
Очаровательный овал
Из миллиона избран Богом,
Чтоб я его поцеловал.
И, наконец, диванный валик,
Где Ади умер молодым,
Мне виден через тот хрусталик,
Которым в вечность мы глядим.
И нам понять доступно это,
И выразить дана нам мощь,
Приют поэта, дом поэта —
Прихожая небесных рощ.

Воспоминания в Преображенском селе

Где Петр собирал потешные полки,
Где управдом Хрущев унизил потолки,
В Преображенском я кончаю дни свои,
И никуда меня отсюда не зови.
Не будет ничего, не надо никогда,
Стоит перед окном апреля нагота,
У входа в магазин так развезло газон,
Когда я подхожу, знакомый фармазон
Спешит мне предложить вступить в триумvirат.
Выходит — надо жить, не стоит умирать.
Так сыро, так темно, так скоро жизнь прошла...
Когда случилось все? Которого числа?
А свет под фонарем лупцует по глазам,
И поздно злобный вой отправить небесам.
Когда петровский флот со стапеля сходил,
И наливался плод от европейских жил,

* Крупнейший венгерский поэт начала XX века.

Державин громоздил, а Батюшков хандрил,
Какой подземный ход тогда ты проходил?
Преображенец прав, а правнук так курнос,
И, верно, Летний сад за двести лет подрос.
От замка напрямик не разгадать Москвы
И не смягчить владык обиды и молвы.
Когда Ильич грузил в вагоны Совнарком,
Когда Сергей повис в петле над коньяком,
Когда генсек звонил Борису вечером,
Ты отвалил уже свой черноземный ком?
Над люлькою моей приплясывал террор,
Разбился и сгорел «люфтваффе» метеор,
Скользил через мосты полуживой трамвай,
Шел от Пяти Углов на остров Голодай.
С площадки я глядел, как плавится закат —
Полнеба — гуталин, полнеба — Мамлакат.
Глухая синева, персидская сирень,
И перелив Невы, вобравший светотень.
Я на кольце сходил, где загнивал залив,
Где выплывал Кронштадт, протоку перекрыв,
И малокровный свет цедил Гиперборей,
Тянуло сквозняком от окон и дверей,
Прорубленных моей империей на вест,
Задраенных моей империей на весь
Мой беспропудный век...

На мелководье спит,
Я видел, — кит времен, над ним Сатурн висит.
На бледных облаках тень тушью навела
Монгольскую орду и кровью провела
Кривой меридиан от рыла до хвоста —
Так значит, все, что есть и было, неспроста?
Ты знаешь, но молчишь — заговори, словарь,
Я сам себе никто, а ты всему главарь,
И ты, моя страна, меня не забывай,
На гиблом берегу — пришли за мной трамвай,
Квадригу, паровоз и, если надо, танк,
И двинем на авось с тобой, да будет так!
В Преображенском хлябь, размытая земля,
А ну, страна, ослабь воротничок Кремля.
Как дети, что растут в непоправимом сне,
Откроем мы глаза в своей иной стране.
Там соберутся все, дай Бог, и стар, и млад,
Румяная Москва и бледный Ленинград,
Князья Борис и Глеб, древлянин и помор,
Араб и печенег, балтийский военмор,
Что разогнал Сенат в семнадцатом году,
И преданный Кронштадт на погребальном льду.
Мы все тогда войдем под колокольный звон
В Царьград твоей судьбы и в Рим твоих времен!

МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ

В своей американской черной шляпе
широкополой,
стояла та на привагонном трапе,
там, где подковой
к Московскому вокзалу вышла площадь,
и Паоло
когда-то взгромоздил на лошадь
облома, а сам уехал.
И что-то меня мучает и гложет,
и слышу эхо
приветствий, поцелуев, тепловозов,
и вот потеха —
я снова слышу твой железный отзыв
на все вопросы,
и никогда не вытащить, о Боже,
твоей занозы,
и никогда не пересилить этой
стальной дороги,
не отвести угрозы.
И нынче, нынче, подводя итоги
и глядя слезно
в то утро, что светлеет на востоке,
и где морозно,
где фонари на индевелом Невском
стоят стеною,
я думаю, что жизнь прожить мне не с кем,
ведь ты со мною.

Н.

* * *

Ты читаешь вполголоса,
Абазур светлокож.
Свет, пронзающий волосы,
На сиянье похож.
В этот вечер гадания
Все, что будет, сошлось.
И скрестилось заранее,
И пронзило насквозь.
Чем страшнее история
В старой книге твоей,
Тем яснее крестовая
Тень в проеме дверей,
То обиды и горести,
Точно доски, грубы...
Вот и свежие новости

С перекреста судьбы.
Ты читаешь, не видишь их,
Так и быть — не гляди.
Все осилив и выдюжив,
Ты прижмешь их к груди.

Дмитрий СУХАРЕВ

Поэма

Я горожанин:
Мать из горожан,
Отец, Антон, родился в Андижане, —
Хоть невелик был город Андижан,
Но жили в нем, конечно, горожане.

А вот отец отца был деревенский —
Не ливенский, не курский, не смоленский,
Он ламский был. Он с Ламы был реки.
И жили там, конечно, мужики.

Охота посмотреть на эту Ламу,
На панораму ламских этих сел.
Но даже эту малую программу
Не выполнил, лишь душеньку извел.
Да лучше уж молчать про эту драму.

Как вдруг старинный друг В. А. Костров...
Но это после.
Через пару строф.

Так вот, немало лет тому назад,
Махнув рукой на Ламу, дед Григорий
Махнул в страну барханов и предгорий,
Поскольку был не слишком-то богат,
И в Андижане, стало быть, осел.
(Какая дичь — печатать ё без точек!
Хотя пожалуй что для этих строчек
Оно и лучше — ибо рифма — съел.
Но ведь иною рифма быть могла!
Она могла иметь в виду осла!
Нет, я серьезно; дед был новосел,
И в Андижане, стало быть, осел
Ему служил — не пума и не лама,
Поскольку там не Лима, не Панама.)

Так я о панораме ламских сел.

Да, да, не спорьте, все мы горожане —
И я, и вы, друзья, в конце концов:
Посадили городские юнцов,
Посадили землю гаражами,

А где там родились отцы отцов —
И знать на знаем. Где, скажите, где
Деревня та, Грибаново? Дорога
Недальняя — так едем? Нет: морока.
Но тут возникла байка о воде.

А было так. Один большой советский
Поэт, сердечный друг наивных лет,
Махнул рукой, как фокусник салфеткой,
И тут же из-под кепочки на свет
С ухмылкой привычно-благородной
Извлек изделие мудрости народной.
Скрывать его не буду.
Вот оно.
Прошу смеяться, если вам смешно.
Шоша — вода хороша,
Лама — вода погана.

Конечно, глупость. Но меня задело.
Да что же это с нами-то творят?
Что говорят?! За дело, брат, за дело, —
Твержу себе который день подряд.
Какою-то там шушерою Шошей
Бесчестить Ламу?
Лама — это Русь!
Костров, возможно, человек хороший,
Но со стишком я лично разберусь.
Довольно странно, чтобы наш народ
Про Ламу говорил наоборот.

Колокола над Ламою звучали!
Волоколамск над Ламою звенит!
А Ярополец — меньше знаменит?
Хоть Пушкина над Ламой не венчали,
Но ей была поэту вручена
Его, заметьте, верная жена,
Наталья Николаевна Гончарова.
Про Шошу ж мы не слышали ни слова.
Иль Шоша, как Земфира, неверна?
И тем-то и хороша для Кострова?

Нет, буду жить на Ламе! Чем не дача?
Но как поедешь? — все прельщает глаз:
Валдай, Мещера, Азия, Кавказ...
А тут еще такая незадача:
Один на диво ушлый ЦРУшник,
Работавший, забыл, не то на нас,
Не то на них, — короче, вор-двурушник,
Поведал мне по пьянке как-то раз,
Секреты фирмы. А точнее: как
Добыть секреты наши за пятак.

Берут пятак. Ну, два, ну, три от силы.
И в магазин «Дом книги» с ним бегут.
Там сроду же бывало карт России,

Но схемки есть. «Мещера». Вери гуд.
Дают пятак кассирше, все законно,
Рассматривают схемку...
Нет, молчу,
Нет, чует мое сердце, получу
За выдачу секретов Пентагона
Такую спецпилюлю пантопона,
Что все болезни разом излечу.

Нет, к черту, не поеду никуда.
На что мне реки, кислая вода?
Пускай на Ламу едет далай-лама,
А мне милей нейтральная среда,
Без этого астрального бедлама.

Нет, мегатонны ваши не про нас.
Купил я эти схемки, все законно,
Так страшно же: куда ни кинешь глаз —
Валдай, Мещера, Азия, Кавказ —
Одна сплошная ядерная зона!
А я семейный. Горожанин я.
Я горожанин. У меня семья.

Другие страны могут без ракет,
И их, смотрю, никто не уничтожил,
А нам — никак? Ну, нет, так значит нет.
Мы, стало быть, особые. Ну, что же.
Ох, родина! Сказал бы е-мое,
Да точки не печатают над ё.

Так я о чем хотел? Об Андижане?
А я там не был. Просто не успел.
Но дед до обожанья прикипел
К нему душой. Не зря же англичане
С адгезией сближают Андижан
И говорят: «адижн».
ad-he-sion.

Адгезия — явление такое,
Что если есть так есть, а нет так нет.
Поэзия — явление другое.
Спасибо за внимание. Привет.

1985

Застолье

Было все только стужей и тьмою
за сияющим кругом стола.
Если кто-то вставал, бахромою
накрывала его полумгла,

если делал хоть шаг из круга,
начинали его поминать,
и среди забывших друг друга
он потом появлялся опять.

Не поверю, что не увижу! —
всех, кто рядом сидел за столом
зимним вечером, к польочи ближе,
в шестьдесят, пятьдесят ли втором, —

когда был я и не был с ними,
и еще не пришел черед
то с одними водить, то с другими
этот медленный хоровод.

* * *

Этот праздник и та еженочная кража
пары новых часов, в коих все достоянье,
бездна, в бездну влекущая, прежняя, та же,
что уже поглощала до содроганья.

Ужас встречи с предшественником по скольженью
в мякоть сна.

Рабский страх расставанья с тюрьмою,
где уютно, как смерть, от себя избавленья.
Это все и всегда называлось тобою.

Это ты, проходящая дрожью по коже,
меж столами проходишь, доступная взглядам.
И ни черточкой на тебя не похожа
та, что все позабыв, просыпается рядом.

Рефлексия

Закинешь сети — вытянешь подлодку,
в любви признаешься — плати десятку,
не то опять отключат телефон.
Семидесятилетнюю молодку
за пьянку, проституцию и взятку
навек условно осудил закон.

Зато какие подросли ребята!
Им никакая не страшна работа,
все, что угодно, могут потушить.
Период полного полураспада
так дорог, что здоровая зевота
трубу любую может заглушить.

1987

Лев СМИРНОВ

Над древней книгой

— Уходили в пустыни... Посто́й, а к чему здесь пески,
Если души вконец испорчились и испоганились?

— Когда некуда деться от горя, от слез, от тоски,
Остается надежда — одна на весь мир — Апокалипсис!

— Уходили в чащобы... Да разве укроешься в них,
Если скалится смерть сквозь незримые дыры озонные?

— Бога нет — вот в чем тайна! И более тайн никаких!
Только хлеб и вино, и усталые мысли казенные.

— Уходили в скитанья... Гремели всесветной хулой
Над вертепом людским... Бога нет! Есть мошенник
отъявленный!

— Подышали бы смрадом, как мы, поскрипели б золой
И попили б водицы из жалкой криницы отравленной!

— Уходили в пещеры... И звали в свидетели ад:
Реки вспять потекут, запылают безумные факелы...

— Иерихонские трубы давно не гремят, а дымят,
И в дыму этих труб задыхаются люди и ангелы.

— Уходили в скиты... И оттуда, из плесенной тьмы,
Нас потопом стращали, всемирным изгарищем адовым.

— Кто спасет этот мир, если наши земные умы
Не по райским тоскуют садам — по реакторам атомным?

— Уходили в мечты... Бога нет? Упаси тебя бог!
Пред святыми Чернобыля все бюрократы покаялись.

— Всё по плану идет! Всё по плану идет, голубок!
И, как видишь, в том плане отсутствует твой
Апокалипсис!

Древний Кетмень

Посмотри на пустыню... К горячим пескам
Верный ключ не нашел до сих пор ты.
Вспомни древний кетмень — ведь по этим местам
Пронеслись ирригаторов орды.
Здесь песчинка песчинку стирает во прах.
Здесь дорога петляет убого.
Вспомни древний кетмень — и нечаянный страх
Водяного пугливого бога.
Зачерпни эту синь и к губам поднеси —
Лишь песок из ладони прольется.
Это тайна пустынь добрела до Руси
И повисла бадьей у колодца.
Это древний кетмень притворился ковшом
Экскаваторным — кровь из аорты...
Это следом за картой и карандашом
Пронеслись ирригаторов орды.
Пронеслись, тишину растревожив опять,
Чтоб во имя земной благостыни
Эти реки у доброго моря отнять
И направить их в жерло пустыни.
Бьется рыба хвостом об аральский песок,
Льются смолы, свершаются кары...
И у Волги самой кровью залит висок
От того кетменя из Сахары.

Баллада волоколамская

Древний, древний, как мир, всем открытый ветрам, перевал...
Что мне в том, что душою печален,
Здесь под пасмурным небом при волоке жил-поживал
В давнем веке один волочанин.

Он богат был избой, и коньком над избой, и конем,
И колодцем средь мхов и кокорин...
Но мой век, но мой страх здесь железом прошел и огнем,
Выжег всю эту бытность под корень.

Всё, что было и жило когда-то: изба, коновязь,
Крест, и мох, и иссохшее тело, —
Поднялось в один миг, поднялось и, во мраке светясь,
Пеплом диким под звезды взлетело.

Опустел этот волок, как нива от злой саранчи,
А ведь был знаменит он когда-то...
В этих нищенских землях копались полвека почти —
Не нашли ни алмазов, ни злата.

Пот людской прошумел здесь, как ливень... Железо людей
Из болота торчит, словно веха...
Можно ль с жизнью шутить? Жизнь вздохнет и с ладони своей,
Как песчинку, сметет человека.

Ничего, ничего не забыла земля,
Под седыми ютятся облаками...
Но не помнит тех лиц и тех рук, что огонь из кремня
По ночам, как судьбу, высекали.

Позабыла она всех, кто нес ей тоску и беду,
Кто кайлом разрывал ее груди.
Промелькнули они перед нею, как будто в бреду —
То ли тени людей, то ли люди.

И лишь помнит земля, пережив и огонь и металл,
В небо звездное глядя ночами, —
Как здесь, богом забытый, при волоке жил-поживал
В давнем веке один волочанин.

И. БАБЕЛЬ

Три рассказа

Среди рукописей И. Бабеля, изъятых при аресте сотрудниками НКВД в июне 1939 года, была и «Великая Криница» — книга рассказов об украинской деревне начала 30-х годов. Известно, что в этот период Бабель неоднократно бывал в местах так называемой «сплошной» коллективизации, например, в Бориспольском районе под Киевом, в селе Великая Старица, оставившем, как он писал родным, «одно из самых резких воспоминаний за всю жизнь». Особый интерес Бабеля вызывали еврейские колхозные колонии на Украине, о чем он сообщил в письме к своему школьному товарищу И. Лившицу 6 марта 1931 года. В результате этих поездок родился замысел книги о коллективизации деревни. Во избежание недоразумений автор в новой работе изменил подлинное название села.

Сохранилось всего два рассказа из написанной книги. Один, «Гапа Гужва», был напечатан «Новым миром» еще при жизни писателя, судьба некоторых других, в свое время анонсированных журналами, неизвестна. Но в семейном архиве О. И. Бродской (Ленинград) чудом уцелела рукопись рассказа «Колывушка». Можно считать, что рассказ практически неизвестен советскому читателю: единственная его публикация состоялась в ташкентском литературно-художественном ежемесячнике «Звезда Востока» (1967, № 3) более двадцати лет тому назад.

Деревенская проза Бабеля — яркая страница в истории отечественной литературы. В числе первых писатель обратился к трагическому опыту насильственной коллективизации. Ломка привычного крестьянского уклада и человеческих судеб потрясла его. С беспощадным реализмом показана в «Колывушке» трагедия раскулачивания середняка. Есть основание считать, что именно с этим рассказом Бабель познакомил редактора «Нового мира» В. Полонского, который записал в своем дневнике 29 июля 1931 года: «Читал рассказ о деревне. Просто, коротко сжато — сильно. Деревня его,

так же как и Конармия, — кровь, слезы, сперма. Его постоянный материал».

Гуманистический характер бабелевской прозы очевиден. И тот факт, что искусство выдающегося мастера слова возвращается к нам, свидетельствует о благотворности происходящих в нашем обществе перемен.

*Сергей Поварцов,
кандидат филологических наук*

Колывушка

(из книги «Великая Старица»)

Во двор Ивана Колывушки вступило четверо — уполномоченный РИКа Ивашко, Евдоким Назаренко, голова сельрады, Житняк, председатель колхоза, только что образовавшегося, и Адриан Моринец. Адриан двигался так, как если бы башня тронулась с места и пошла. Прижимая к бедру переламывающийся холстинный портфель, Ивашко пробежал мимо сараев и вскочил в хату. На потемневших прялках, у окна, сучили нитку жена Ивана и две его дочери, повязанные косынками, с высокими тальмами и чистыми маленькими босыми ногами — они походили на монашек. Между полотенцами и дешевыми зеркалами висели фотографии прапорщиков, учительниц и горожан на даче. Иван вошел в хату вслед за гостями и снял шапку.

— Сколько податку платит? — вертясь, спросил Ивашко.

Голова Евдоким, сунув руки в карманы, наблюдал за тем, как летит колесо прялки.

Ивашко фыркнул, узнав, что Колывушка платит двести шестнадцать рублей.

— Бильше не сдужил?..

— Видно, что не сдужил...

Житняк растянул сухие губы, голова Евдоким все смотрел на прялку. Колывушка, стоявший у порога, мигнул жене: та вынула из-за образов квитанцию и подала уполномоченному РИКа.

— Семфонд?.. — Ивашко спрашивал отрывисто, от нетерпения он ерзал ногой, вдавливая ее в половицы.

Евдоким подвигал глаза и обвел ими хату.

— В этом господарстве, — сказал Евдоким, — все сдано, товарищ представник... В этом господарстве не может того быть, чтобы не сдано...

Беленые стены низким теплым куполом сходились над гостями. Цветы в ламповых стеклах, плоские шкафы, натертые лавки — все отражало мучительную чистоту. Ивашко снялся со своего места и побежал с вихляющим портфелем к выходу.

— Товарищ представник, — Колывушка ступил вслед за ним, — распоряжение мне будет или как?..

— Довидку получишь, — болтая руками, прокричал Ивашко и побежал дальше.

За ним двигался Адриан Моринец, нечеловечески громадный.

Веселый виконавец Тымыш мелькнул у ворот, — вслед за Ивашкой. Тымыш мерил длинными ногами грязь деревенской улицы.

— У чому справа, Тымыш?..

Иван поманил его и схватил за рукав. Виконавец, веселая жердь, перегнулся и открыл пасть, набитую малиновым языком и обсаженную жемчугами.

— Дом твой под реманент забирают...

— А меня?..

— Тебя на высылку...

И журавлиными своими ногами Тымыш бросился догонять начальство.

Во дворе у Ивана стояла запряженная лошадь. Красные вожжи были брошены на мешки с пшеницей. У погнувшейся липы посреди двора стоял пень, в нем торчал топор. Иван потрогал рукой шапку, сдвинул ее и сел. Кобыла подтащила к нему розвальни, высунула язык и сложила его трубочкой. Лошадь была жереба, живот ее отягивался круто. Играя, она ухватила хозяина за ватное плечо и потрепала его. Иван смотрел себе под ноги. Истоптанный снег рябил вокруг пня. Сутулясь, Колывушка вытянул топор, подержал его в воздухе, на весу, и ударил лошадь по лбу. Одно ухо ее отскочило, другое прыгнуло и прижалось; кобыла застонала и понесла. Розвальни перевернулись, пшеница витыми полосами разостлалась по снегу. Лошадь прыгала передними ногами и запрокидывала морду. У сарая она запуталась в зубьях бороны. Из-под кровавой, льющейся завесы вышли ее глаза. Жалуясь, она запела. Жеребенок повернулся в ней, жила вспухла на ее брюхе.

— Помиримось, — протягивая ей руку, сказал Иван, — помиримось, дочка...

Ладонь в его руке была раскрыта. Ухо лошади повисло, глаза ее косили, кровавые кольца сияли вокруг них, шея образовала с мордой прямую линию. Верхняя губа ее запрокинулась в отчаянии. Она натянула шлею и двинулась, таща прыгавшую бороны. Иван отвел за спину руку с топором. Удар пришел между глаз, в рухнувшем животном, еще раз повернулся жеребенок. Описав круг по двору, Иван подошел к сараю и выкатил на волю веялку. Он размахивался широко и медленно, разбивая машину и поворачивая топор в тонком плетении колес и барабана. Жена в высокой тальме появилась на крыльце.

— Маты, — услышал Иван далекий голос, — маты, он все погубляет...

Дверь открылась; из дому, опираясь на палку, вышла старуха в холстинных штанах. Желтые волосы облегли дыры ее щек, рубаха висела, как саван, на плоском ее теле. Старуха вступила в снег мохнатыми чулками.

— Кат, — отнимая топор, сказала она сыну, — ты отца вспомнил?.. Ты братьев, каторжников, вспомнил?..

Во двор набрались соседи. Мужики стояли полукругом и смотрели в сторону. Чужая баба рванулась и завизжала.

— Примись, стерво, — сказал ей муж.

Иван стоял, упершись в стену. Дыхание его, гремя, разносилось по двору. Казалось, он производит трудную работу, вбирая в себя воздух и выталкивая его.

Дядька Кольвушки, Терентий, бегая вокруг ворот, пытался запереть их.

— Я человек, — сказал вдруг Иван окружившим его, — я есть человек, селянин... Неужто вы человека не бачили?..

Терентий, толкаясь и приседая, прогнал посторонних.

Ворота завизжали и съехались. Раскрылись они к вечеру. Из них выплыли сани, туго, с перекатом, уложенные добром. Женщины сидели на тюках, как ооченевшие птицы. На веревке, привязанная за рога, шла корова. Воз проехал краем села и утонул в снежной плоской пустыне. Ветер мел снизу и стонал в этой пустыне, рассыпая голубые валы. Жестяное небо стояло за ними. Алмазная сеть, блестя, оплетала небо.

Кольвушка, глядя прямо перед собой, прошел по улице к сельраде. Там шло заседание нового колхоза «Видрождення». За столом распластался горбатый Житняк.

— Перемена нашей жизни, в чем она есть, ця перемена?

Руки горбуна прижимались к туловищу и снова уносились.

— Селяне, мы переходим к молочно-огородному направлению, тут громаднейшее значение... Батьки и деды наши топтали чоботами клад, в настоящее время мы его вырываем. Разве это не позор, разве ж то не ганьба, что, существуя в яких-нибудь шестидесяти верстах от центрального нашего миста — мы не поладили господарства на научных данных? Очи наши были затворены, селяне, утекать мы утекали сами от себя... Что такое обозначает шестьдесят верст, кому это известно?.. В нашей державе это обозначает час времени, но и цей малый час есть человеческое наше имущество, есть драгоценность...

Дверь сельрады раскрылась. Кольвушка в литом полушубке и высокой шапке прошел к стене. Пальцы Ивашки запрыгали и врылись в бумаги.

— Посбавленных права голоса, — сказал он, глядя вниз на бумаги, — прохаю залишить наши сборы...

За окном, за грязными стеклами, разливался закат, изумрудные его потоки. В сумерках деревенской избы в сыром дыму махорки слабо блестели искры. Иван снял шапку, корона черных его волос развалилась.

Он подошел к столу, за ксторым сидел президиум, — батрачка Ивга Мовчан, голова Евдоким и безмолвный Адриян Моринец.

— Мир, — сказал Кольвушка, протянул руку и положил на стол связку ключей, — я увольняюсь от вас, мир...

Железо, прозвенев, легло на почернелые доски. Из тьмы вышло искаженное лицо Адрияна.

— Куда ты пойдешь, Иване?..

— Люди не приймают, может, земля примет...

Иван вышел на цыпочках, ныряя головой.

— Номер, — взвизгнул Ивашко, как только дверь закрылась за

ним, — самая провокация... Он за обрезом пошел, он никуда кроме как за обрезом не пойдет...

Ивашко застучал кулаком по столу. К устам его рвались слова о панике и о том, чтобы соблюдать спокойствие. Лицо Адрияна снова втянулось в темный угол.

— Не, — сказал он из тьмы, — мабуть не за обрезом, представник.

— Маю пропозицию... — вскричал Ивашко.

Предложение состояло в том, чтобы нарядить стражу у Колывушкиной хаты. В стражники выбрали Тымыша, виконавца. Гримасничая, он вынес на крыльцо венский стул, развалился на нем, поставил у ног своих дробовик и дубинку. С высоты крыльца, с высоты деревенского своего трона Тымыш перекликался с девками, свистал, выл и постукивал дробовиком. Ночь была лиловая, тяжела, как горный цветной камень. Жилы застывших ручьев пролегали в ней; звезда спустилась в колодцы черных облаков.

Наутро Тымыш донес, что происшествий не было. Иван ночевал у деда Абрама, у старика, заросшего диким мясом. С вечера Абрам протащился к колодцу.

— Ты зачем, диду Абрам?..

— Самовар буду ставить, — сказал дед.

Они спали поздно. Над хатами закурился дым; их дверь все была затворена.

— Смылся, — сказал Ивашко на собрании колхоза, — заплачем, чи шо... Как вы мыслите, селяне?..

Житняк, раскинув по столу трепещущие острые локти, записывал в книгу приметы обобщественных лошадей. Горб его отбрасывал движущую тень.

— Чем нам теперь глотку запхнешь, — разглагольствовал Житняк между делом, — нам теперь все на свете нужно... Дождевиков искусственных надо, распашников надо пружинных, трактора, насоса... Это есть ненасытность, селяне... Вся наша держава есть ненасытная...

Лошади, которых записывал Житняк, все были гнедые и пегие, по именам их звали «мальчик» и «жданка». Житняк заставлял владельцев расписываться против каждой фамилии.

Его прервал шум, глухой и дальний топот... Прибой накатывался и плескал в Великую Старицу. По разломившейся улице повалила толпа. Безногие катились впереди нее. Невидимая хоругвь реяла над толпой. Добежав до сельрады, люди сменили ноги и построились. Круг обнажился среди них, круг вздыбленного снега, пустое место, как оставляют для попа во время крестного хода. В кругу стоял Колывушка в рубахе навыпуск под жилеткой, с белой головой. Ночь посеребрила цыганскую его корону, черного волоса не осталось в ней. Хлопья снега, слабые птицы, уносимые ветром, пронеслись под потеплевшим небом. Старик со сломанными ногами, подавшись вперед, с жадностью смотрел на белые волосы Колывушки.

— Скажи, Иване, — поднимая руки, произнес старик, — скажи народу, что ты маешь на душе...

— Куда вы гоните меня, мир, — прошептал Кольвушка, озираясь, — куда я пойду... Я рожденный среди вас, мир...

Ворчанье проползло в рядах. Разбрасывая людей, Моринец выбрался вперед.

— Нехай робит, — вопль не мог вырваться из могучего его тела, низкий голос дрожал, — нехай робит... Чью долю он заест?..

— Мою, — сказал Житняк и засмеялся. Шаркая ногами, он подошел к Кольвушке и подмигнул ему.

— Цию ночку я с бабой переспал, — сказал горбун, — как вставать — баба оладий напекла, мы, как кабаны, нашамались с нею, аж газ пущали...

Горбун умолк, смех его оборвался, кровь ушла из его лица.

— Ты к стенке нас ставить пришел, — сказал он тише, — ты тиранишь нас пришел — белой своей головой, мучить нас — только мы не станем мучиться, Ваня... Нам это — скука в настоящее время — мучиться.

Горбун придвигался на тонких вывороченных ногах. Что-то свистело в нем, как в птице.

— Тебя убить надо, — прошептал он, догадавшись, — я за пистолью пойду, уничтожу тебя...

Лицо его просветлело, радуясь, он тронул руку Кольвушки и кинулся в дом за дробовиком Тымыша. Кольвушка, покачавшись на месте, двинулся. Серебряный свиток его головы уходил в клубящемся полете хат. Ноги его путались, потом шаг стал тверже. Он повернул по дороге на Ксеньевку. С тех пор никто не видел его в Великой Старице.

Весна 1930 г.

Сказка про бабу

Жила-была баба, Ксенией звали. Грудь толстая, плечи круглые, глаза синие. Вот какая баба была. Кабы нам с вами!

Мужа на войне убили. Три года баба без мужа прожила, у богатых господ служила. Господа на день три раза горячее требовали. Дровами не топили никак, — углем. От углей жар невыносимый, в углях огненные розы тлеют.

Три года баба для господ готовила и честная была с мужчинами. А грудь-то пудовую куда денешь? Вот подите же!

На четвертый год к доктору пошла, говорит:

— В голове у меня тяжко: то огнем полыхает, а то слабну...

А доктор возьми и ответь:

— Нешто у вас на дворе мало парней бегают? Ах ты, баба...

— Не осмелиться мне, — плачет Ксения: — нежная я...

И верно, что нежная. Глаза у Ксении синие с горьковатой слезой.

Старуха Морозиха тут все дело спроворила.

Старуха Морозиха на всю улицу повитуха и знахарка была. Такие до бабьего чрева безжалостные. Им бы пировать, а там хоть трава не расти.

— Я, — grit, — тебя, Ксения, обеспечу. Суха земля потрескалась. Ей божий дождик надобен. В бабе грибок ходить должен, сырой, вонюченький.

И привела. Валентин Иванович называется. Неказист, да затейлив — умел песни складать. Тела никакого, волос длинный, прыщи радугой переливаются. А Ксении бугай, что ли нужен? Песни складает и мужчина — лучше во всем мире не найти. Напекла баба блинов со сто, пирог с изюмом. На кровати у Ксении три перины наложены, а подушек шесть, все пуховые, — катая, Валя!

Приспел вечер, сбилась компания в комнатенке за кухней, все по стопке выпили. Морозиха шелковый платочек надела, вот ведь какая почтенная. А Валентин бесподобные речи ведет:

— Ах, дружок мой Ксения, заброшенный я на этом свете человек, замордованный я юноша. Не думайте обо мне как-нибудь легкомысленно. Придет ночь со звездами и с черными веерами — разве выразишь душу в стихе? Ах, много во мне этой застенчивости...

Слово по слово. Выпили, конечно, водки две бутылки полных, а вина и все три. Много не говорить, а пять рублей на угощение пошло — не шутка!

Валентин мой румянец получил прямо коричневый и стихи скazuje таково зычно.

Морозиха от стола тогда отодвинулась.

— Я, — говорит, — Ксеньюшка, отнесусь, господь со мной, — про- меж вас любовь будет. Как, — говорит, — вы на лежанку ляжете, ты с него сапоги сними. Мужчины, — на них не настираешься...

А хмель-то играет. Валентин себя как за волосы цапнет, крутит их.

— У меня, — говорит, — виденья. Я как выпью, — у меня виденья. Вот вижу я — ты, Ксения, мертвая, лицо у тебя омерзительное. А я поп — за твоим гробом хожу и кадиллом помахиваю.

И тут он, конечно, голос поднял.

Ну, не больше чем женщина, она-то само собой уже и кофточку невзначай растегнула.

— Не кричите, Валентин Иванович, — шепчет баба, — не кричите, хозяева услышат...

Ну, рази остановишь, когда ему горько сделалось?

— Ты меня вполне обидела, — плачет Валентин и качается, — ах, люди — змеи, чего захотели, душу купить захотели... Я, — grit, — хоть и незаконнорожденный, да дворянский сын... видала, кухарка?

— Я вам ласку окажу, Валентин Иванович...

— Пусти.

Встал и дверь распахнул.

— Пусти. В мир пойду.

Ну, куда ему итти, когда он, голубь, пьяненький. Упал на постелю, обрыгал, извините, простыни и заснул раб божий.

А Морозиха уж тут.

— Толку не будет, — говорит, — вынесем.

Вынесли бабы Валентина и положили его в подворотне. Воротилась, а хозяйка ждет уже в чепце и в богатейших кальсонах; кухарке своей замечание сделала.

— Ты по ночам мужчин принимаешь и безобразишь тоже самое. Завтра утром получи вид и прочь из моего честного дома. У меня, — говорит, — дочь-девица в семье...

До синего рассвета плакала баба в сенцах, скулила:

— Бабушка Морозиха, ах, бабушка Морозиха, что ты со мной, с молодой бабой исделала? Себя мне стыдно и как я глаза на божий свет подыму, и что я в ем, в божьем свете увижу?..

Плачет баба, жалуется, среди изюмных пирогов сидючи, среди снежных пуховиков, божьих лампад и виноградного вина. И теплые плечи ее колышутся.

— Промашка, — отвечает ей Морозиха, — то попроче надобен, нам Митюху бы звать...

А утро завело уж свое хозяйство. Молочницы по домам уж ходят. Голубое небо с изморозью.

1923 г.

Ходя

Неумолимая ночь. Разящий ветер. Пальцы мертвеца перебирают обледенелые кишки Петербурга. Багровые аптеки стынют на углах. Фармацевт уронил набок расчесанную головку. Мороз взял аптеку за фиолетовое сердце. И сердце аптеки издохло.

Никого на Невском. Чернильные пузыри лопаются в небе. Два часа ночи. Конец. Неумолимая ночь.

Девка и личность сидят на перилах кафе Бристоль. Две скулящие спины. Две иззябшие вороны на голом кусте.

— ...Ежели волей сатаны вы наследуете усопшему императору, — то ведите за собой народные массы, матереубийцы... Но, шалишь... Они держатся на латышах, а латыши — это монгол, Глафира!..

У личности по обеим сторонам лица висят щеки, как мешки старьевщика. У личности в порыжелых зрачках бродят раненые коты.

— ...Христом молю вас, Аристарх Терентьич, отойдите на Надеждинскую. Когда я с женщиной — кто же познакомится?

Китаец в кожаном проходит мимо. Он поднимает буханку хлеба над головой. Он отмечает голубым ногтем линию на корке. Фунт. Глафира поднимает два пальца. Два фунта.

Тысяча пил стонет в окостенелом снегу переулка. Звезда блестит в чернильной тверди.

Китаец, остановившись, бормочет сквозь стиснутые зубы:

— Ты грязный, э?

— Я чистенькая, товарищ...

Фунт.

На Надеждинской зажигаются зрачки Аристарха.

— Милый, — уже хрипло говорит девка, — со мной папаша крестный... Ты разрешишь ему поспать у стенки?..

Китаец медлительно кивает головой. О, мудрая важность Востока!

— Аристарх Терентьич, — прижимаясь к струящемуся кожаному плечу, кличет девка небрежно, — мой знакомый просит вас до себе в компанию...

Личность полна оживления.

— По причинам от дирекции не зависящим — не у дел., — шепчет она, играя плечами, — а было прошлое с кое-какой начинкой. Именно. Весьма лестно познакомиться. — Шереметев.

В гостинице им дали ханжи и не потребовали денег.

Поздно ночью китаец слез с кровати и пошел во тьму.

— Куда, — просипела Глафира, суча ногами. Под спиной у нее натекло пятно от пота.

Китаец подошел к Аристарху, всхрапывавшему на полу у рукомоЙника. Он тронул старика за плечо и показал глазами на Глафиру.

— Отчего же, Васюк, — пролепетал с полу Аристарх, — ты обязательный, право, — и мелким шажком побежал к кровати.

— Уйди, пес, — сказала Глафира, — убил меня твой китаец.

— Она не слушается, Васюк, — прокричал Аристарх поспешно, — ты приказал, а она не слушается...

— Мы друг, — сказал китаец. — Он — можна. Э, стерфь...

— Вы пожилые, Аристарх Терентьич, — прошептала девушка, укладывая к себе старика, — а какое у вас понятие?

Точка.

1918 г.

Крохотные рассказы

Кельн, 18 мая 1989

Главному редактору журнала «Новый мир»
Сергею Павловичу Залыгину
Москва

Дорогой Сергей Павлович!

Мы узнали о Ваших затруднениях с публикацией отрывков из произведений Солженицына. С тех пор как мы от Вас и Ваших коллег услышали, что готовится публикация частей произведений Солженицына, потому что прекратилось преследование писателей-еретиков, уже немало воды утекло по Рейну и по реке Москве, но до сих пор ничего не сделано в этом направлении. Мы спрашиваем себя, что происходит за кулисами и кто Вам мешает? Не правильнее было бы в такой ситуации начать с маленьких шагов и по крайней мере опубликовать некоторые из «Крохотных рассказов», что мы и предлагаем Вам в этом письме. Решение больших проблем чаще всего начинается с маленьких шагов.

Мы, конечно, понимаем, что преодоление прошлого для Вашей страны дело нелегкое, которое от каждого гражданина на каждом шагу требует немало гражданской смелости. Силы, которые заинтересованы в продолжении настоящих и затушевывании прошлых несправедливостей, не могут исчезнуть за одну ночь. Теперь мир с ожиданием смотрит на Вас и считает Ваше решение в этом деле пробным камнем политики перестройки. По Вашим поступкам будет видно, кто в Вашей стране действительно у власти. Если случится так, что и в дальнейшем будет возможно предавать анафеме честных людей, то это будет свидетельством того, что перестройка терпит поражение. Мир лишился бы еще одной надежды. В настоящее время выдающийся труд лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына скрывается от советского народа, таможенные служащие и пограничные войска роятся в чемоданах приезжающих гостей в поиске его книг. Даже та маленькая часть его произведений, которая в свое время во время оттепели была пропущена цензурой и опубликована в СССР, у Вас не включена в историю литературы и почти не упоминается в официальных дискуссиях. Нас поражает противоречие, что в советских публикациях теперь восстанавливается имя и честь многих писателей и художников, которые при Сталине и Брежнев были подвержены опале, а творчество писателя, который больше других боролся против несвободы, не разрешено обсуждать. В опубликованной в Вашем журнале статье Золотоусского «Крушение абстракций» он ни разу не упоминается, хотя именно он дал решающий удар этим абстракциям. Говорят, что нет половины беременности, женщина или беременна или небеременна. Также нет и полсвободы, полнауки, полсправедливости. Суть справедливости в равенстве. Ее нет, если она не распространяется на все подобные случаи, если некоторые невинно преследуемые реабилитированы, а остальные нет. Поэтому случай с нашим коллегой, лауреатом Нобелевской

премии, которого в скандальной обстановке лишили членства в Союзе писателей, советского гражданства, а потом противозаконно выдворили из пределов СССР, требует положительного решения. «У лжи короткие ноги», говорит немецкая пословица. В истинности этой немецкой поговорки в наши дни маловероятно убеждает разоблачение преступлений прошлого. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Поэтому нам непонятна Ваша медлительность в отношении к решению вопроса о Солженицыне, дорогой Сергей Павлович.

Творчество Солженицына не может быть спрятано навсегда от советского народа. Тем более что везде в современном мире Солженицын уже стал самым читаемым и обсуждаемым писателем, везде, кроме его родины — СССР, Северной Кореи и некоторых других стран. Скоро все те, кто препятствует публикации произведений Солженицына, будут пригвождены к позорному столбу. А тех, кто не имел достаточно мужества, чтобы вступить за справедливость, будут презирать. Многие теперь стыдятся перед своими детьми за свое поведение в случаях с Б. Пастернаком, О. Мандельштамом, А. Ахматовой. Если Вы сегодня не примете меры, это будет и ваша участь. А упреки в Ваш адрес будут строже, потому что сейчас нельзя уже говорить, что Вы так поступили из страха, так как время сейчас совсем другое. Между тем книги Солженицына вопреки всем запретам уже возвращаются в Вашу страну, в руки тех, для которых они были написаны. Это происходит с неумолимостью естественного процесса, как недавно заметил один из более дальновидных Ваших коллег. Однако это происходит при обстоятельствах, которые позорят культурную нацию. Нехорошо, что в Советском Союзе теперь распространяется «Архипелаг Гулаг» в фотокопиях западных изданий. Советский человек, который держит в руках такую фотокопию и прячет ее от любопытных глаз, завертывая ее в страницы газеты «Правда», не может думать, что он гражданин свободной страны и что перестройка и гласность стали реальностью.

Давление Солженицына на дамы, закрывающие ему путь к народу, еще возросло после окончания его монументальной книги о русской истории — «Красное колесо». Русский человек найдет путь к этой книге, минуя таможенные запреты, потому что он уже знает, что история, которую он изучал в школе, ложь. Он уже слышал, что в произведениях Солженицына он найдет не только неизвестные ему факты, но и новый взгляд на эти факты. Может быть, люди скоро убедятся, что, не прочитав «Красное колесо», невозможно понять Октябрьскую революцию, как невозможно понять Великую Отечественную войну 1912 года без романов «Война и мир» и «Анна Каренина». Как будут выглядеть тогда те, кто до последней минуты пытался скрывать «Красное колесо» от советского народа.

И с точки зрения международных интересов Вашей страны, дорогой Сергей Павлович, не может быть отложено устранение позорной ситуации. Факт, что самый читаемый во всем мире советский автор считается несуществующим в своей стране, все время ставит представителей Вашей культуры при общении с зарубежными коллегами в затруднительное и стыдное положение, так как они должны отвечать на вопросы, по которым у них официально не может быть никакой информации. А признаваться в том, что читали Солженицына как будто незаконно или в незнании, очень неудобно. Нередки случаи, когда советские литературоведы и работники культуры во время их пребывания за рубежом стараются быстро и втайне друг от друга прочесть «В круге Первом» и «Красное колесо», так как после возвращения на родину у них не будет этой возможности.

Затруднения для культурного сотрудничества встречаются и в других случаях, когда, например, соавторы сборника произведений советской литера-

туры для немецких школьников отказываются от включения в сборник таких безобидных «крохотных» рассказов Солженицына как «Утенок», «Город на Неве», «Приступая к дню», используя аргумент, что это их «ставит под удар». Какой позор для страны, если человек ставится под удар из-за утенка. Как можем мы при таких условиях сотрудничать и совместно издавать книги? Что делать? Допустить, чтобы Ваша цензура распространялась и на наши школы? Невозможно. Отказываться от сотрудничества с советскими коллегами? Этого тоже не должно быть. Что делать?

В этой связи Вам будет интересно, что в одном таком случае советским коллегой использовался аргумент, что нельзя рисковать, пока Залыгину, который об этом уже давно объявил, не дали зеленую улицу для публикации произведений Солженицына. Советские люди, очевидно, сомневаются, могут ли они свободно обращаться к литературе. Они думают, что Солженицын и другие, которым не «дана зеленая улица», вне закона, а подтверждением всего этого для них является позиция «Нового мира». Нам неясно, как может при таких обстоятельствах развиваться свободная инициатива, в которой так нуждается ваша страна, чтобы довести до успешного конца начатые реформы. Дорогой Сергей Павлович! Мы предполагаем, что Вы не нуждаетесь в наших аргументах, чтобы понять ответственность, которая лежит на Вас в настоящей ситуации. Мы обращаемся к Вам, чтобы предложить Вам нашу поддержку и солидарность и просим Вас опубликовать хотя бы некоторые из маленьких рассказов Солженицына, фотокопии которых мы прилагаем к нашему письму. Ваше решение будет моральной поддержкой малодушным и неверующим. Своим решением Вы покажете всему миру, что в Вашей стране кончилось преследование «еретиков», сомневавшихся в благоразумии давно уже опозорившихся блюстителей старого порядка. Мы хотим Вас поставить в известность, что копию этого письма мы направим А. Солженицыну и всем известным нам советским писателям, которые публично выступили за публикацию произведений Солженицына, руководству Союза писателей СССР и дирекции Института мировой литературы. Мы намерены также обратиться с копией этого письма ко всем нашим советским и иностранным коллегам, с которыми Вы и некоторые из нас сотрудничали на московском форуме «За выживание человечества» в 1987 году, а также к участнику форума Генеральному Секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву. Судя по всему, что звучало на форуме, Вы должны быть уверены в поддержке с этой стороны. Но в этом не будет необходимости, если «Новый мир» опубликует по крайней мере крохотные рассказы. Тогда лед тронется.

С дружественным приветом.

Ваши коллеги, члены ПЕН-клуба ФРГ

От редакции

Публикуемое выше письмо немецких писателей, членов ПЕН-клуба ФРГ, адресовано писателю Сергею Залыгину, но обращено оно ко всем советским писателям, которые «публично выступили за публикацию произведений Солженицына».

И правда, мы восстановили и продолжаем восстанавливать в литературе десятки имен известных писателей, в разные годы репрессированных властями, а имя великого нашего соотечественника, который одним из первых рассказал на весь мир правду о страшных преступлениях сталинизма и пережитой нашим народом трагедии, остается за пределами наших газет и книг.

Кому-то очень не хочется, чтобы известные всему миру произведения стали достоянием советского читателя, чтобы стала известной правда о том, что же с нами в те времена произошло.

Не трудно понять, кому может мешать публикация произведений Солженицына. Еще много людей, скрытно осуществляющих политику тормозов в отношении перестройки, хотя на словах они ее поддерживают. Такие люди есть и в аппарате власти, и в той части, которая всегда находилась в их железных руках — сфере идеологии. Никак они не могут смириться с положением, что их диктат, слава Богу, закончился, и никто не может больше разрешать или не разрешать какие-то произведения, устанавливать единую систему контроля над литературой и искусством.

Мы верим, что Солженицын, как и другие бывшие под запретом писатели, будет напечатан, причем весь, без каких-либо ограничений.

* * *

Письмо из Кельна пришло в Москву в конце мая. Тогда же сдавалась в производство и наша книга...

Как же быстро движется время. Минуло всего несколько месяцев, а столько перемен в нашей литературной жизни — да и кругом. Отменены позорные решения об исключении Александра Солженицына из Союза писателей СССР, начались публикации его произведений. У себя на родине печатаются многие другие русские писатели, отлученные ранее от родной литературы.

Именно такой справедливости добивались члены движения «Апрель», что и было зафиксировано в наших резолюциях.

Но сделаны лишь первые шаги. Впереди еще много работы. Поэтому мы поддерживаем своих коллег из немецкого ПЕН-клуба в их желании увидеть на страницах печати «Крохотные рассказы», которые мы читали в рукописи еще в далекие шестидесятые годы. Представляем их читателю.

Дыхание

Ночью был дождик, и сейчас переходят по небу тучи, изредка брызнет слегка.

Я стою под яблоней, отцветающей — и дышу.

Не одна яблоня, но и травы вокруг сочают после дождя — и нет названия тому сладкому духу, который напаивает воздух. Я его втягиваю всеми легкими, ощущаю аромат всей грудью, дышу, дышу, то с открытыми глазами, то с закрытыми — не знаю, как лучше.

Вот, пожалуй, та воля — та единственная, но самая дорогая воля, которой лишает нас тюрьма: дышать так, дышать здесь. Никакая еда на земле, никакое вино, ни даже поцелуй женщины не слаще мне этого воздуха, этого воздуха, напоенного цветением, сыростью, свежестью.

Пусть это — только крохотный садик, сжатый звериными клетками пятиэтажных домов.

Я перестаю слышать стрельбу мотоциклов, завывание радиол, бубны громкоговорителей. Пока можно еще дышать после дождя под яблоней — можно еще и пожить!

Озеро Сегден

Об этом озере не пишут и громко не говорят. И заложены все дороги к нему, как к волшебному замку, над всеми дорогами висит знак запретный, простая немая черточка.

Человек или дикий зверь, кто увидит эту черточку над своим путем — поворачивай! Эту черточку ставит земная власть. Эта черточка значит: ехать нельзя и лететь нельзя, идти нельзя и ползти нельзя.

А близ дорог в сосновой чаще сидят в засаде постовые с турками и пистолетами.

Кружишь по лесу молчаливому, кружишь, ищешь, как просочиться к озеру — не найдешь, и спросить не у кого: напугали народ, никто в том лесу не бывает. И только вслед глуховатому коровьему колокольчику проберешься скотьей тропой в час полуденный, в день дождливый. И едва проблеснет тебе оно, громадное, меж стволов, еще ты не добежал до него, а уж знаешь: это местечко на земле излюбишь ты на весь свой век.

Сегденское озеро — круглое, как циркулем вырезанное. Если крикнешь с одного берега (но ты не крикнешь, чтоб тебя не заметили) — до другого только эхо размытое дойдет.

Далеко. Обомкнуто озеро прибрежным лесом. Лес ровен, дерево в дерево, не уступит ни ствола. Вышедшему к воде, видна тебе вся окружность замкнутого берега: где желтая полоска песка, где серый камышок ошетинился, где зеленая мурава легла. Вода ровная-ровная, гладкая без ряби, кой-где у берега в ряске, а то прозрачная белая — и белое дно.

Замкнутая вода. Замкнутый лес. Озеро в небо смотрит, небо —

в озеро. И есть ли еще что на земле — неведомо, поверх леса — не видно. А если что и есть — оно сюда не нужно, лишнее.

Вот тут бы и поселиться навсегда... Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли.

Нельзя. Лютый князь, злодей косоглазый, захватил озеро: вон дача его, купальня его. Злоденята ловят рыбу, бьют уток с лодки. Сперва синий дымок над озером, а погода — выстрел.

Там, за лесами, горбит и тянет вся окружающая область. А сюда, чтоб никто не мешал им, — закрыты дороги, здесь рыбу и дичь разводят особо для них. Вот следы: кто-то костер раскладывал, притушили вначале и выгнали.

Озеро пустынное. Милое озеро.

Родина...

Прах поэта

Теперь деревня Льгово, а прежде древний город Ольгов стал на высоком обрыве над Окою: русские люди в те века после воды, питьевой и бегучей, второй облюбовали красоту.

Ингварь Игоревиц, чудом спасшийся от братних ножей, во спасение свое поставил здесь монастырь Успенский.

Через пойму и пойму в ясный день далеко отсюда видно, и за тридцать пять верст на такой же крути — колокольня высокая монастыря Иоанна Богослова.

Оба их пощадил суеверный Батый.

Это место, как свое единственное, приглядел Яков Петрович Полонский и велел похоронить себя здесь. Всё нам кажется, что дух наш будет летать над могилой и озираясь на тихие просторы.

Но — нет куполов, и церквей нет, от каменной стены половина осталась и достроена дощатым забором с колючей проволокой, а над всей древностью — вышки, пугала гадкие, до того знакомые... до того знакомые... в воротах монастырских — ВАХТА. Плакат: «За мир между народами!» — русский рабочий держит на руках африканка.

Мы — будто ничего не понимаем. И меж барачков охраны выходной надзиратель в нижней сорочке объясняет нам:

— Монастырь тут был, в мире второй. Первый в Риме, кажется, а в Москве — уже третий. Когда детская колония здесь была, так мальчишки, они не разбираются, все стены изгадили, иконы побили. А потом колхоз купил обе церкви за сорок тысяч рублей — на кирпичи, хотел шестирядный коровник строить. Я тоже нанимался: пятьдесят копеек платили за целый кирпич, двадцать за половину. Только плохо кирпичи разнимались: всё комками с цементом. Под церковью склеп открылся, архиерей лежал, сам — череп, а мантия целая. Вдвоем мы ту мантию рвали, порвать не могли...

— А вот скажите, тут по карте получается могила Полонского, поэта. Где она?

— К Полонскому нельзя. — Он в зоне. Нельзя к нему. Да что там смотреть? Памятник ободранный? Хотя постой, — надзиратель поворачивается к жене, — Полонского-то вроде выкопали?

— Ну. В Рязань увезли, — кивает жена с крылечка, щелкая семечки.

Надзирателю самому смешно:

— Освободился, значит...

Утенок

Маленький, желтый утенок, смешно припадая к мокрой траве беловатым брюшком и чуть не падая с тонких своих лапок, бегаёт передо мной и пищит: «где моя мама? где мои все?»

А у него не мама вовсе, а курица: ей подложили утиных яиц, она их высидела между своими, грела, ровно всех.

Сейчас перед непогодой их домик — перевернутую корзину без дна, отнесли под навес, накрыли мешковиной. Все там, а этот затерялся. А ну-ка, маленький, иди ко мне в ладони.

И в чем тут держится жизнь? Не весит нисколько, глазки черные — как бусинки, лапки — воробьиные, чуть-чуть его сжать — и нет.

А между тем — тепленький. И клювик его бледно-розовый, как наманикюренный, уже разлапист. И ножки уже перепончатые, и желт в свою масть, и крыльца пушистые уже выпирают. И вот даже от братьев отличился характером.

А мы — мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмемся — за двадцать минут целый мир перепашем.

Но никогда! никогда, со всем нашим атомным могуществом мы не составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать — не смонтируем вот этого невесомого, маленького, жалконького, желтенького утенка...

Отражение в воде

В поверхности быстрого потока не различить отражений ни близких, ни далеких: даже если не мутен он, даже если свободен от пены — в постоянной струйчатой ряби, в неугомонной смене воды отражения неверны, неотчетливы, непонятны.

Лишь когда поток через реки и реки доходит до спокойного широкого устья, или в заводи остановившейся, или в озерке, где волна не продрогнет — лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый листик прибрежного дерева, и каждое перышко тонкого облака, и налитую голубую глубь неба.

Так и ты, так и я. Если до сих пор никак не увидим, все никак не отразим бессмертную чеканную истину — не потому ли, значит, что еще движемся куда-то? Еще живем?...

Город на Неве

Преклоненные ангелы со светильниками окружают византийский купол Исаакия.

Три золотых граненых шпиля перекликаются через Неву и Мойку. Львы, грифоны и сфинксы там и здесь оберегают сокровища или дремлют. Скачет шестерка Победы над коварной кривою аркою России. Сотни портиков, тысячи колонн, вздыбленные лошади, удирающиеся быки...

Какое счастье, что здесь уже ничего нельзя построить! — ни кондитерского небоскреба втиснуть в Невский, ни пятиэтажную коробку слепить у канала Грибоедова. Ни один архитектор, самый чиновный и бездарный, употребив свое влияние, не получит участка под застройку ближе Черной речки или Охты.

Чуждое нам — и наше самое славное великолепие! Такое наслаждение бродить теперь по этим проспектам! Но стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили русские эту красоту. Косточки наших предков слежались, сплавившись, окаменели в дворцы — желтоватые, бурые, шоколадные, зеленые.

Страшно подумать — так и наши нескладные гиблые жизни, все взрывы нашего несогласия, стоны расстрелянных и слезы жен — всё это тоже забудется начисто? Всё это тоже даст вот такую законченную вечную красоту?

Костер и муравьи

Я бросил в костер гнилое бревнышко, не досмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями.

Затрепало бревно, вывалили муравьи и в отчаянии забегали. Забегали по верху и корежились, сгорая в пламени. Я зацепил бревнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались — бежали на песок, на сосновые иглы.

Но странно: они не убегали от костра.

Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились и — какая-то сила влекла их назад, к покинутой Родине! — и были многие такие, кто опять взбегали на горящее бревнышко, метались по нему и погибали там.

Приступая ко дню

На восходе солнца выбежало тридцать молодых на поляну, расставились в разрядку все лицом к солнцу и стали нагибаться, приседать, кланяться, ложиться ниц, простирать руки, воздевать руки, запрокидываться с колен. И так — четверть часа.

Издали можно было представить, что они молятся.

Никого в наше время не удивляет, что человек каждодневно служит терпеливо и внимательно телу своему.

Но оскорблены были бы, если бы так служил он своему духу. Нет, это не молитва. Это — зарядка.

Гроза в горах

Она застала нас в непроглядную ночь перед перевалом. Мы вылезли из палаток — и затаились.

Она шла к нам через Хребет.

Всё было — тьма, ни верха, ни низа, ни горизонта. Но вспыхивала раздирающая молния, и отделялась тьма от света, выступали исполины горы Белолакая и Джугутурлючат, и черные сосны многометровые около нас ростом с горы. И лишь на мгновение показывалось нам, что есть уже твердая земля — и снова всё было мрак и бездна.

Вспышки надвигались, чередовались блеск и тьма, сиянье белое, сиянье розовое, сиянье фиолетовое, и все на тех же местах выступали горы и сосны, поражая своей величиной — а когда исчезали, нельзя было поверить, что они есть.

Голос грома наполнил ущелья, и не слышен стал постоянный рев рек. Стрелами Саваофа молнии падали сверху в Хребет, и дробились в змейки, в струйки, как бы разбрызгиваясь о скалы или поражая и разбрызгивая там что живое.

И мы... мы забыли бояться молнии, грома и ливня — подобно капле морской, которая не боится ведь урагана. Мы стали ничтожной благодарной частицей этого мира. Этого мира, в первый раз создававшегося сегодня — на наших глазах.

Вязовое бревно

Мы пилили дрова, взяли вязовое бревно — и вскрикнули: с тех пор, как ствол в прошлом году срезали, и тащили трактором, и распилили его на части, и кидали в баржи и кузова, и накатывали в штабеля, и сваливали на землю — а вязовое бревно не сдалось!

Оно пустило из себя свежий росток — целый будущий вяз или ветку густошумящую.

Уже бревно положили мы на козла, как на плаху, но не решались врезаться в шею пилой: как же пилить его? Ведь оно тоже жить хочет! Ведь вот как оно хочет жить — больше нас!

Шарик

Во дворе у нас один мальчик держит песика Шарика на цепи — кутенком его посадили с детства.

Понес я ему однажды куриные кости, еще теплые, пахучие, а тут как раз мальчик спустил беднягу побегать по двору. Снег во дворе

пушистый, обильный. Шарик мечется прыжками, как заяц, то на задние лапы, то на передние, из угла в угол двора, из угла в угол, и морда в снегу.

Подбежав ко мне, лохматый, меня опрыгал, кости понюхал — и прочь опять, брюхом по снегу!

Не надо мне, мол, ваших костей — дайте только свободу!

На родине Есенина

Четыре деревни одна за другой однообразно вытянуты вдоль улицы. Садов нет. Нет близко и леса. Хилые палисаднички. Кой-где грубо-яркие цветные наличники. Многопудовая царственная свинья посреди улицы чешется о водопроводную колонку. Мерная вереница гусей разом обертывается вслед промчавшейся велосипедной тени и шлет ей дружный воинственный клич. Деятельные куры раскапывают улицу и зады, ища себе корму.

На хилый курятник похожа магазинная будка села Константинова. Селедка. Всех сортов. Конфеты — подушечки слипшиеся, каких уже пятнадцать лет нигде не едят. Черных буханок булыги, увесистей вдвое, чем в городе, не ножу, а топору под стать.

В избе Есениных — убогие перегородки не до потолка, чуланчики, клетушки, даже комнатой не назовешь ни одну. В огороде — слепой сарайчик, да банька стояла прежде, сюда в темень забирался Сергей и складывал первые стихи. За пряслами — обыкновенное польце.

Я иду по деревне этой, каких много, где и сейчас все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями — и волнуясь: небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и еще сегодня он обжигает мне щеки здесь. Я выхожу на окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь: неужели об этой далекой темной полоске хворостовского леса можно было так загадочно сказать: «На бору со звоном плачут глухари...» и об этих луговых петлях спокойной Оки: «Скирды солнца в водах лонных?»

Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько материала для красоты — у печи, в хлеву, на гумне, за околицей — красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают?..

Колхозный рюкзак

Когда вас в пригородном автобусе больно давят в грудь или в бок его твердым углом — вы не бранитесь, а посмотрите хорошо на него, этот лубяной плетеный короб на широком брезентовом разлохмаченном ремне. В город возят в нем молоко, творог, помидоры за себя и за двух соседок, из города — полста батонов на три семьи.

Он емок, прочен и дешев, этот бабий рюкзак, с ним не сравняются его разноцветные спортивные братья с карманчиками и блестящими пряжками. Он держит столько тяжести, что даже через телогрейку не выносит его ремня навывчное крестьянское плечо.

Потому и взяли бабы такую моду: плетенку вскидывают на середину спины, а ремень нахомучивают себе через голову. Тогда равномерно раскладывается тяжесть по двум плечам и груди.

Братя по перу! Я не говорю: примерьте такую корзиночку на спину. Но если вас толкнули — езжайте в такси.

Мы-то не умрем

А больше всего мы стали бояться мертвых и смерти.

Если в какой семье смерть, мы стараемся не писать туда, не ходить: что говорить о ней, о смерти, мы не знаем...

Даже стыдным считается называть кладбище как серьезное что-то. На работе не скажешь: «На воскресник я не могу, мне, мол, м о и х надо навестить на кладбище». — Разве это дело — навещать тех, кто есть не просит?

Перевезти покойника из города в город? — блажь какая, никто под это вагона не даст. И по городу их теперь с оркестром не носят, если мелочь, а быстро прокатывают на грузовике.

Когда-то на кладбищах наших по воскресеньям ходили между могил, пели светло и кадили душистым ладаном. Становилось на сердце примиренно, рубец неизбежной смерти не сдавливал его больно. Покойники словно чуть улыбались нам из-под зеленых холмиков: «Ничего!.. ничего!..»

А сейчас, если кладбище держится, то вывеска: «Владельцы могил! Во избежание штрафа убрать прошлогодний мусор!» Но чаще — закатывают их, равняют бульдозерами — под стадионы, под парки культуры.

А еще есть такие, кто умер за отечество — ну, как тебе или мне еще придется. Этим церковь наша отводила прежде день — поминовение воинов на поле брани убиенных. Англия их поминает в День Маков.

Все народы отводят день такой — думать о тех, кто погиб за нас. А за н а с-т о — за нас больше всего погибло, но дня у нас нет.

Если на всех погибших оглядываться — кто кирпичи будет класть? В трех войнах теряли мы мужей, сыновей, женихов — пропадите, постылые, под деревянной крашеной тумбой, не мешайте нам жить!

Мы-то, мы-то ведь никогда не умрем!*

* Заключительная фраза «Это и есть вершина философии XX века» — в позднейших рукописях отсутствует. — Изд.

Путешествуя вдоль Оки

Пройдя проселками Средней России, начинаешь понимать, в чем ключ умиротворяющего русского пейзажа.

Он — в церквах. Взбежавшие на пригорки, взошедшие на холмы, царевнами белыми и красными вышедшие к широким рекам, колокольнями стройными, точеными, разными поднявшиеся над соломенной и тесовой повседневностью — они издали — издали кивают друг другу, они из сел разобщенных, друг другу невидимых, поднимаются к единому небу. И где б ты в поле, на лугах ни брел, вдали от всякого жилья — никогда ты не один: поверх лесной стены, стогов наметанных и самой земной округлости всегда манит тебя маковка колоколенки то из Горок Ловецких, то из Любичей, то из Гавриловского.

Но тыходишь в село и узнаешь, что не живые — убитые приветствовали тебя издали. Кресты давно сшиблены или скривлены; ободранный купол зияет остовом поржавевших ребер; растет бурьян на крышах и в расщелинах стен; редко еще сохранилось кладбище вокруг церкви, а то свалены его кресты, выворочены могилы; заалтарные образы смыты дождями десятилетий, исписаны похабными надписями.

На паперти — бочки с соляркой, к ним разворачивается трактор. Или грузовик въехал кузовом в дверь притвора, берет мешки. В той церкви подрагивают станки. Эта — просто на замке, безмолвная. Еще в одной и еще в одной — клубы. «Добьемся высоких удоев!», «Поэма о мире», «Великий подвиг».

И всегда люди были корыстны и часто недобры. Но раздавался звон вечерний, плыл над селом, над полем, над лесом.

Напоминал он, что надо покинуть мелкие земные дела, отдать час или отдать мысли — вечности. Этот звон, сохранившийся нам теперь в одном только старом напеве, поднимал людей от того, чтобы опуститься /.../* на четыре ноги.

В эти камни, в колоколенки эти наши предки вложили все свое лучшее, все свое понимание жизни.

Ковыряй, Витька, долбай, не жалеи!

Кино будет в шесть, танцы в восемь...

* Пропуск одного слова. — Изд.



Б. Н. ЕЛЬЦИН:

«Полумерами не обойтись»

Официально на этот вечер — 7 марта нынешнего года, как оповестил о том загодя календарный план Центрального Дома литераторов, было назначено заседание клуба «Судьба человека», тема: «Мужчина и женщина».

А примерно за час до объявленного начала по коридорам и фойе писательского клуба поползло известие — будет выступать Ельцин.

И вот он, высокий, статный, под щелканье фотоаппаратов и треск кинокамер уже поднимается на сцену.

Ведущая клуба Лилия Беляева попыталась связать появление Ельцина с объявленной темой, но Борис Николаевич с ходу отверг эту хитрость.

— Нет уж, пусть все как есть, так и называется: встреча с избирателями. И так эта встреча полуполюгальная, ибо представители ЦИК — центральной избирательной комиссии, которым положено на каждой такой встрече быть, в зале отсутствуют. Потому мне за самодеятельность наверняка влетит. Ну а притворяться — это ни к чему!

Ельцин вышел на трибуну и не сходил с нее (если не считать короткого перерыва) более четырех часов. Когда его уговаривали хоть на записки отвечать сидя — отказался.

— Тем, что ноги держат, лишний раз хочу доказать свою физическую пригодность к роли депутата. Пусть видят: здоровье восстанавливать удалось.

Тему своего выступления Ельцин обозначил так: «Несколько важных моментов предвыборной программы». Особо подчеркнул: программу он изложит эскизно, более последовательно и четко она изложена в его выступлении на XIX партконференции и «в ряде ин-

тервью Ельцина (так и сказал о себе — в третьем лице), опубликованных в провинциальной прессе, — центральная была наглухо запечатана для этой прокаженной фигуры».

В предвыборную кампанию появилась возможность встречаться с крупными коллективами, что он и старается использовать — видеть, даже перестарался, вот голос несколько подсел. Правда, и с этими выступлениями не все идет гладко: «очень уж плотно опекает аппарат горкома: может, тем беспокоены, что у меня нет личной охраны?»

Как только в зале прекратились понимающие смешки, сразу перешел к делу.

Чтобы процессы развития демократизации и гласности не затухали (а такая тенденция есть), нужно создать в новом высшем органе власти механизм, блокирующий возможность возникновения культа личности, волонтаризма, бюрократической спайки и прочих видов перерождения верхнего эшелона власти. С этим прямо связан ответ на вопрос, который сегодня задает себе каждый: как сделать перестройку необратимой? Тревога за будущее страны возникает не на пустом месте. Каждый мыслящий человек пытается понять, почему и ныне — через четыре года после Апрельского пленума — не преодолен застой в политике и экономике? Почему партия, объявившая на XXVII съезде целую программу перемен, находится и сегодня в глубоком кризисе?

— У меня твердое убеждение, — продолжает Ельцин, — едва ли не основная причина всего этого в том, что не с того начали перестройку. Начинать надо было с перестройки в партии. Я говорил об этом не раз и не раз получал по шапке, но мнения своего не изменил. Перестройка менее всего коснулась партии. И это создает целый узел проблем. За четыре года писатели, журналисты, публицисты разбудили народ от политической апатии. Народ стремится вернуть себе собственное достоинство, которое было растоптано в годы культа личности и застоя. Однако этому мешает целое нагромождение несправедливостей, возникшее в прежнюю эпоху, но оставшееся нетронутым и поныне. Взять, к примеру, расслоение по материальным признакам. Тут вопиющие контрасты. Я далек от мысли об уравниловке. Я не за то, чтобы современные Цюрупы падали в голодные обмороки на заседании Политбюро. Но я убежден: если в стране существует нехватка тех или иных товаров, продуктов, услуг, то это должны в равной мере ощущать все слои населения, в том числе и те, кто стоит на самом вершине. Доступность ко всякому дефициту должна быть для всех одинаковой. А вклад каждого в общее дело, общественная полезность его работы должны определяться зарплатой, рублем, имеющим всегда одну и ту же покупательную способность...

Далее Ельцин говорил о путях оздоровления экономики, о необходимости как можно быстрее поднять жизненный уровень народа. Он ставит вопрос, где взять для этого средства, и, отвечая на него, намечает три основных источника. Во-первых, сокращение расходов на оборону и более эффективный вклад их в космос (выполнение ряда космических программ можно отодвинуть на 5—10 лет). Второе —

сокращение на 30—40 % вклада в капитальное промышленное строительство, что будет полезно для экономики страны, ибо сократит долгострой. Наконец, третье — дифференцированный налог на предприятия при вкладывании ими средств в разные сферы. Самый малый — в том случае, когда свои доходы предприятие тратит на решение социальных вопросов. Несколько больший, когда деньги идут на развитие производства. Максимальным, когда основная часть средств распределяется между работниками в виде материального поощрения. При такой системе налогов каждый коллектив крепко подумает, прежде чем решить, куда употребить заработанное. Впрочем, и дифференцированный налог на граждан, зависящий от суммы доходов, тоже внесет свой вклад в дело социальной справедливости.

— Вот этот самый момент: восстановление социальной справедливости, — подчеркнул Ельцин, — повышение всеми доступными путями жизненного уровня народа и есть центральный в моей программе. Со всем перечисленным прежде комплексом проблем и связанным расхождением в тактике, которые были у меня с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Еще раз подчеркну: речь идет о некоторых расхождениях в тактике. Стратегию же Политбюро, Генерального секретаря, линию партии в перестройке, в международной политике я всегда поддерживал и поддерживаю сегодня. Что же до расхождения в тактике, то, я думаю, нельзя видеть в них какое-то ЧП, а тем паче криминал, раз уж мы научились выговаривать слово «плюрализм».

Четыре года назад был брошен призыв: вести перестройку широким фронтом. Но вскоре стало ясно, что для наступления чуть ли не во всех направлениях у нас не хватает сил. Тогда и возник вопрос: за счет чего сужать фронт, какое направление атаки сделать главным. Мое мнение, как я уже говорил, начинать надо с перестройки в партии. А главным направлением политики объявить подъем жизненного уровня народа — значительно улучшить обеспечение населения продуктами питания, предметами потребления, коренным образом улучшить деятельность сферы услуг. Хочу обратить ваше внимание на эти моменты — в них я вижу не только экономическую задачу, но прежде всего именно политическую. От ее выполнения зависит отношение народа к партии, его активность или пассивность при осуществлении новых планов руководства.

Ведь мы помним, что политическая линия Апрельского (1985 года) Пленума ЦК КПСС получила самую горячую поддержку в массах. Но прошел год-другой, а в жизни трудящихся не происходит (или почти не происходит) обещанных благодатных перемен. И люди начинают терять веру в перестройку, в ее институты. А главное — падает авторитет партии, хотя пока, несмотря на объявленную гласность, про это мало кто решается говорить.

Не хочу изобразить дело так, что тактический вариант, о котором веду речь, решил бы все проблемы. Но главное, народ бы реально увидел первые плоды перестройки, тогда можно было бы, опираясь на эту веру, расширять фронт наступления. Люди на всех его участках работали бы с утроенной энергией. Должен сказать, что такой

подход все же пробивает себе дорогу, делаются попытки как-то поправить положение. Вот, к примеру, меня за шесть центральных вопросов этой тактики, поднятых в выступлении на XIX партконференции, здорово раскритиковали. А теперь по всем тем же шести вопросам приняты решения и постановления. Одно жаль: в них — не меры, которые способны привести к подъему жизненного уровня народа, но полумеры. А полумерами не обойтись, они неспособны победить негативные тенденции нашей экономики: по-прежнему растет инфляция, продолжается девальвация рубля, сохраняется дефицит продуктов и товаров первой необходимости.

Попытки хотя бы частично решить эту проблему с помощью кооперативов пока оказались малоэффективны. Причины здесь, на мой взгляд, в том, что права, которые предоставлены кооперативам, слишком резко отличаются от тех, что имеют государственные предприятия. И пока госпредприятия не будут поставлены в условия, близкие к тем, в которых работают кооперативы, реальная конкуренция между двумя типами хозяйственного уклада останется лишь мечтой. Разных документов по этому поводу принято немало. Но в них или опять полумеры, или — еще хуже — шарахания из стороны в сторону. В результате — то население обижено, то государство, то кооператоры...

Далее Ельцин перешел к следующему пункту своей программы: сокращение государственного аппарата. Он отмечает, что сама по себе эта проблема не нова. Но прежние попытки сокращать аппарат с неизменной привели, в конце концов, к обратному: к новому его раздуванию. В связи с этим Борис Николаевич с иронией замечает:

— Минлеспром давно уже постиг эту закономерность и учитывает ее в своей деятельности. Как только объявляется очередное сокращение госаппарата, срочно отдается приказ на предприятия — увеличить выпуск стульев. И ни разу еще не ошиблись — в самом скором времени стулья действительно начинают требовать отовсюду.

Но шутки шутками, а если серьезно, положение сложилось тяжелейшее. Между председателем Совмина и рабочим двадцать пять, а то и тридцать уровней управленческой иерархии. Попробуй пробиться через эти многочисленные пласты. Не дадут! Искажат любую идею до неузнаваемости. Тем более что нынешние министерства никак не заинтересованы в расширении прав предприятий, в широком применении хозрасчета и самофинансирования.

Выход здесь, по-моему, напрашивается сам собою: надо дать предприятиям право выходить из подчинения министерств. Как говорил на XIX партконференции один из директоров заводов: если в министерстве не ловят мышей, нечего отчислять деньги на содержание министерского аппарата. Да и количество министерств надо резко сократить: вместо нынешних 90 оставить 10—15...

...Тут в зале поднимается шум. Кто-то из пожилых людей, сидящих вблизи сцены, требует, чтобы съемочная группа телевидения немедленно выключила осветительный прибор, который направлен в зал и нестерпимо бьет по глазам. Кто-то поддерживает его, кто-то

шикает на соседей. Ельцин замолкает. Воспользовавшись паузой, Лилия Беляева обращается к нему:

— Борис Николаевич, товарищи с телевидения могут в пять минут закончить работу и уйти. У них (да и у нас тоже) к вам только просьба: ответьте, пожалуйста, на тот вопрос, который часто поднимается на заседаниях нашего клуба: «Как выжить белой вороне?»

— Думаю, из моей дальнейшей речи, — отвечает Ельцин, — кое-что для ответа на этот вопрос вы сможете извлечь. А товарищей с телевидения мне не очень-то жаль. Седьмой раз снимают, ни разу ничего не показали. В этом тоже никак не усмотришь главного, за что все время ратую: социальной справедливости. А она должна быть во всем — в распределении продуктов и разных благ, в доступности лекарств, в равном внимании средств массовой информации и к суждениям людей, стоящих на верхнем этаже власти, и к тем, чьи мнения с ними кое в чем расходятся. Ведь должен же, скажем, мой оппонент (так сам он называл себя на XIX партконференции) понять: привилегированное положение руководителей (прежде всего руководителей партийных органов) в этих и других отношениях приводит к тому, что расширяется трещина между народом и партией...

В зале шум. С места кричат:

— Какая там трещина! Давно уже пропасть!

Ельцин, видимо, не доволен, что его перебивают, стиль его речи резко меняется. Говорит короткими фразами, четко, но уже без разъяснений, называя отдельные пункты своей программы. Контроль народа за расходованием государством средств. Приоритетность решений о молодежи, культуре, искусстве. Предоставление матерям хотя бы трехлетнего оплачиваемого отпуска для воспитания ребенка. Далее — требуется поднять социальную защищенность всех категорий граждан: увеличить стипендию студентам, пенсию довести до уровня хотя бы средней зарплаты. Установить пособия по переходу на новое дело — для тех, кто попадает под сокращение штатов, и для тех, кто оказывается без работы из-за смены профиля предприятия. Далее — создание свободных ассоциаций творческих людей, коренным образом отличающихся от нынешних творческих союзов — в том числе и Союза писателей, который давно уже стал в основном органом репрессивным. К этому же пакету относится и предложение — принять, не откладывая, закон о печати, который бы защитил пишущих от демагогии власть имущих и в то же время определил бы меры ответственности органов печати, их авторов в тех случаях, когда необоснованно задета честь и достоинство любого гражданина.

Более подробно высказался Ельцин по поводу нынешнего закона о выборах. Переходя к новой теме, он отметил:

— Мне уже приходилось излагать свое мнение по этому вопросу, за что получил замечание. Однако считаю необходимым высказаться еще раз. Конечно, закон этот — большой шаг вперед по пути демократизации выборов, а все же он не вполне демократичен. И не достаточно точен в своих формулировках, что дает возможность каждой избирательной комиссии толковать его на свой лад. Не могу сказать — почему так вышло: то ли второпях готовили, то ли нарочито

вставлен этакий (здесь-то совершенно ненужный) плюрализм. Так или иначе, но я настаиваю на том, что нужно серьезное усовершенствование этого закона. Считаю, что выборы депутатов от общественных организаций, представительство членов которых в высшем органе власти будет значительно выше представительства не состоящих в этих организациях людей, процедура недемократическая. И здесь творцам закона надо найти в себе мужество признать ошибку. Природа ее, думаю, ясна — проект сработан старым аппаратным методом. Но народ против него. Нужно убрать искусственные фильтры кандидатов — окружные собрания, указывающие кому из выдвинутых — налево, кому — направо. Нам нужны всеобщие, равные, прямые, тайные выборы из альтернативных кандидатур не только народных депутатов, но и всего высшего эшелона власти вплоть до Председателя Верховного Совета СССР. Это преобразование нельзя откладывать. Не можем подать другим странам пример богатым прилавком наших магазинов, так хоть станем для них образцом демократизма.

Между тем, даже те урезанные демократические нормы, что содержит принятый закон, далеко не всегда соблюдаются. Во всяком случае, мой опыт участия в предвыборной кампании свидетельствует об этом вполне определенно. После моего решения баллотироваться от Москвы был созван специальный пленум Московского горкома партии, на котором мои бывшие соратники решали, как им лучше бороться с Ельциным. Уж не знаю, чьими усилиями, но был составлен документ в 11 страниц, в котором собран всевозможный компромат на этого неугодного кандидата. Критика идет, как говорится, по дешевке: в 1986 году сказал такую фразу, а сейчас о том же говорит иначе и прочая «ловля блох». Этот одиннадцатистраничный документ уже роздан всему пропагандистскому активу столицы, который приведен в действие.

Я не против борьбы. Наоборот, считаю, что если плюрализм мнений станет нормой жизни общества, то политическая борьба будет тоже восприниматься как нечто вполне естественное, не будет считаться криминалом, как ныне. Тем более что прецеденты уже есть. Скажем, те же выступления общественности по проблемам экологии — это тоже политическая борьба, ибо в основе ее отстаивание прав человека на чистый воздух, чистую воду, почву и так далее.

Однако борьба должна вестись честными методами. А от этих 11 страниц компромата пахнет тридцатыми годами, только и не хватает слов «враг народа». К чему это? Если кто со мной не согласен — прекрасно. Пусть побивает меня своей программой. А народ, как и положено в демократическом государстве, сам сделает выбор, какая из предложенных программ ему больше подходит.

Мне, видимо, пора завершать свое выступление, хотя должен заметить, что не коснулся многих важнейших проблем. Таких, как приоритет общечеловеческих ценностей над всякими групповыми. Утверждение в жизни нашего государства духовности и нравственности. Наконец, заслуживает особого большого разговора национальная проблема, в том числе проблема национальной культуры.

Под конец хочу сказать, что считаю главным в деятельности депутата. Думаю, его святая обязанность — превратить новый орган власти (а он, мне представляется, по крайней мере на треть будет состоять из людей смелых, творческих, не боящихся хоть на баррикады идти ради интересов народа) в реальный инструмент народного волеизъявления. Надо превратить его в орган поистине рабочий, который сломает прежнюю практику, когда аппарат готовил документы, а депутаты, не размышляя, единогласно их принимали. Такому органу коллективного разума высшей законодательной инстанции, должны быть законодательно подотчетны все государственные и общественные организации. В том числе и партия, и высшие ее руководители.

И еще: надо рядом законодательных актов укрепить в народе веру, что эпоха коррупции навечно осталась в прошлом, что корпорациям всякого жулья больше не удастся никогда пробраться к власти. Однако это станет возможным лишь в том случае, если избиратели будут отдавать свои голоса за тех кандидатов в депутаты, которые соответствуют самым высоким нравственным критериям, если депутатские мандаты получают люди действительно глубоко порядочные, честные, смелые, принципиальные, беззаветно преданные служению народу.

Благодарю за внимание.

...За время выступления Ельцина в президиум пришло множество записок. Вот ответы Бориса Николаевича на некоторые из них.

Автор одной из записок отмечает, что в момент отрешения Ельцина от должности первого секретаря МГК КПСС писатели-коммунисты Москвы не высказались в его защиту, и в связи с этим спрашивает, как оценивает Ельцин такое проявление малодушия.

Ельцин: Что ж тут удивляться. В наши мозги десятилетиями вбивался ржавый гвоздь страха. По себе знаю, как трудно его из себя выдирать. В связи с этим приходит на память такой случай. Недавно на заседании Центрального Комитета партии я не поддержал кандидатуру Лигачева. И оказался... не то, что в меньшинстве — в единственном числе. В перерыве между заседаниями подходит ко мне коллега, ветеран — тоже член ЦК — ветеран, который в войну, рассказывают, поражал подчиненных спокойным мужеством, бесстрашием. Естественно, человек уже не молодой, но еще бравый. Подходит он ко мне, трясет руку... из последних сил: мол, ну молодец, ну смелый и так далее. Я отвечаю — спасибо на добром слове. Но вы-то сами «за» или, как я, «против». Конечно, «против!» — воскликнул он. «Так почему же руку не подняли? — спрашиваю. — Уж вам-то чего бояться?» Он смотрит на меня мучеником: «Знаешь, — говорит, не сумел. Сижу, глаза даже закрыл, себе говорю: сейчас буду голосовать «против». Приказываю руке: поднимайся. А она не слушает меня, ну ни в какую. Так и не смог заставить себя поднять руку».

Вот как силен страх перед властью даже в высшем ее эшелоне!

Записка: Отвечает ли партия за преступления Сталина и Брежнева?

Ельцин: Должна отвечать. Что касается Брежнева, то здесь для

полного очищения надо бы и такое сделать — отобрать у его потомков все, что принадлежит народу. Ведь известно, прежний генсек любил «государственные подарки» забирая лично себе. Потому иные из ближайших его родственников на все нынешние преобразования смотрят спокойно, прикинув, что материально обеспечены на три поколения вперед.

Записка: Как вы относитесь к народным фронтам республик Прибалтики?

Ельцин: Опасности в них я не вижу. Я за их создание, но при условии, что эти организации ставят перед собой целью действительно борьбу за перестройку и что методы борьбы не противоречат их программам. Делая эти оговорки, я имею в виду ту опасность, которая угрожает такого рода движениям — «риффы» и «мели» национализма. Если народные фронты сумеют их миновать, то, думаю, они смогут принести немалую пользу в деле демократизации всей нашей общественной жизни.

Записка: Как вы относитесь к идее о многопартийной системе в нашей стране?

Ельцин: В Конституции СССР прямых запретов по поводу создания других партий нет. Однако я считаю, что прежде чем ставить вопрос о воплощении идеи многопартийности в жизнь, надо дать возможность высказаться по этому поводу народу — буквально каждому гражданину страны. Мое же мнение таково: думаю, сегодня наше общество не готово к созданию других партий.

Записка: Как сказалась на состоянии общества война в Афганистане? Почему иные руководители боятся тех, кто ее прошел?

Ельцин: Почему боятся — думаю, понятно: этим ребятам — после всего, что пришлось пережить, — и черт не страшен. Тем более теперь, когда все громче раздаются голоса тех, кто считает, что введение наших войск в эту страну было ошибкой. Афганская эпопея особенно ясно показывает, насколько нам жизненно необходима демократизация жизни страны. Ведь решение по этому вопросу принималось — в классических традициях периода застоя — келейно, в кабинетной тиши. Кстати, принималось теми, чьи дети и внуки в Афганистане не воевали. А необходимо было провести всенародный референдум.

А что касается страха перед «афганцами», он еще и с тем связан, что руководящим товарищам хорошо известно, как много нужно сейчас дать этим бывшим солдатам и как мало им реально дается. Особенно это касается инвалидов и тех, кто потерял здоровье в Афганистане. Тут выход напрашивается сам собою: открепить от четвертого управления Минздрава «номенклатуру» и отдать все его медучреждения наиболее слабо социально защищенным слоям общества. В первую очередь — «афганцам».

Заранее предвижу упреки в мой адрес: мол, и сам многие годы пользовался услугами всяких спецмагазинов, санаториев и т. д. Да, было. Признаю. Но сейчас от всех этих льгот отказался. В последнюю очередь — недавно — перестал пользоваться услугами спецмедицины. На днях позвонил главврачу своей районной поликлиники

и предупредил: «Пусть в вашей регистратуре не пугаются — приду к вам записываться». Я убежден: если министры перейдут на лечение в обычные поликлиники, там через год будет порядок.

Вопрос из зала: Кто последовал вашему примеру?

Ельцин: Пока, насколько мне известно, никто. Да и наивно этого ожидать. Бюрократы сами от своих льгот не откажутся. Надо, чтобы их народ заставил.

Записка: Ходят упорные слухи, что после смерти Черненко готовился иной (чем ныне) состав руководства — во главе с Гришиным и главным идеологом Романовым. Так ли это?

Ельцин: О Гришине — верно. Однако против этого объединились не только несколько членов Политбюро (как говорил на XIX партконференции мой оппонент), но и многие первые секретари обкомов и крайкомов, входящие в состав ЦК. Мнение наше было единым: Генеральным секретарем должен быть избран только Горбачев. Избрание Гришина может привести страну к полной катастрофе. Как известно, наше общее мнение победило.

Записка: Как вы относитесь к соединению в одном лице функций партийного руководителя и руководителя соответствующего органа Советской власти?

Ельцин: На высшем уровне, считаю, что — при соблюдении определенных демократических гарантий — такое совмещение временно полезно, может, даже и необходимо. Все же согласитесь: странно выглядит, когда важнейшие международные документы подписывает с одной стороны, глава государства, с другой — руководитель партии. Что же касается таких совмещений на всех более низких уровнях — я целиком и полностью против этого.

Записка: Ходят слухи, что вы против отделения республик Прибалтики.

Ельцин: Давайте подождем, что решат народы этих республик, а уж потом будем по этому поводу высказываться.

Записка: Есть ли у вас единомышленники в составе ЦК и его аппарате?

Ельцин: Думаю, что есть. Но я уже говорил про «ржавый гвоздь страха».

Записка: Хотелось бы, Борис Николаевич, вновь видеть вас в высшем руководстве партии...

Ельцин: К сожалению, не со всеми товарищами из Политбюро хотелось бы работать. Особенно не хотелось бы с моим оппонентом по XIX партконференции.

Записка: Были ли у вас разногласия с М. С. Горбачевым?

Ельцин: Да, были. В частности, я настаивал на решительном обновлении состава Политбюро и ЦК. Слишком мягкая позиция Генерального секретаря по отношению к тем руководящим товарищам, деятельность которых ведет объективно к замедлению процесса перестройки, удивляет меня и сегодня. Нынешний состав ЦК и вовсе странен. Высший орган партии в значительной части состоит из работников, освобожденных от своих должностей, отправленных на пенсию. Но они всё ещё остаются в составе Центрального Комитета. Парадокс!

Записка: Что представляет собой «команда Ельцина» в предвыборной кампании?

Ельцин: Команда эта невелика. Десять человек доверенных лиц, поверивших в мою программу, считающих свои долгом помогать ее реализации. Все они работают на общественных началах. Сейчас, когда до выборов осталось меньше месяца, некоторые из них взяли отпуск на работе, чтобы полностью располагать своим временем.

Записка: Чем могут помочь вам рядовые жители Москвы?

Ельцин: Если я убедил вас в том, что идеи, которые намерен проводить в жизнь, помогут победе перестройки, то вы, естественно, можете отдать свой голос за Ельцина. В этом, собственно, и состоит смысл предвыборной кампании каждого кандидата...

26 марта 1989 года Б. Н. Ельцин был избран Народным депутатом СССР. За него проголосовало 89,44 % избирателей — более пяти миллионов человек.

Литературная запись Игоря Дуэля

Постепенность — самоцель?

Когда с самой высокой трибуны было впервые заявлено, что восьмидесятые годы Советский Союз встретил в предкризисном состоянии, некоторые из нас решили, что это было сказано слишком мягко, хотя по судебным меркам семидесятых годов и за этот клеветнический вывод полагался срок. Нам, казалось, что мы давно живем в стране, охваченной глубоким всесторонним кризисом, который вот-вот разрешится чем-то неопределенно ужасным.

Однако Михаил Горбачев с его советниками был, пожалуй, прав. До кризиса, до такой температуры, при которой перестают действовать все обычные рычаги управления, не дошло даже сейчас, спустя три с лишним года.

О предкризисе — и ни о чем большем — свидетельствует и то, как вяло и поверхностно совершаются преобразования, обещанные народу после того, как в привычной обстановке траурной помпезности проводили в последний путь незадачливого генсека Черненко, собиравшегося увековечить, как он выражался, брежневский стиль работы. Положение в народном хозяйстве ухудшается, но еще не достигло такого предела, чтобы реформаторы были вынуждены хотя бы отказаться от разрушительного по самой своей природе централизованного командного планирования.

Продолжают держать на привязи и печать. Разрешено, правда, многое; разрешено такое, о чем до Горбачева и не мечтали: разоблачать Сталина, критиковать индустриализацию и коллективизацию, воспевать кое-кого из расстрелянных в тридцатые годы виднейших оппозиционеров, без обязательного восторга разбирать произведения почти всех высших руководителей Союза писателей СССР (вольность, которая пишушую братию пьянит не меньше, чем то, что газеты могут сообщать о некоторых крупных забастовках и массовых выступлениях). Однако руководителям печати напоминают, что открыто спорить с газетой «Правда» нельзя, поскольку она центральный орган партии, а что ЦК и Политбюро критике не подлежат — само собой разумеется.

Каждый день подчеркиваются и другие нельзя, так что настроение многих из нас по-прежнему определяется не столько тем, что нам сегодня позволено, сколько тем, что запрещено. Что запрещено, то и болит. Вернее, наоборот: что больше всего болит, то и запрещено. Запрещено доводить народ до сомнений, что то, что у нас построено, — социализм. Резко осуждены первые попытки не вполне апологетического разбора деятельности и взглядов Ленина. «Как мало надо верить в его правоту и величие, — сказал мне один из твердых ленин-

цев, каковых у нас еще немало, — чтобы бояться, что его авторитет не выдержит свободного критического анализа на родине ленинизма!» Нельзя обсуждать вопрос о сокращении армии, без чего ее не оздоровить. Нельзя подробно и правдиво писать о том, что происходит в Польше и Румынии, как впрочем, и в любой другой братской стране. Нельзя вслух мечтать о независимости массовой печати и многопартийности. Пресса призвана всячески способствовать укреплению руководящей роли одной партии, но статью, в которой вы попытаетесь показать, что не партия правит тем же Госпланом, а Госплан — партией, и возгласите: коль она одна и правящая, так пусть все-таки правит, — статью, продиктованную такой заботой о повышении роли КПСС, не пропустят.

Особенно строгий запрет наложен на вопросы, есть ли у наших руководителей программа действий на выражение опасений, что вместо стратегии нам еще долго будут предлагать тактику — тактику малых шагов в неопределенном направлении.

Когда этот текст прочитали мои друзья, они сказали, что я должен считаться с тем, что буду неправильно понят. Журналисты, мол, объявят, что я не просто предвижу кризис, а призываю его, причем в понятие кризиса вкладываю-де нечто очень страшное. У нас возникла дискуссия, и я сказал, что могу привести примеры таких явлений в сегодняшней нашей жизни, которые можно рассматривать как первые признаки предстоящего благотворного кризиса. Газеты сообщают о случаях, когда колхозы и совхозы то здесь, то там явочным порядком выходят из РАПО — то есть из-под власти государственного ведомства, управляющего агропромышленным комплексом. Есть и заводы, отказывающиеся подчиняться своим министерствам и с вызовом объявляющие об этом во всеуслышанье. Кто мог предположить еще вчера, что борьба за демократизацию, в данном случае — за демократизацию хозяйственной жизни, может принять такие кощунственно революционные с точки зрения правоверного тоталитариста формы? Непослушание отдельного лица, протест группы людей, даже всего рабочего персонала предприятия — это одно, это знакомо, но бунт предприятия со всей его администрацией, с партийным, профсоюзным и комсомольским комитетами — это другое, небывалое, непредвиденное.

Это поистине творчество масс, низов. Здесь администрация и персонал не противостоят друг другу, а солидарно и действительно революционному берут себе права, нужные им для эффективной деятельности. Причем это бунтарское творчество одобряется высшим политическим руководством, которое, как кажется, само временами изнемогает под давлением ведомственного империализма. Я встречал у нас образованных ленинцев, которые именно с этим явлением связывают чуть ли не все свои надежды... Кто знает, сколько колхозов и совхозов, сколько заводов должно взбунтоваться, чтобы это количество перешло в качество, обрело характер кризиса, который многократно ускорит процесс выработки и принятия кардинальных экономических и политических решений?

Само собой разумеется, мне было сказано, что я экстремист. Это

одно из недоразумений последних лет: называть экстремизмом мнение о том, что разрыв с прошлым должен быть резким, что пропасть надо преодолевать все-таки в один прыжок. Показательно для наших нравов: эту точку зрения многие **постепеновцы**, особенно руководящие, считают не просто ошибочной, но и предосудительной, опасной, заслуживающей прямо-таки наказания. А ведь она выражает, как я замечая, отнюдь не только нетерпение и прочие юношеские чувства. Она исходит из анализа, не менее строгого и спокойного, чем тот, на который опираются постепеновцы. Кто может сказать с уверенностью, кто может дать гарантию с приложением подписи и печати, что постепенность не будет означать постепенного накопления трудностей и недовольства, которое в один несчастный день все равно обернется тем, чего хотят избежать посредством тактики малых шагов? А раз такой гарантии дать нельзя, то я думаю, что было бы дальновидным со стороны властей пустить эту мысль в печать. Пусть бы общество как следует с нею повозилось — это подготовило бы население к вполне вероятным резким переменам. Народ надо готовить ко всем вариантам. Вопрос о способах и сроках революционных по сути преобразований — вопрос слишком серьезный, чтобы считать его уже решенным.

Я допускаю, что жестоко ошибаюсь, считая более убедительными взгляды и предложения «экстремистов-рыночников» (экстремисты нерыночники меня не интересуют, это по части психиатров). Но мне хотелось бы, чтобы и постепеновцы допускали, что они тоже могут ошибиться, тем более что их разочарования в случае моей правоты будут более горькими. По сути, они исходят из бессознательной — или даже сознательной — уверенности, что все главные постепенные решения, все главные мелкие шаги **будут мудры**, точно рассчитаны. Но последние четыре года мы видим, что на одно мудрое решение приходится пять не совсем мудрых и не совсем последовательных.

Создается впечатление, что власть считает, что запланированный ею уровень гласности и свободы слова уже достигнут. Испугались первых признаков того, что происходило в Испании сразу после Франко: так называемого **дестапо**, повального обнажения. Испугались и с наивной смурой старательностью взялись пресекать.

В самом начале многие с готовностью искали оправдания каждому неверному высочайшему шагу: новым людям трудно, надо их понять, у них противники, надо маневрировать и т. д. и т. п. Первое, что требует справедливость и сейчас, — действительно попробовать объяснить наметившийся новый **застой** благими намерениями. Но все-таки... Что она, собственно, дает и может дать — политика жесткого, подчас открыто недоброжелательного сдерживания общественного темперамента? — все чаще спрашиваем мы друг друга. Приближает она кризис или отдаляет и даже предотвращает его? Кто может это сказать? Вопрос тем более трудный, что не всякий кризис однозначно нежелателен. Болезни, протекающие бескризисно, бывают, как известно, чреватые особенно тяжелыми, необратимыми последствиями. Кризисы расчищают строительную площадку. Лучший из близких нам примеров — Польша. ПОРП в своей перестройке пошла

уже намного дальше, чем КПСС, но спрашивается: сумела бы она это сделать, если бы не знаменитые польские кризисы?

Бесспорно, кажется, одно. Какими бы добрыми ни были намерения тех, кто отвечает нам гласность и свободу слова наравне с другими дефицитными товарами, — цена, которую страна платит за это дозирование, очень велика. Речь идет об определенном разочаровании. Слов нет, паника может оказаться зряшной, но беда от этого не уменьшается, паника есть паника. Беда в том, что в таких делах, как демократизация, невозможно остановиться, даже если очень этого хочешь. Или вперед, или назад — на одном месте не потопчешься. Попытка удержаться на одном месте оборачивается откатом назад. Особенно неприятно, если это происходит вопреки тому, что задумывалось, — тогда маятник может отлететь очень далеко. С мыслью, не произошло ли это, многие начинают каждый новый день.

Государство, которое в конце двадцатого века решает за гражданина с высшим образованием, что ему читать из художественного, подвергает себя исключительному риску. Об этом говорят у нас в эти дни, в эти минуты — из уст в уста передаются будто бы сказанные в Кремле или на Старой площади слова: «Солженицын нам не нужен». Об этом говорят не экстремисты, а вполне уравновешенные, но думающие люди, обеспокоенные тем, не становится ли политика постепенности самоцелью. Эта политика вызывает не только уныние, но и любопытные, подчас весьма дельные возражения. В одной из рукописей, которые не могут быть сейчас у нас напечатаны, я недавно прочитал призыв самым серьезным образом задуматься над опытом тех стран, где «застойное прошлое» преодолевалось другими, чем у нас, методами и темпами. «Смогла бы Германия, — пишет автор, молодой экономист, — поверженная, морально опустошенная, за одно десятилетие превратиться в «локомотив Европы», если бы она не пошла на сокрушительный разрыв с идеологией, политикой и системой тоталитарной власти? Что было бы, если бы эта страна стала бы шаг за шагом, медленно, по крупницам, отторгать от себя «не оправдавшие» и «опорочившие себя» элементы авторитарной идеологии? Экономическое чудо ФРГ было обеспечено решительной сменой идеологии и конституированием экономического либерализма в чрезвычайные сроки. Уже в 1948 году идеология свободного рыночного хозяйства стала там правительственной программой».

Нам, похоже, предстоят трудные времена. Для того, чтобы провести подлинно радикальные реформы, предкризиса оказалось мало. Остается надеяться на кризис. Хотелось бы, чтобы он был благодетельным, творческим. Но знать бы, каким он будет!..

Эстонский прецедент

Предыстория

С чего все это началось?.. Но верно ли задавать вопрос о начале? Может, точнее поставить вопрос так: каким образом и почему она возникла — эта «эстонская история»? А начало уводит нас в глубину веков. Поскольку все, что произошло четыре или пять тысячелетий назад, когда племена финно-угров, среди которых были и предки эстонцев, обжили этот уголок земли, мы можем лишь вообразить, дав волю своей фантазии. И все же некоторые моменты кажутся значимыми и по сей день, помогая нам многое прояснить для себя.

Прежде всего, разумеется, то обстоятельство, что выжить на нашей скудной земле и в суровом климате можно было только благодаря неимоверным усилиям. Из всего творчеста Антона Хансена Таммсааре для каждого эстонца самые знакомые слова это: «Работай, тогда придет и любовь». Однако труд никогда не приносил эстонцам освобождения — ибо в основном в своей истории мы работали не на себя — зато он внедрил в наши гены сознание, что именно в труде наше существование, вера в себя, надежда на утешение. В генах у нас и привязанность к земле. Эта земля — наша, ибо она признала нас за своих, ответила взаимностью на любовь к ней. Свидетельства тому есть и в нашем языке. Долгое время мы называли себя *maarahvas*, что в дословном переводе означает «народ земли».

Ныне Эстония разорена, реки и озера загрязнены, и дело вовсе не в том, что мы меньше любим свою землю, причина, скорее, в другом — нас, эстонцев, хотели отлучить от своей земли. Наши хозяева, которыми и по сей день являются пропитанные колониальным духом союзные министерства и ведомства, нарушили нашу естественную связь с землей. И наша борьба всегда была и остается поныне борьбой за восстановление и сохранение этой связи.

Мне бы хотелось обратить внимание еще на один факт, корни которого уходят в прошлое, однако он определяет и нашу сегодняшнюю позицию, и линию поведения. Судьбе было угодно поместить нас на перекрестке больших торговых путей и самых разных политических интересов. В иные, тягостные для нашего народа, моменты я слышал сетования типа: «Эх, вот пошли бы наши предки с финнами на север или переплыли море!» История, однако, не терпит частицы «бы». Да и жалобные эти восклицания — скорее, минутная слабость, чем выражение позиции, которую можно принимать всерьез. По существу же, именно наше геополитическое положение сформировало единственно возможный для нас стереотип поведения, который мож-

но проследить в истории культуры, в литературе, идеологии, да и непосредственно в политической деятельности. Я бы назвал этот стереотип так: открытая самостоятельность.

Странное на первый взгляд словосочетание, не правда ли? Столкнулись как бы две взаимоисключающие противоположности: эгоизм и альтруизм, стремление грести под себя и самопожертвование. Важно подчеркнуть и то, что в этом словосочетании одно вытекает из другого: быть самими собой мы можем, лишь будучи открытыми, и открытыми можем быть, лишь оставаясь собою.

Для ясности приведу примеры такого *modus vivendi*. Первое национальное пробуждение эстонцев, подъем самосознания в середине прошлого века стал возможен благодаря открытости: мы восприняли и впитали в себя то, что предложил нам посредством прибалтийских немцев немецкий романтизм. В наших народных песнях до сих пор заметна немецкая основа, но они закрепили в себе именно наше, эстонское, самосознание. Начавшаяся в конце того же века волна русификации приковала нас к востоку, и само собой это тут же ограничило нашу самостоятельность. Ослабление этой связи началось в начале XX века и выразилось в девизе младоэстонцев — «Оставаясь эстонцами, станем европейцами». Эстонское независимое государство 1918—1940 годов продемонстрировало свою открытость тем, что не стыдилось завозить учителей и черпать познания из Финляндии, Швеции, Англии, Франции и других стран и тем, что уже в 1925 году в Эстонии была предоставлена культурная автономия другим национальным группам, проживающим на ее территории.

Таким образом, наиважнейшими условиями нашего существования являются: возможность слияния с землей и открытая самостоятельность. Только при наличии этих условий Эстония сможет быть полезной для других народов и государств, а они, в свою очередь, смогут принести пользу Эстонии.

Исходя из этих условий, я и попытаюсь теперь охарактеризовать фабулу новейшей истории Эстонии.

Последние капли в чаше терпения

Не будет преувеличением сказать, что послевоенную Эстонию поразила социальная чума. Четвертая часть народа либо погибла на фронтах, либо была депортирована в Сибирь, либо бежала на Запад. В то время, когда другие народы приступили к залечиванию ран, нанесенных войной, Эстонию заставили в спешном порядке пройти все ступени сталинской школы: разорение крестьянства, насильственная коллективизация, моральное и частично физическое истребление интеллигенции, отсечение традиций, подавление национального начала (искусству было позволено быть национальным лишь по форме), устранение руководящих партийных кадров, создание в городах такого рода промышленности, которая никак не была

увязана с возможностями, традициями и трудовыми ресурсами нашего региона. Свершившаяся 17 июня 1940 года аннексия — которую подготовил заключенный в 1939 году пакт Молотова—Риббентропа — завершилась в 1940—50-х годах колонизацией Эстонии. Эстония, как и весь Советский Союз, находилась за железным занавесом. С детства помню машины с локаторами на улицах города, они выскивали тех, кто в своих домах осмеливался слушать зарубежные радиостанции. Ужас от того, что и за мыслями могут следить, вынуждал честных людей изъясняться при помощи только им понятных намеков.

Хрущевское время дало передышку. Тяга к воссоединению с землей проявилась в том, что большинство депортированных потянулось на родину. И хотя отнятые когда-то дома были заняты чужими, мирились даже с положением поселенцев или строили новые жилища — лишь бы жить на своей земле.

Новое поколение интеллигенции пыталось разбудить в народе надежду. В эстонской литературе на почетное место выступает свобода самовыражения. На певческом празднике 1969 года вновь звучит «Моя отчизна — моя любовь» Густава Эрнесака.

Однако почти сразу все становится новым социальным натюрмортом. Единственное, что не теряет набранной силы, это великодержавная колониальная политика. Дух и чувство единства эстонского народа помогают поддерживать писатели, художники, композиторы. Но целей, объединяющих всех, на горизонте нет.

В 1985 году в Москве меняются лозунги: перестройка, гласность, демократия — это звучит многообещающе. Однако сначала в Эстонии относятся ко всему этому с недоверием.

Первой с места сдвинулась журналистика. Похоже, что эпоха вранья миновала, такой возможностью грех не воспользоваться. Прежде всего начинают восстанавливать подлинную историю Эстонии. Борьба вокруг обнародования пакта Молотова—Риббентропа вновь ставит вопрос о законности включения Эстонии в состав Советского Союза. Разумеется, все признают, что колесо истории вспять не повернуть и что придется примириться с сегодняшними политическими реалиями, однако это тем более дает основание сосредоточить все внимание на анализе причин упадка послевоенной Эстонии. Народу становится ясно, что за видимостью стабильного строя и спокойной жизни зияет пропасть, которая может вскоре поглотить как экономику, культуру, так и саму нацию и ее язык. Народ начинает понимать, что партия постоянно обманывала его, что за благородными лозунгами и обещаниями кроются лишь ведомственные амбиции и бессилие руководить обществом.

На фоне общегосударственной перестройки к весне 1987 года в Эстонии назревает политический кризис. Партия и правительство не в состоянии ответить на вопросы, поставленные народом, старые методы управления («вызовы на ковер», руководящие указания по телефону, собеседования по политдням, кабинетная политика) больше не действуют.

Все упорнее задается заимствованный у финского писателя

Пааво Хаавикко вопрос: «Если власть принадлежит народу, то в чьих она руках?» Выясняется, что по сути дела вершат центральные монополии. И вот весной 1987 года разразился конфликт между Министерством промышленности минеральных удобрений СССР и правительством ЭССР: запланированные в республике разработки фосфоритов грозят гибелью эстонской природе, и без того пребывающей на грани экологической катастрофы.

Движение под лозунгом «Нет фосфоритам!», объединившее в основном студенчество, было первым движением, начавшим борьбу за восстановление утраченной связи с землей. В ходе этой борьбы люди все яснее начинают понимать, что лишь пассивная оборона не приведет к желаемому выходу из тупика. Предложение четверых (Эдгар Сависаар, Сийм Каллас, Тийт Маде и Микк Титма) о переходе Эстонии на хозрасчет, выдвинутое ими в сентябре 1987 года, означало переход к активной контраたке. Тогдашний руководитель республики Б. Сауль расценивает это предложение как политическую ошибку, руководство компартии Эстонии занимает неопределенную позицию. Для народа же эта идея становится спасательным кругом. Чаша его терпения переполнена. Но возникла искра надежды. Кто же раздует ее? Кто станет гласом народа?

Пробуждение

Далее события разворачиваются как в ускоренно запущенной киноплёнке. Эстонское общество охраны памятников старины, основанное 12 декабря 1987 года, берется за возрождение прерванных традиций, превращаясь тем самым в одну из крупных общественных сил Эстонии, помогающих вернуть народу пошатнувшуюся веру в себя. Наряду с Обществом охраны памятников старины начинают формироваться и другие движения.

Окончательно же ускорил цепную реакцию Объединенный пленум правлений творческих союзов Эстонии, состоявшийся 1—2 апреля 1988 года. На нем была высказана вся правда о прошлом и настоящем Эстонии: правда о том, что мы жертвы колониальной политики, что эстонская нация и язык находятся на грани вымирания, что на протяжении десятков лет партия не представляла интересов народа, что как политически, так и социально мы — объекты насилия, что на сегодня речь идет ни мало ни много, как о жизни и смерти и настал последний момент опомниться и пробудиться.

И сегодня набатом звучат в моих ушах слова актера и режиссера Калью Комиссарова: «Люди добрые, мы не обязаны подыгрывать в этом сумасшедшем доме». И признание Микка Миккверера: «Проблемы этой земли и народа — это мои проблемы, от них никуда не убежишь». Это наверняка ощущаете и вы. Здесь наша родина. И это сильнее смерти».

Народ пробудился

Прошло всего две недели, и обращение творческих союзов нашло реальный отклик. 13 апреля в телепередаче «Подумаем еще» Марью Лауристин и Эдгар Сависаар высказали идею о создании Народного фронта. Той же ночью была разработана первая декларация, а в последующие дни образовались первые опорные группы НФ. Народ, поддержавший решения правлений творческих союзов, отныне получил возможность свою поддержку реализовать на деле.

Народный фронт родился в поддержку перестройке. При том, что его создание стало ответом на призыв творческих союзов, оно одновременно явилось и ответным шагом в движении за перестройку, начатую М. С. Горбачевым. С самого начала и поныне основной целью НФ остается превращение перестройки в необратимый процесс и восстановление власти народа.

Народный фронт ощущал в себе такую силу. В партии внутреннего единства не было, а потому она не могла и теперь еще не может быть гарантией успеха перестройки. Слишком велика в ней роль консервативно настроенных сил. Вот почему в Эстонии Народный фронт прежде всего подверг правящую партию испытанию. Он заставил партию повернуться лицом к народу и вынудил уйти скомпрометировавшего себя первого секретаря Карла Вайно. На XIX партконференцию 17 июня 1988 года в Москву была послана эстонская партийная делегация, представляющая 150 000 человек, с собой она везла платформу, которая впервые за последние десятилетия отражала истинные чаяния народа, и мандаты, впервые за 48 лет врученные ей народом.

Первое чудо послевоенной Эстонии

Лето 1988 года выдалось в Эстонии на редкость жарким. Яростно палило солнце, земля страдала от жажды, крестьяне с тревогой думали об урожае. Радоваться погоде могли только отдыхающие. Только вряд ли и им было до этого. Все напряженно следили за Москвой. Выдержат ли наши? Поймут ли нас, прислушаются ли? В одной из резолюций в последний момент все же проскользнуло признание нашей идеи хозрасчета.

Однако хватало и других забот и тревог. Эстония получила нового партийного руководителя — опытный дипломат Вяйно Вяляс оказался первым нашим вождем действительно родом из Эстонии. Как он справится с тем чудовишным наследством, которое получил от своего предшественника? Как сложатся теперь отношения с Народным фронтом? И с Интердвижением, которое присвоило себе право выступать от имени всего русскоязычного населения и, как теперь стало ясно, пользуется поддержкой консервативных сил Москвы?

На первый вопрос ответ был получен 11 сентября на Певческом

поле. Треть всех эстонцев собралась там; пели, слушали речи, и под сенью развевающихся национальных флагов ощущали в себе силы начать шаг за шагом восстанавливать свое право на самостоятельность, право на самоопределение и суверенную жизнь в будущем. И среди народа, равный ему, находился руководитель партии.

Неделей позже, на XI пленуме КПЭ, хозрасчетная Эстония, государственный язык — все эти чаяния народа — воплотились в программе принципы партии.

Впервые за 48 лет можно было сказать, что Эстонская коммунистическая партия выступила за интересы народа, — впервые как о реальности можно было говорить о единстве партии и народа. Однако единство это было еще хрупким, то был первый краеугольный камень, заложенный в столь необходимый фундамент доверия.

1—2 октября начинание объединенного пленума творческих союзов полугодовой давности увенчались успехом — идея НФ оформилась в движение со своей программой, уставом, парламентом и руководством, это была уникальная политическая сила. И это был колоссальный шаг вперед на пути к традициям демократии, одним из основных принципов которой является то, что ни одна политическая сила не должна узурпировать власть.

Сущность Народного фронта понять легче, если назвать его движением избирателей. Действительно, до сих пор выборы наши сводились к голосованию. Кандидатуры депутатов спускались сверху, из каких-то кабинетов, где были подобраны по неким признакам и оформлены в списки, народу же оставалось лишь опустить в урны свои бюллетени. Теперь же положение диаметрально изменилось. Каждый кандидат в депутаты или депутат знает, что он отвечает не перед какой-то неопределенной массой избирателей — это, по сути, означало, что он ни перед кем не отвечает, — а перед организованными повсеместно в Народный фронт избирателями. Так посредством Народного фронта осуществляется истинный блок партийных и беспартийных, что до сих пор было пустой декларацией.

Следующей своей неотложной миссией Народный фронт считает проведение в жизнь идеи ИМЕ¹. В ней видится наш главный путь к подлинной суверенности и залог восстановления федерализма, поправный при создании Советского Союза.

Народный фронт готовился к последовательному и настойчивому осуществлению своих целей, но опубликованный в середине октября проект поправок к Конституции СССР и проект Закона о выборах вынудил как Народный фронт, так и КПЭ к определенным действиям: принятие Верховным Советом СССР конституционных поправок урезало бы даже ту полуформальную суверенность республик, которая провозглашалась в действующей конституции.

Все, что произошло потом, можно назвать самозащитой загнанного в угол зверя. Но можно рассматривать и как самоутверждение распрямившегося народа. 16 ноября парламент Эстонской ССР почти единогласно принял декларацию о суверенитете и внес в свою

* ИМЕ (букв.: чудо) — аббревиатура, означающая: хозрасчетная Эстония.

конституцию поправки, которые работают как фильтр для всесоюзных законодательных актов.

Это событие политолог, профессор Калифорнийского университета Рейн Таагепера, эстонец по национальности, назвал первым чудом послевоенной Эстонии.

26 ноября — (первый?) черный день

Разумеется, мы были готовы к тому, что Президиум Верховного Совета СССР отрицательно воспримет поправки к эстонской конституции. Были мы готовы и к тому, что наши шаги встретят непонимание и осуждение, что Союз будет трактовать нашу самозащиту как национализм и сепаратизм, что миру нас представят как enfant terrible Советского Союза.

Однако меня (нас) ошеломила непомерность сопротивления, которое заставило Президиум Верховного Совета СССР превысить свои полномочия и аннулировать наши политические документы, на что у Президиума не было юридического права, к тому же юридически эти документы аннулировать вообще невозможно. Да, наши поправки вошли в противоречие с союзной конституцией. Однако противоречие это вторично. Первичное противоречие заложено в самом основном законе страны, где в одних статьях утверждается право союзных республик на суверенность и самоопределение, а в других — республики ставятся в зависимость от центральной власти.

Если даже эстонский прецедент не смог доказать ничего иного, то он хотя бы продемонстрировал, что есть у нас законы и посильнее Основного, который зиждется на великодержавном праве сильного.

Один из самых мягких упреков, который мы выслушали, заключался в том, что Эстония слишком спешит с созданием правового государства. Как тут не вспомнить пример Эйнштейна к теории относительности: пассажиру стоящего поезда кажется, что все идущие мимо ужасно спешат.

Что же дальше?

Энергии и дыхания поющей революции 1988 года хватило и на новый год. 19 января 1989 года Верховный Совет ЭССР первым среди союзных республик принял Закон о языке, который обеспечил законные гарантии для защиты эстонского языка на единственной территории его применения. Впереди долгий путь к реализации ИМЕ, к урегулированию гражданства, выработке и принятию новой Конституции республики.

Все вместе это можно назвать строительством Новой Эстонии, в которой социализм обретет утерянную суть, станет поистине гуманным строем. Новой Эстонии, которая станет сильной, чистой, высокообразованной, являющейся оплотом как для коренных ее

жителей, так и для всех, кто связал жизнь с этой землей, которая будет интересна миру и полезна всему Советскому Союзу.

Нет иной силы, кроме жестокого насилия, чтобы остановить это движение. Правда, есть и такие, кто хотел бы повернуть вспять колесо истории. Одни видят выход в точной реставрации Эстонской буржуазной республики, другие в косметически подремонтированном неосталинистском обществе. Однако в основной на здравом смысле политической борьбе как то, так и другое обречено на провал.

Принцип нашего движения прост и естествен: свободное развитие эстонцев на их исконной родине — залог свободного развития и всех жителей Эстонии, так же как свободное развитие Эстонии и других союзных республик — залог свободного развития всего Советского Союза. Мы нуждаемся друг в друге, но не в качестве подчиненных или козырных тузов, а в роли свободных государств. И лишь тогда мы сможем говорить о союзе республик свободных.

Перевод Веры Прохоровой

Устав Союза писателей Эстонии

I. Основные положения

1. Союз писателей Эстонии (СПЭ) является творческим союзом эстонских писателей, критиков, литературоведов и переводчиков, а также объединяет писателей, критиков, литературоведов и переводчиков, проживающих в Эстонской ССР и пишущих на других языках.

2. СПЭ имеет права юридического лица. У него самостоятельный баланс, печать и атрибутика.

3. СПЭ считает себя созданным в 1922 году. СПЭ принимает участие в работе Союза писателей СССР на основании своего устава, как целостная самостоятельная организация, так и посредством деятельности своих членов.

4. СПЭ:

а) объединяет, развивает и представляет профессиональную литературную деятельность в Эстонии;

б) отстаивает творческие, профессиональные и экономические интересы и права своих членов;

в) защищает свободное развитие литературных, языковых и культурных ценностей, их распространение, последовательность и ознакомление с ними;

г) заботится о развитии международных творческих и организационных связей эстонской литературы и членов СПЭ, способствует развитию литературных исследований, ознакомлению и переводам литературы народов мира в Эстонии;

д) является выразителем убеждений своих членов по основополагающим национальным, культурным и политическим вопросам.

5. У СПЭ есть издательское право и право создавать подчиненные

ему, в том числе и действующие на основании независимого устава, издания, издательства, дома творчества, книжные магазины, учебные и другие учреждения и предприятия.

6. На баланс СПЭ средства поступают:

- а) из ежегодных членских взносов;
- б) от Совета Министров Эстонской ССР;
- в) от подразделений СПЭ;
- г) из других источников.

СПЭ открывает и закрывает счета и специальные счета в кредитных учреждениях и проводит финансовые операции.

7. У СПЭ могут быть региональные отделения, секции и молодежные объединения.

II. Члены Союза писателей Эстонии

8. СПЭ состоит из действительных членов, членов-корреспондентов и почетных членов.

9. Действительным членом СПЭ может стать созревший профессионально писатель, являющийся гражданином Эстонской ССР и признающий устав СПЭ. При оценке профессиональной зрелости учитываются изданные произведения, опубликованная критика этих произведений, а также мнения, представленные от отделений, секций и молодежных объединений. Для приема в члены СПЭ требуются рекомендации трех членов Союза, из которых по меньшей мере у двоих членский стаж должен быть не менее пяти лет.

10. Членом-корреспондентом СПЭ может стать живущий за границей эстонский писатель, переводчик эстонской литературы или ее популяризатор, который признает устав СПЭ.

11. В почетные члены СПЭ избираются лица, имеющие особые заслуги перед эстонской литературой.

12. Действительные члены СПЭ имеют право выбирать председателя СПЭ, правление и ревизионную комиссию, рекомендовать кандидатов для приема в члены Союза, предлагать кандидатов в почетные члены и члены-корреспонденты СПЭ, самим быть избранными на все выборные должности Союза, принимать участие во всех проводимых Союзом мероприятиях, пользоваться имеющимися в распоряжении Союза материально-бытовыми возможностями помощи, а также выходить по собственному желанию из состава СПЭ.

13. Действительный член СПЭ обязан помогать СПЭ в выполнении его основных задач (п. 4), принимать участие в общих собраниях СПЭ, руководствоваться решениями, которые касаются всех членов Союза, своевременно платить членские взносы.

14. Член-корреспондент СПЭ имеет право принимать участие во всех организуемых СПЭ мероприятиях. Член-корреспондент содействует работе СПЭ и находится в тесном контакте с ним. Член-корреспондент освобожден от уплаты членских взносов.

15. Почетный член СПЭ имеет все права действительного члена и

члена-корреспондента СПЭ. Почетный член СПЭ освобожден от уплаты членских взносов.

16. Действительных членов и членов-корреспондентов СПЭ принимает правление СПЭ тайным голосованием, когда за прием голосует не менее половины голосующих. Почетных членов СПЭ принимает общее собрание СПЭ тайным голосованием, когда за прием голосует не менее $\frac{2}{3}$ присутствующих. Все члены Союза получают членские билеты СПЭ.

17. По предложению членов СПЭ, его руководящих подразделений, Суда Чести (п. 22) члена Союза можно исключить из состава СПЭ. Вопрос об исключении решает общее собрание СПЭ тайным голосованием при перевесе $\frac{2}{3}$ голосов.

18. Каждый член-корреспондент СПЭ, который остается жить в Эстонской ССР и принимает гражданство Эстонской ССР, получает все права действительного члена СПЭ. У каждого действительного члена СПЭ, теряющего гражданство Эстонской ССР и уезжающего из Эстонской ССР, есть право оставаться членом-корреспондентом СПЭ.

III. Структура Союза писателей Эстонии

19. Высшим руководящим подразделением СПЭ является общее собрание, которое собирается не реже одного раза в год. Чрезвычайное Общее собрание может созывать правление, ревизионная комиссия или не менее $\frac{1}{5}$ членов СПЭ.

20. Общее собрание СПЭ выбирает каждые три года тайным голосованием большинством простых голосов председателя СПЭ (но не более, чем на два очередных срока) и еще 14 членов правления и ревизионную комиссию из 7 человек. Также общее собрание СПЭ избирает, согласно утвержденному статусу, через каждые три года главных редакторов изданий СПЭ. В каждый период между общими собраниями не менее $\frac{1}{5}$ членов СПЭ имеют право начать голосование по оказанию доверия избранным лицам и подразделениям. Общее собрание СПЭ тайным голосованием большинством простых голосов избирает делегатов на съезды СП СССР.

21. Председатель СПЭ и правление организуют повседневную деятельность Союза и отчитываются о проделанной работе перед общим собранием СПЭ.

22. Правление СПЭ избирает из своего состава заместителей председателя и секретарей, утверждает работников аппарата Союза и выдвигает кандидатов в руководящие подразделения СП СССР, принимает действительных членов и членов-корреспондентов СПЭ на основании утвержденного Общим Собранием статуса, создает Суд Чести ad hoc для разрешения конфликтов, возникающих между членами СПЭ.

23. Ревизионная комиссия СПЭ контролирует финансовую деятельность СПЭ и представляет результаты проверок правлению и общему собранию СПЭ.

24. Деятельность подразделений СПЭ, секций, отделений, объединений, Суда Чести и изданий регламентируется соответствующими статусами и уставами. Связи СПЭ с создаваемыми при нем предприятиями и кооперативами основываются на договоре.

25. Устав СПЭ может изменять только общее собрание СПЭ при тайном голосовании в $\frac{2}{3}$ голосов. Устав СПЭ входит в силу с момента его принятия.

26. СПЭ может быть ликвидирован только общим собранием СПЭ не менее $\frac{2}{3}$ голосов.

Исповедь провокатора

Сочинения документалистов дописывает сама жизнь. Потому каждый, казалось бы, неожиданный поворот в судьбе героя очерка, происшедший после публикации, бесстрастно свидетельствует о том, какие и где царят нравы.

Один из моих коллег более года назад писал: «Мы, газетчики, подняли людей в атаку, но если мы их не прикроем, их просто скосят». И доньше «прикрытый» не изобретено. Потому говорить уже приходится без всяких «если». Косят, безжалостно косят наших героев! Ведь в стране и ныне — «двоевластие», как справедливо заметил Андрей Нуйкин, или иначе: существует, по меткому выражению Михаила Ульянова, «две идеологии». Потому-то похожи многие современные истории на эпизоды прошлых десятилетий.

...Для меня все сказанное не просто рассуждения о бедах публицистики. Сам стал невольным провокатором. По моей вине оказалась сломанной судьба человека. Помочь ему, сколько ни пытался, не смог. Остается каяться...

Экскурс в эпоху «кривой экономики»

Четырнадцать лет стоял во главе рыболовецкого колхоза «Новый мир», крупнейшего в Приморском крае, дающего ныне один процент общесоюзной добычи рыбы, Иван Алексеевич Шпарийчук. В начале восьмидесят второго года был он от председательской должности отрешен.

Надо сказать, что изгнание толкового, умелого человека с руководящего поста стало для «Нового мира» своего рода традицией. Колхоз этот, созданный в 1930 году, еще перед войной стал миллионером и остается им поныне.

Но Юхан Ганслеп, один из первых председателей, положивший начало процветанию «Нового мира», первый орденоносец среди рыбаков Приморья, сгинул в тридцать седьмом году. Прямой предшественник Шпарийчука Петр Поликарпович Шкуренко, возглавлявший колхоз в сложнейшее время (когда переходили приморские рыбаки от кустарного прибрежного лова на деревянных самодельных суденышках к современной промышленной добыче в океане на сейнерах и траулерах), более полугода провел в камере предварительного

заклучения. Правда, суд, внимательно изучивший его дело, пришел к выводу: все обвинения против Шкуренко построены на песке. Но оправдательное решение вынесли на четвертый день разбирательства. А в середине третьего Петр Поликарпович умер — прямо на скамье подсудимых. Не выдержало сердце. А было ему от роду сорок четыре года...

Шпарийчук — коренной дальневосточник. Начал работать в «Новом мире» девятнадцатилетним юношей в 1954 году. Окончив мореходку, ходил штурманом, потом капитаном на колхозных сейнерах. Стал одним из самых добычливых капитанов. А после трагической смерти Шкуренко в 1968 году был единодушно избран председателем.

За те годы, что простоял Иван Алексеевич у штурвала «Нового мира», колхоз изменился неузнаваемо. Почти вдвое вырос флот, постоянно ползли вверх цифры уловов, показатели чистой прибыли. Практически заново был построен современный по всем статьям колхозный поселок. И в том, что сегодня «Новый мир» обеспечивает своих рыбаков и жильем, и соцкультбытом, и разным довольствием несравненно щедрее, чем обеспечены их сотоварищи по труду на Дальнем Востоке, немалая заслуга Шпарийчука. За то и шли ему награды — медали, почетные грамоты, орден Трудового Красного Знамени.

Но, известное дело, ходил (да и нынче ходит) любой председатель колхоза по лезвию бритвы. Как и прочие его коллеги, не имел Иван Алексеевич возможности удовлетворять даже самые насущные потребности развивающегося хозяйственного организма, соблюдая тысячи строжайших инструкций. Многого делалось в обход запретительных бумаг. И необходимые для строек материалы изыскивались самыми причудливыми способами. И неразрешимая, казалось бы, для колхоза проблема — постанковка судов в ремонт — решалась вопреки многочисленным «указикам». Бывало и такое — раздается из района звонок: едут почетные гости, надо принять. Принимали, угощали экзотическими блюдами из «даров моря». Все как положено.

Да и как иначе? Ведь любой председатель колхоза у районных властей «на крючке». Захотят — так повернут его судьбу, захотят этак. Старался Иван Алексеевич иметь с начальством в районе самые добрые отношения. Даже такой случился эпизод, поставленный позднее Шпарийчуку в укор. Районный прокурор попросился однажды в колхоз на время отпуска матросом. Мог ему Шпарийчук отказать? Конечно, не мог. Взял и послал в «золотой рейс». И заработал прокурор (как и прочие матросы того же судна) за отпускные дни солидную сумму.

Было и другое: действуя в обход многих инструкций, нарушал Иван Алексеевич иные правила, теряя чувство меры. Появились в его окружении хамоватые береговые «добытчики», которых Шпарийчук, случалось, жаловал больше, чем добытчиков истинных. Но уж чего за ним никогда не значилось, так это — корысти. Ворочал миллионами, а сколько потом ни копались разные комиссии, призна-

ли: копейки к рукам не пристало. Об одном всегда радел — о пользе «Нового мира».

Что же до грехов — куда от них денешься? Кривая экономика тех лет кривила и людские души. И тот, кто был в центре этой круговерти, никак не мог остаться ангелом.

Однако уже в наше время — и в восемьдесят седьмом году, и в восемьдесят восьмом, когда развернулись главные события этой истории, давние грехи Шпарийчука в инстанциях перебирали и перещупывали с большим старанием и охотой. И получилось — будто один бывший председатель виноват во всех изъянах целого периода истории страны.

Однако сам Шпарийчук тогда, в восемьдесят втором, и отрешение свое от председательства, и строгий партийный выговор с занесением в учетную карточку, воспринял как наказания справедливые: грешен ведь, куда денешься.

Ему предлагали из «Нового мира» уйти. Сулили разные руководящие посты в ближней и дальней округе. Но Иван Алексеевич из редкой породы людей, которые малую свою родину любят не на словах, а на деле. Потому не привлекли его высокие кресла. Он стоял на своем: негоже бросать колхоз, ради процветания которого столько положено сил, где сам живет сызмальства, где и родители его, и дети, где люди знают его и многие по-прежнему уважают, ценят, идут за советом и помощью. Так и остался в «Новом мире» — рядовым инженером.

Партийные взыскания были с него сняты в 1985 году. А годом позже назначили Шпарийчука заместителем председателя по строительству.

«Что же вы затыкаете рты?»

Однако событие, которому суждено было стать завязкой основного сюжета, произошло раньше — осенью 1984 года. К тому времени среди рыбаков «Нового мира» возникло недовольство председателем, сменившим Шпарийчука. Прежде этот человек не одно десятилетие работал стармехом на сейнерах и траулерах. Специалист в своем деле первоклассный. Но такая махина, как «Новый мир», оказалась ему не по плечу.

И рыбаки потребовали провести досрочные перевыборы: стармеха отпустить с миром, а к колхозному кормилу вернуть Шпарийчука, который, по их твердому убеждению, все прежние свои грехи, просчеты, ошибки осознал и сделал правильные выводы.

Делегация колхозных капитанов направилась в крайком партии, была здесь принята и внимательно выслушана. Однако решение в «высших сферах» вышло половинчатое: стармеха освободить, Шпарийчука не избирать. С тем и пришли руководящие товарищи на досрочное отчетно-выборное собрание...

В «Новом мире» я побывал впервые в 1971 году. И потом ездил туда почти ежегодно в течение одиннадцати лет. Написал о рыбаках «Нового мира» две книги, множество очерков в газетах и журналах.

Однако потом в течение четырех лет в Приморье не был. К великому сожалению, и на том собрании не присутствовал.

В сентябре восемьдесят шестого, когда вновь я оказался в колхозе, речь пошла о досрочном отчетно-выборном собрании. С великой обидой вспоминали о нем рыбаки. Вот некоторые их высказывания. В. А. Газ, колхозный пенсионер: «На собрании старались дать слово только подготовленным ораторам. Нескороко человек, кто был за Шпарийчука, все же прорвались на трибуну. Но председатель собрания заявил: одна кандидатура есть, другую записывать не будем — так не делают. За Шпарийчука кричал весь зал. Тогда Яшин (в то время первый секретарь Шкотовского райкома КПСС — И. Д.) стал угрожать: «И не таких укрощали». А. Ф. Зеленев, капитан траулера: «Яшин на собрании сказал: «Будете голосовать за Шпарийчука: ничего не получится, соберемся завтра, послезавтра и так далее...» Из зала кричали: «Что вы затыкаете рты?» В. Ф. Фролов, заместитель главного инженера колхоза: «Весь смысл собрания был в том, чтобы не избирать Шпарийчука. Запугивали, страшали. Кто-то из президиума пригрозил: «Если изберете Шпарийчука, возбудим против него уголовное дело».

Несмотря на то, что фамилию Шпарийчука не позволили внести в список для тайного голосования, 37 уполномоченных из 106 вписали его в свои бюллетени.

Об этом собрании писал я дважды. Сперва в документальной повести «Как дела у вас, друзья?» (журнал «Дальний Восток», № 7 и 8, 1987). А когда эта публикация вызвала яростный протест местных руководителей, ответил оппонентам очерком «Сопrotивление» в «Литературной России». Он был опубликован 4 декабря 1987 года.

А 27 января 1988 года бюро Шкотовского РК КПСС исключило Шпарийчука из партии.

Месяц спустя его сняли с должности заместителя председателя колхоза по строительству.

Персональное дело

Узнав о недобрых переменах в судьбе Ивана Алексеевича, я при первой же возможности — в марте 1988 года — вновь вылетел в Приморье.

Большинство собеседников уверенно мне отвечали, что сочинения мои никак на Шпарийчуке не отразились. Мол, котлеты отдельно, мухи отдельно. Шпарийчук совершил несколько серьезных проступков — за то и наказан.

Первый из проступков таков. В середине августа прошлого года Иван Алексеевич завез сено матери Елене Степановне, которая держит корову. Когда сено было выгружено и сметано в копну, мать, по старой недоброй традиции пригласив пятерых мужчин к столу, выставила бутылку водки.

Вместе с другими выпил и тракторист Анатолий Чупрасов. Шпарийчук уговаривал его либо не пить, либо оставить трактор на по-

дворье матери. Но тот только отмахнулся: сто граммов и разговору не стоят. А когда Анатолий, отогнав машину на колхозный двор, вышел на улицу, повстречавшийся ему участковый милиционер учуял запах спиртного...

Давал объяснения Шпарийчук по этому поводу семнадцать раз. Заплатил полсотни штрафа, получил выговор от правления, от профкома, партийный выговор. Но в районе сочли меры не достаточными. Затребовали дело для обсуждения на бюро райкома. В одном доверительном разговоре Шпарийчуку сообщили: есть мнение — исключить.

Узнав о том, Иван Алексеевич не явился на парткомиссию, а потом и на бюро райкома. Он написал заявление первому секретарю райкома партии — просил разобрать его дело сперва на общем собрании колхоза, но получил отказ. В райкоме считали, что колхозным коммунистам в таких случаях доверять нельзя: принимают слишком мягкие решения.

Эта история еще не закончилась, как подоспела другая. Руководство района обратило внимание, что во всех организациях и предприятиях на подведомственной территории борьба с пьянством приносит результаты: меньше работников попадает в вытрезвитель, меньше задерживают в нетрезвом виде за рулем. А вот в колхозе «Новый мир» показатели эти лезут вверх. Вызвали «на ковер» председателя А. Т. Попкова и секретаря парткома В. Л. Бойко. Первому объявили выговор, второму поставили на вид. Но как-то так вышло, что и тут главным виновником «негативных явлений» оказался Шпарийчук. Почему Шпарийчук? А потому, что среди многочисленных его нагрузок (тут он явно не рассчитал своих сил: куда ни выберут, за все брался) в течение десяти месяцев была и такая — председатель товарищеского суда. За это время по делам трех рыбаков послал Иван Алексеевич в органы милиции форменные отписки. Двое из согрешивших уехали надолго в отпуск, а третий — тоже надолго — ушел в море. Потому разобрать их надлежащим образом возможности не было. Воспитательные же беседы с каждым из них Шпарийчук провел. Ему бы и осветить все, как было, а он, убоившись проверяющих, написал, что дела всех трех рыбаков судом разобраны. Назначенная «для служебного расследования» комиссия, которая к реальным грехам Шпарийчука щедро подмешала и мнимые, усмотрела в деятельности товарищеского суда «систематическое сокрытие нарушений общественного порядка».

«Дело Шпарийчука» с середины декабря получает второе дыхание. Партком колхоза — уже по совокупности двух прегрешений — объявляет ему строгий выговор с занесением в учетную карточку. Бюро райкома партии эту меру сочло либеральной, вынесло решение — исключить. К «эпизоду с сеном», к «систематическому сокрытию» добавляется «непартийное поведение в ходе рассматривания персонального дела».

Белые нитки

На первый взгляд все «ладно скроено, крепко сшито». Но стоит присмотреться чуть пристальнее, начинают проступать белые нитки. По «эпизоду с сеном» Шпарийчук был обвинен в «организации пьянки с подчиненным трактористом». Однако тракторист ему не подчинен. В колхозе ныне работает две тысячи человек, у председателя несколько заводов. И тракторы в заведование Шпарийчука не входили. Да и по самой ситуации ясно, что в данном случае играл Иван Алексеевич вовсе не роль руководителя, а «сына хозяйки». Потому его указания тракторист воспринимал не более как дружеский совет. Главное же: никакой пьянки Шпарийчук не организовывал. То, что Елена Степановна выставила на стол бутылку, для него было неожиданностью. А Иван Алексеевич человек по рождению сельский, мать называет на «вы», возражать ей никогда не посмеет. Словом, как ни крути, чувствуется в грозном обвинении явная натяжка.

То же с товарищеским судом. Нет никаких оснований видеть в действиях Шпарийчука нарочитое «сокрытие» — никто из грешников не сват ему, не брат, не друг. А три отписки за десять месяцев — это никак не «система».

А вот совсем другая «система», система сбора «компромата», проступает во всей истории совершенно определенно. «Эпизод» с сеном произошел 18 августа, а разбирательство по нему началось почти полтора месяца спустя. Почему? Не потому ли, что журнал «Дальний Восток» вечно выходит с запозданием? Восьмой номер, где была глава о колхозе, дошел до читателя уже в сентябре. Пока был прочитан, обсужден...

Первый секретарь Шкотовского райкома партии Геннадий Викторович Белоконов убеждает: здесь чистое совпадение. Оттяжка же, по его словам, вышла из-за того, что участковый милиционер, изловивший выпившего тракториста, сам вскоре был обнаружен в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Факт, конечно, печальный, но как он связан со Шпарийчуком? Понять не просто...

Геннадий Викторович выдвигает еще одну причину. Шпарийчук был в отпуске, не хотели его тревожить. Опять не проходит. В отделе кадров колхоза сообщили: в отпуск Иван Алексеевич ушел 24 сентября. А как раз в последних числах месяца началось разбирательство. И Шпарийчуку — отпуск он провел дома — именно в эти отпускные дни пришлось давать первые объяснения по поводу «эпизода с сеном».

Еще одна белая нитка. 9 января 1988 года в районной газете «Ленинский луч» появляется статья «Пьянству — бой!». Ее автор, — давний недоброжелатель Шпарийчука В. Г. Батизат, который по поводу реальных и мнимых проступков Ивана Алексеевича написал в разные инстанции множество «донесений». В статье тракторист Анатолий Чупрасов назван «хроническим алкоголиком». Упоминание про это в такой хитрый контекст поставлено, что звучит упреком в адрес Шпарийчука, хотя сам Батизат в то время занимал пост заместителя

председателя по кадрам и воспитательной работе. Мало того — весь «эпизод с сеном» изображен Батизатом так, будто лишь вмешательство того самого героического участкового спасло жителей поселка от гибели под колесами трактора.

Белоконь признает: статью эту газета дала зря. Но что поделаешь — сегодня за каждым шагом прессы следить не принято. А редактор молодой. Вот и совершает ошибки. Однако ничего преднамеренного в этой газетной акции не было.

Пусть так. Но если райком считает выступление газеты ошибочным, не худо бы об этом уведомить читателя. Не уведомили.

Теперь про товарищеский суд. Та же районная газета в номере от 29 марта 1988 года ставит законный вопрос: этично ли было назначать главой комиссии, проверяющей деятельность Шпарийчука, колхозного юриста Г. Е. Ганева, который до февраля 1987 года был сам председателем товарищеского суда, а потом его освободили, ибо работу суда он, по мнению колхозников, завалил. Добавим — вошел в комиссию и В. Г. Батизат. Не в том ли причина, что к былям в акте обследования примешано множество небылиц?

Белоконь и здесь соглашается — состав проверяющих подобран неудачно. Но ведь и не принята справка этой комиссии как абсолютная истина. Что верно, то верно. Передо мной выписка из решения правления «Нового мира». Есть там такая фраза: «Председатель колхоза т. Попков А. Т. указал на односторонность справки служебного расследования». Только вот что опять же странно: на «односторонность» указал, а все почти предложения комиссии приняли. В том числе и самое грозное, стоящее под номером первым: «тов. Шпарийчука И. А. от занимаемой должности заместителя председателя колхоза отстранить и впредь на руководящих должностях не использовать». Хотя сей приговор и вовсе звучит нелепо: изучала-то комиссия вопрос о том, как исполнял Шпарийчук одно из многочисленных общественных поручений.

«Реабилитировать» — «дискредитировать»

Надо сказать, что разговор про такого рода материи Г. В. Белоконь поддерживал без особой охоты. К чему это копание в мелочах? Есть бесспорный факт: Шпарийчук нарушил постановление о борьбе с пьянством и алкоголизмом. А за это райком всякого карает безжалостно, невзирая на прошлые заслуги.

Но вскоре оказался в моем распоряжении документ, который и эту твердость ставит под сомнение. В служебной характеристике, выданной одному бывшему районному деятелю, который затем много лет работал в колхозе, черным по белому написано: «...он стал совершать прогулы по причине запоя... Разбирался на всех уровнях общественно-политического формирования, давал заверения, однако повторял все сначала». Характеристика была составлена для хода-

тайства о персональной пенсии. Райком ходатайства не поддержал. Но и оргвыводов не сделал.

Почему же по-другому подошли к персональному делу Шпарийчука? Ведь нелепо его причислять к пьяницам: люди, рядом с которыми прожил он всю жизнь, имеют на этот счет совершенно определенное мнение.

На партийном собрании цеховой организации правления «Нового мира», где мне довелось присутствовать, начальник отдела снабжения колхоза П. М. Солодухин, вернувшись в своем выступлении к делу Шпарийчука, задал прямой вопрос:

— Кто видел хоть раз Ивана Алексеевича пьяным или полупьяным?

В зале сидели не только сторонники бывшего председателя, но и его недоброжелатели, однако ни один не взял греха на душу сказать: мол, было такое.

Рыбаки колхоза «Новый мир» — народ не наивный. Вот, сопоставляя факты, и не верят они, что райком подошел к делу Шпарийчука объективно. Метод-то давно известный: подвести неугодного под очередное постановление. К тому же и цифра в отчетах вырастет, станет дополнительным свидетельством: Шкотовский райком ведет борьбу с пьянством активно и энергично. А «по конечному результату» пока о деятельности партийных органов не судят.

Жаль! Кабы подошли с этой меркой, обнаружилось бы, что такие истории, как дело Шпарийчука, не то что пользы не дают, но наносят вред. Отличался прежде «Новый мир» здоровым моральным климатом. Теперь — сами рыбаки это отмечали — здесь склока на склоке. Подсматривают друг за другом, стараются подловить «неугодных». И — сигнал в инстанции. О том, к чему это привело, не раз говорил публично нынешний председатель Алексей Тимофеевич Попков: ни одно серьезное дело, касающееся жизни колхоза, в самом его коллективе не решается, каждое вершится каким-нибудь вышестоящим органом. Чувство хозяина, которое исстари было новомирцам присуще, при такой ситуации не развивается, но начинает угасать. Зато страсть к соглядатайству и доносительству расцветает, как и в недобрые старые времена.

Верно определил нынешнюю беду колхоза Алексей Тимофеевич, в прошлом ученик Шпарийчука, прошедший азы хозяйственной мудрости под его присмотром. Но сам-то Попков, как и любой председатель. У районного начальства опять же «на крючке». Потому последовательность и в делах, и в суждениях проявлять трудно! Тем паче, сам уже партийным выговором отмечен.

Оказался, к примеру, Попков единственным членом бюро райкома партии, кто проголосовал против исключения Шпарийчука. Объяснили ему в райкоме, что позиция его порочна, он с этим согласился. Мало того — сам в дальнейшем к делу своего учителя приложил руку.

Как раз в дни моего пребывания в «Новом мире» (снова случайность?) газета «Рыбак Приморья» опубликовала статью «Не та фигура». Ее автор — местный литератор А. Лебедев, служивший несколь-

ко лет в колхозе сторожем пионерского лагеря. Есть в статье абзац, где мои сочинения вводятся в совершенно определенный контекст: «Все шло к полной победе «опального» председателя (Шпарийчука — И. Д.), его окружения. Для того чтобы не случилось осечки, задействовали «дальнобойную артиллерию» в лице московского журналиста И. Дуэля, давнего друга Шпарийчука. Серия пространных публикаций в журнале «Дальний Восток» и «Литературной России» имела четкую цель: полностью реабилитировать Шпарийчука, дискредитировать партийное руководство района и края...»

Доказательств не приводится, но в данном случае важно другое: газета Приморского крайкома КПСС, публикуя статью без всяких комментариев, тем самым присоединяется к суждению, которое, как я мог понять, и стало определяющим во всем этом деле. Всякая попытка защитить Шпарийчука отождествляется с подрывом политической линии местного руководства.

Недаром же и самому Ивану Алексеевичу на разных этапах разбора его дела так или иначе задавали вопросы про мои публикации — как они появились, да почему, да отчего? Вот вам: котлеты отдельно, мухи отдельно!

Необъявленная война

Честно говоря: чем больше я думал об этой истории, тем больше удивлялся. Из-за чего такое кипение страстей? Ведь я же не следователь, мафию не разоблачил. Ни с кого из руководящих деятелей, мною задетых, волосок не упал. Только и сделал, что придал гласности мнение тех, с кем беседовал.

Однако, понял я, именно в том и причина: мнение нечиновного люда через головы руководителей райкома вышло на печатные полосы. Из-за того и гнев!

Ведь что происходит в Шкотовском районе, если обозначить ситуацию четко и ясно? Который уже год ведет райком необъявленную войну против колхозников «Нового мира». И терпит поражение за поражением. Недаром же рыбаки использовали каждую возможность, чтобы выразить уважение Шпарийчуку. Скажем, избрали его депутатом поселкового Совета — именно избрали, предпочли другим. И сейчас, после всех напастей, обрушившихся на Ивана Алексеевича, отзываться из депутатов не собираются.

В феврале 1988 года, уже после исключения Ивана Алексеевича из партии, уже после того, как была проведена очередная кампания по дискредитации Шпарийчука, в которой и представители краевых организаций приняли деятельное участие, на новом отчетно-выборном собрании рыбаки опять выдвинули его в члены правления. Затем 92 уполномоченных из 148 проголосовали за Ивана Алексеевича. Семи голосов ему не хватило, чтобы войти в правление полноправным членом, но одним из двух кандидатов в члены правления он стал. А голосование было открытым.

Когда и после этого говорят мне: «Шпарийчук опирается на узкую группу людей, лично ему преданных», — я могу с полным правом ответить: не верю. И вот тому еще подтверждение: письмо двух членов нового правления А. Ф. Зеленева и В. П. Кислицы: «Сразу после общего собрания было создано первое правление колхоза. Встал вопрос о т. Шпарийчуке И. А. Поскольку он понес много наказаний за свои нарушения, было принято решение оставить его на прежней должности... На следующем заседании правления 22 февраля (1988 года — *И. Д.*) председатель колхоза т. Попков заявил, что первое правление было неофициальным и решения, принятые на нем, неправомочны... Снова был поставлен вопрос об освобождении т. Шпарийчука И. А. от занимаемой должности. Вначале большинство членов правления высказались против этого решения. Тогда Попков А. Т. сказал, что если мы не освободим Ивана Алексеевича, то с каждым из членов правления будут разбираться райком и парткомиссия персонально...» Этот довод все и решил!

И что поразительно: такой стиль руководства считает Шкотовский райком соответствующим духу времени. Недаром же первый секретарь Геннадий Викторович Белоконь, с которым я имел две долгие беседы, вывод мой о том, что райком ведет войну с рыбаками «Нового мира», хоть и выслушал с вниманием, но отверг решительно. И вопрос им был поставлен прямо: если так понимать, то как же сегодня райкому осуществлять руководство тем же колхозом? Ведь не оставаться же праздным созерцателем, когда видишь, что проявляются там «негативные тенденции»!

Я ответил: по моему пониманию, должен действовать райком убеждением, но отнюдь не нажимом, не силой, не выламыванием рук. И еще: пора научиться слушать тех, кто внизу, взвешивать каждый свой довод, оценку каждого деятеля. Словом, вести диалог на равных, быть готовым к тому, что суждения низов окажутся мудрее выработанного «в высших сферах». И признать свою неправоту. Дать, наконец, возможность рыбакам самим решать свои проблемы, определять судьбы своих товарищей.

Геннадий Викторович слушал меня внимательно, но, как мне показалось, не сочувственно...

А пока суд да дело, Приморский крайком КПСС, куда обратился с апелляцией Шпарийчук, решение Шкотовского райкома оставил в силе. Разговор на бюро крайкома был короткий. «Постановление о борьбе с пьянством и алкоголизмом читали?» — «Читал». «Нарушили?» — «Нарушил». — «Ну вот и не место вам в партии».

Затем и КПК при ЦК КПСС летом 1988 года глубоко не стал вникать в это дело. Мне, скажем, уважаемые партийные контролеры не позволили предстать пред их светлыми очами. Хоть звонил им не раз, хоть пытался убедить, что располагаю документами, позволяющими увидеть дело Шпарийчука совсем в ином свете, чем представляли его ответственные лица из Приморья. На письмо же мое, направленное в КПК, ни словечка, не сочли нужным ответить, ну и, само собой разумеется, решение об исключении из партии Шпарийчука КПК оставили в силе.

«Окорот»

Лет двадцать назад в одном из районных сел российской глубинки первый секретарь местного райкома КПСС рассказал мне такую историю. Принимали в партию пастуха, парня во всех отношениях положительного, но не очень грамотного. На бюро райкома пришло в голову кому-то задать трудный вопрос: «Как представляешь себе главную задачу партии?» «Главная задача партии? — переспросил пастух и ответил не мешкая: — А чтоб окорачивать!»

История эта казалась секретарю очень забавной, и он, рассказав ее, сам долго хохотал, сотрясая солидное брюшко. Мудрый, мол, парень этот пастух, суть дела уловил точно.

А с наглядной агитацией в районе был полный ажур. Перекрестки грязных разбитых улиц, облезлые здания районных учреждений украшал весь набор положительных лозунгов. На райкоме висело линялое полотнище «Народ и партия едины!» Двойное сознание воспринималось в то время столь естественным свойством людской психики, что и мне не пришло в голову спросить секретаря — в каком смысле следует трактовать после его признания популярный лозунг? Не в том ли единство: одни «окорачивают», другие оказываются «окорачиваемы»? Да что вспоминать о давнем! Думаю, и сегодня такой вопрос, поставленный в лоб, многим покажется бестактным, а то и «политически вредным».

Как не раз уже отмечалось, бюрократия не может жить без тайн особого рода — таких, о которых знают все, но не говорит никто. Строгая завеса секретности скрывала, к примеру, и то, как происходит пополнение партийных рядов. Хотя, конечно же, всем было ведомо, что крестьян, солдат, а тем паче рабочих в партию и зовут, и привлекают, и даже тянут, а прием всякого рода специалистов с образованием, наоборот, стопорится, поелику возможно. Дабы сведения о социальном составе партии свидетельствовали о том, о чем должны свидетельствовать. Тут была своего рода «хитрая стратегия», тяжело дававшаяся нижним чинам партийных функционеров. Ибо рядовой люд в партию чаще всего не рвался, не видя в том особого для себя смысла. А инженеры, агрономы и прочие спецы жаждали занять партбилет, без которого мечта даже о скромном продвижении по служебной лестнице становилась неисполнимой.

Скажем прямо: пока в этом отношении небольшое изменилось. Правда, есть теперь один республиканский министр культуры — беспартийный и один беспартийный главный редактор журнала, которых повсюду показывают как диковину. Но будем надеяться, что объявленное с высоких трибун уравнение в правах партийных и беспартийных постепенно станет нормой жизни. А коли так, то надо признать, что грядет крутая перемена в представлении о роли партии в жизни общества и государства, предстоит серьезнейшее испытание ее авторитета.

И это заставляет совершенно по-иному взглянуть на традиционные методы партийных взысканий: выговоры, строгие выговоры, тем паче исключения. Надо прямо сказать, что весь этот набор «окорота»

нередко в руках не слишком добросовестных работников партийного аппарата превращался в способ внесудебной расправы над неугодными или непокорными. Расправы тем более простой и легкой, что при партийном разбирательстве «подсудимый» не имеет никаких реальных прав на защиту, а мера наказания ему не определена ничем отдаленно напоминающим статьи закона. Осуждение идет, как у древних народов: по меркам совести, которые у этих самых функционеров нередко весьма эластичны.

Все это легко проходило во времена сталинщины и застоя. И куда хуже проходит сегодня, когда на различных собраниях все чаще раздаются голоса об ответственности партии и за годы репрессий и за то, что страна была доведена до грани кризиса. Когда, как сообщила недавно «Правда» и как хорошо знаем про то мы, публицисты, странствующие по городам и весям, то и дело в разных районах страны происходят случаи, когда коммунисты сами являются в райкомы или парткомы и сдают свои партбилеты. Думаю, что там, где партийный аппарат и сегодня командует, как заблагорассудится, творит несправедливость, падение престижа того или иного партийного органа будет особенно заметно. Это может ныне проявиться и числом сданных партбилетов, вплоть до возникновения проблемы: останется ли кем данному аппарату руководить. Или еще проще — возьмет народ и не выберет секретаря партийного органа главой местного Совета. Вот тогда и выплывет вся тщательно скрываемая подоплека! А выборов в местные Советы не так уж долго ждать.

...Искренне сожалею, что о сути всех этих перемен не задумывались, как смог я понять, мои собеседники из Шкотовского райкома и Приморского крайкома партии. Кстати, должен заметить: некоторые из них не занимают прежние высокие посты. Среди таковых и бывший секретарь крайкома В. П. Чернышев, которого освободили от должности без всяких смягчающих формулировок.

Но куда более глубоко сожалею я, что дело Шпарийчука разбиралось во всех инстанциях до кадровых перемен, происшедших там (в том числе и в руководстве КПК) всего лишь через несколько месяцев после того, как был вынесен по отношению Ивана Алексеевича высший вердикт.

Я же, как считал, так и ныне считаю, что исключение Шпарийчука из партии есть «одно из проявлений «окорота». Причем «окорота» весьма своеобразного: до меня дотянуться не смогли, так врезали по Ивану. Именно потому и оцениваю я свою роль во всей этой истории как роль невольного провокатора. И потому же прошу считать мое сочинение письмом в адрес высшего органа КПСС — очередного ее съезда, к которому я обращаюсь с просьбой: пересмотреть дело Шпарийчука и восстановить его в партии. Ибо всю свою жизнь Иван Алексеевич отдал и продолжает отдавать служению народу.



Анатолий ПРИСТАВКИН

Письма сталинистов

Одна моя знакомая, работающая в журнале, как-то мне сказала, что она прежде не задумывалась всерьез о бывших сталинистах. Они ей казались как бы ископаемыми, существовавшими за пределами нынешнего перестроенного мира. Но вот когда начались всяческие разоблачения в статьях и очерках о временах культа, в письмах-откликах в редакционной почте возник мощный и неослабевающий поток от всякого рода сталинистов.

«Стало заметно, — сказала знакомая, — что их много и что они очень активные».

У меня, как, наверное, у любого писателя, почта обширна и особенно приобрела она свою интенсивность после публикации повести «Ночевала тучка золотая». Пишут разные люди: военные, бывшие детдомовцы, учителя, заключенные, колхозники, школьники — целыми классами. Среди писем есть отклики сталинистов. Хотя этим словом вряд ли можно определить всех этих людей, они ведь тоже разные: есть среди них оголтелые и не очень, а есть и такие, что просто однажды поверив Сталину, как Богу, продолжают ему верить, ибо Бога не обсуждают, ему можно только молиться, что они и делают. А в общем, чем трудней, чем сложнее наша нынешняя жизнь (трудности-то к нам пришли как результат того же сталинизма!), тем неистовее все эти люди уповают на старые добрые времена, когда в Доме был Хозяин, и значит, был и порядок, «не то, что ныне». Ко всем этим людям испытываешь обычно чувства сложные, тут и недоумение, и жалость, и отвращение, и даже злость. Но злость скорей на себя, что не могу я до конца их жалеть и им сочувствовать, как просто ни в чем не повинному «продукту» своего времени: в каждом времени есть честные и бесчестные, и при Сталине, как известно, первые сидели, а вторые их сажали, а не наоборот. Так что многие из них далеко не безвинные и никак не раскаявшиеся, они-то, судя по всему, самые яростные и непримиримые воители, посылающие письма во все инстанции, и эти письма читать страшно. Поневоле приходит мысль, что они не оттого не поняли, что не могли, а они *ничего не хотят понимать*; их вполне устраивает жестокая сталинская система рабства, когда можно жить, ни о чем не задумываясь и уповая на сильную руку, которая одна знает, что творит. А что эта рука натворила, мы уже знаем.

Так жить легко еще потому, что снимаются запретительные барьеры: морально то, что велено, и никаких угрызений совести. Вот в журнале «Советский Киргизстан» (№ 12 за 1988 г.) напечатаны воспоминания бывшего работника НКВД под многозначительной рубрикой «Как на духу». Он пишет сам о себе: «Я лично был участником ареста командующего Тихоокеанским флотом, фамилию запамятовал... Приходилось наблюдать полнейшую растерянность и страх этих мужественных людей в момент ареста, ощущал ли я торжество по этому случаю? Или ненависть к классовому врагу, пробравшемуся в госаппарат? Да нет, ничего подобного я не ощущал. Помнил только, что я комсомолец и солдат. Мне отдали приказ: езжай, арестуй, доставь — добросовестно его выполнял...»

Ну, этот в молодости (потом он дорос до полковника) хоть способен оценивать свои действия, может, даже готов раскаяться, хоть за ним, судя по запискам, остается такой тяжкий грех, как расстрелы, на которые он добровольно соглашался, даже сам напрашивался, можно ли это представить?! Но другие, которых большинство, они-то не только не раскаиваются, они нападают на остальных, они преследуют письмами честных людей и даже им угрожают. И их угрозы далеко не беспочвенны. Это ощущение силы дает им окружение, то, что мы называем народом. В том-то и сила сталинизма, что он не только уничтожал людей, он убивал души живых, он при помощи бациллы страха и насилия проник в клетку, изменив, исказив генотип того, что мы называем народом. Десятилетиями оторванный от источников информации, не имеющий ни своей истории, ни достоверной правды о прошлом страны, этот народ накопил в себе пока что ни в чем не выраженную возбужденность, озлобление, раздражение своим собственным состоянием, которое проявилось и в том, что среди статей нового уголовного кодекса он яростно отстаивает казнь, как средство самоустрашения и порядка. Этим он голосует за жестокость, не ощущая, что он уже и так жесток, и статья о казни — ни суровости, ни милосердия ему не прибавит. Даже школьники — десятиклассники, замечательные московские девочки, почти единогласно «проголосовали» за казнь, когда я с ними разговаривал. Что же говорить об остальных, в ком «черная кровь», ее в народе называют «дурной», требует выхода, поиска нынешних виноватых в их, и правда, тяжелой жизни.

Выход такой в прежние времена бывал один: бить интеллигентов и жидов, спасая Россию от внутреннего врага. И уже разгораются в народе шовинистические страсти, находя и своих теоретиков, и своих вожаков, и тут уже не общественные призывы, и не слово света, властью овладевает слепая толпа. И в пору тогда повторить известную истину: «Сталин умер, но дело его живет».

Я хочу предложить из своей почты несколько писем, они помогут яснее понять природу этих людей, с которыми мы рядом живем.

«Я считаю, что публикация подобных произведений (имеется в виду повесть «Ночевала тучка золотая» — А. П.) противоречит интересам нашего общества и подрывает устои нашего государства. Политика гласности провозглашена для того, чтобы в конечном итоге приносить выгоду государству... Авторы не понимают диалектики исторических процессов, их позиция отличается беспочвенным идеализмом. Они не понимают, что существует объективный закон взаимодействия, самоорганизации систем. Как большая и сильная амеба, обеспечивая себе будущее и место под солнцем, поглощает малых и слабых амеб, так большие и сильные народы поглощают, ассимилируют

и вытесняют малые и слабые народы... Без этого римляне остались бы жалкой кучкой апеннинских козлопасов, а несколько тысяч арабов до сих пор кочевали бы в песках Аравии. А что бы было с Русским народом, если бы маленькое московское княжество не начало бы в свое время подчинение прилегающих славянских, а потом и не славянских племен и народов? Были и такие, кто отвергал протянутую ему руку братской дружбы, их жалкая участь хорошо показана на картине «Покорение Ермаком Сибири», которую я, к сожалению, теперь нигде не вижу. А суть происходивших в 1930—40-х гг. событий состоит в том, что великий русский народ, как главный среди равных, при решительном руководстве и благоприятных условиях взял под полный контроль важные в экономическом и стратегическом отношении местности, очистив от таких нежелательных для него элементов, как корейцы, немцы, финны, татары, пруссаки, турки, болгары, греки, народы Кавказа. Рассеивание этих людей по огромной территории Средней Азии способствовало сближению наций и их ассимиляции. А русский народ при этом улучшил свое положение, заселив такие благодатные места, как Крым и т. д. Многие диктовалось и военной обстановкой. Выселение корейцев с Дальнего Востока подорвало усилия агентов японского милитаризма, которые легко могли маскироваться под корейцев. Если бы немцы не были выселены, то фашисты использовали бы их в борьбе против нас, готовили бы из них шпионов и диверсантов, а мильон шпионов и диверсантов мог бы повлиять серьезно на исход войны. В Крыму и в Калининградской области сосредоточена половина нашего в-морского флота. Что же касается других, то калмыкам было позволено вернуться в родные места, поскольку камни Калмыкии и камни Кавказа оказались мало приемлемы для русского человека... Что касается Крымской АССР и немцев Поволжья, то они уничтожены навсегда, окончательно и бесповоротно, равно как и другие народы иностранного происхождения, не имевшие государственности. Они должны проживать в местах, определенных для них органами внутренних дел. Не зря тов. Андропов с высокой трибуны заявил, что мы не допустим появление новых автономий. А куда зовет нас тов. Приставкин и иже с ним? Их публикации способствуют у вышеназванных народов появлению реваншистских настроений. Что же нам теперь снова заселять Поволжье, а в горах Крыма заведутся татарские душманы, которые будут нападать на курорты и сбивать «стингерами» самолеты? А на карте вместо милых нашему уху Грушовок, Сливенок, Изюмовок появятся Инкерманы и Карасу-базары? Нет, этого не будет, партия и правительство не допустят никогда. И гласность в этих вопросах истории недопустима...

Больших успехов мы добились в борьбе с евреями. Думаю, что использование болгарского опыта с турками принесло бы нам большую пользу. Ведь будущее нашей страны состоит в том, что все нацязыки и культуры заменяются единой общенациональной русской культурой и русским языком, и нельзя допустить, чтобы различные публикации тормозили этот процесс и вызывали нежелательные эксцессы. Гласность — оружие обоюдоострое, и, пользуясь им, следует глубоко задуматься над возможными последствиями...

Я понимаю, что вы не опубликуете мое письмо, поскольку оно содержит сведения, не подлежащие разглашению, да я на этом и не настаиваю. Мне просто хочется, чтобы вы имели в виду все то, что я написал, и учитывали в дальнейшей работе».

М. И. Кравчук

«Какую нужно иметь ненависть к обездоленным детям, к советским людям и нашему строю, чтобы написать такой пасквиль... Я много читал о детских домах и др. детских учреждениях, позже сам проработал в специальной школе, где были трудные дети, свыше 25 лет, но нигде никогда не встречал такого...

А как автор описывает взрослых?

Первый директор — живодер, жулик.

Второй — трус и «непонятливый».

Проводник вагона — жулик, хапуга, бандит.

Красноармейцы (в основном за кадром) — живодеры, убийцы, матерщинники.

Население (рынок) — злодеи, живодеры.

Воспитатели — безликие, кроме Регины Петровны, но кто она? — Предательница?

Ветераны войны (сцена в бане) — алкаши, живодеры, подонки.

Единственное светлое пятно — Вера-шофер, но автор испугался и вскоре ее убил.

У автора нет ничего святого, видимо, повесть по лиязыку и содержанию родная сестра «гения» Солженицына или «Плахе»... Но в «Плахе», правда, есть два светлых пятна — волк и волчица.

Не думаю, чтобы гласность (я за гласность и демократию) предполагает рытье в помойных ямах, какой является повесть Приставкина... Я сразу увидел, что это мерзкий пасквиль на нашу жизнь. А чему научится молодой человек? Уж кто искренне рад этой повести (пасквилю), так это сотрудники ЦРУ и радиостанции «Свобода», не даром едят свой хлеб. А автор будет иметь те же доллары, что и Солженицын. Разумеется, что это письмо вы не опубликуете, да и не надо».

*Борисов Александр Николаевич
г. Ростов-на-Дону*

«Уважаемые товарищи!

В последние годы усиленно проводится антисталинская кампания, в которой активное участие принимает пресса. Откройте любой номер газеты или журнала и вы найдете обличающий И. В. Сталина материал. Им вторит Приставкин... Вот Приставкин говорит, что после выхода его повести «Ночевала тучка золотая» его московская квартира превратилась в «комитет по делам национальностей». А мне страшно! Вероятно, кто-то и помогает перестройке, правдивому решению национального вопроса. Злоба, ненависть одолевают автора повести, как иначе понять его, когда он пишет: «Я же показал тыл, ока-

завшийся пострашнее войны: банды, спекуляция, насилие над детьми, жестокая система отношений». И такой писатель получает Государственную премию СССР! Поистине происходят чудеса; не на волне ли антисталинской пропаганды возник этот «инженер человеческих душ»?! Я не ученый, не историк, не писатель — рядовой труженик страны. Мои юность и молодость — 40—50-е гг. Я не кукушонок, не знающий правды о своем прошлом. Мы жили интересами страны, мужали и крепили вместе с ней, строили социализм, Урал, Воронеж, Киргизия, Кубань — никакой атмосферы страха, никакой вражды людей разной национальности, полнокровная нормальная жизнь. До каких же пор будут эти оскорбительные намеки, клевета на народ, до каких пор будут лить грязь на тов. Сталина?

С уважением бывший преподаватель, ветеран труда, пенсионер».

*Долгалева Т. И.
г. Кемерово*

«За повесть «Ночевала тучка золотая» писателю А. Приставкину присуждена Государственная премия СССР. А, спрашивается, за какой кляп, он ведь обязан работать, как и все при перестройке, взять 130—160 бычков на откорм, так пусть же трудится как все, ведь из тех, кто откармливает бычков, никто не получил премию. Когда я проливал кровь при обороне г. Севастополя 1941—1942 гг. был тяжело ранен и находился на поле боя 12 дней и кормил вшей и червей, ни один крымский татарин мне и другим бойцам не принес водички смочить глотку, а промачивали мы собственной мочой. Этот горе-писатель был в Грузии во время войны и пишет понаслышке, но сам в бою не был и не знает, чем пахнет кровь у раненого бойца на третьи сутки! А брехни всякого рода описывает, состряпывает и ничего, ей могут поверить... Вот сейчас творится в Армении, Азербайджане и прочих республиках, Сталина надо хотя бы на три дня и все замолкнуть. Вы согласны?».

*Рассказов И. А.
Ставропольский край*

«Я Сталинистка! И лозунг мой: «Не отступлю!», «Не оговорю себя!», «Не очерню!». Почему вы травите мою душу? Я из большой семьи, всю жизнь мы работали, работали много и сами шили себе, и садили, и копали, и воду носили, отец рано умер, все было на нас девчонках... Была мама труженица, сама много работала, еще общественной работой занималась бесплатно. То же самое делала и я всю жизнь. Чем же обделило вас государство? Вы выучились, видите, премию Государственную получили. Что еще вам надо? Сталин пришел в революцию голым, голым и ушел, и мы учились жить, как он, не заглядывая в карман государству. Так что же вы травите таких, как я? Нас много не заворовавшихся, есть люди, для которых всегда дороже всех сбережений совесть и честь. Нас пятеро сестер, и все дружны. А Сталин был очень мягкий человек, а форму буржу-

азия посоветовала ему одеть, чтоб выглядел все-таки повнушительней, ну а нам что внушают, что это он все приказал... Может и вы, Приставкин, помогали с помощью пародистов запугивать своих москвичей именем Сталина? (То ведь народу известно.) Успокойтесь, судя по вашей комплекции (имеется в виду, видимо, фотография — А. П.), вы сыты. Что вам еще не хватает? Лучше займитесь проблемой матерей-кукушек сегодняшнего времени, вдруг дети вздумают лет через пятьдесят Горбачева в гробу переворачивать, мне жалко его, ибо я стою на стороне слабых... Он защититься не может.

Я про Сталина говорю... Он предпочитал бой на равных, и вас всех видел насквозь! Неужели вы в партии, Приставкин? Вот потому я вне ее, хоть и коммунист по убеждению.

*Дигева Л. П.
г. Архангельск*

Ст. РАССАДИН

Иногда ирония должна восстановить то, что разрушил пафос.

Станислав Ежи Лец

«...свободы черная работа»

Едва начав возвращение к нам из насильственного забвения и заброса, Александр Галич, как многие, оказался перед нешуточным испытанием — гласностью.

Гласностью? Свободой? Не страшно ли это звучит применительно к поэту, выдержавшему испытание несвободой и безгласностью?

Может быть, странно, но и время у нас не из обычных.

Перечислять ли песни, сочинение и исполнение которых в свое время (нет, не так, не в свое — их время тогда еще не наступило) было актом мужества? Незачем, потому что они почти все таковы, и даже слушатель, причастившийся к ним, имел, казалось, крохотное право ощущать себя каким-никаким, а все-таки храбрецом. Он слушал запретное.

Теперь же многие темы, которые Галич затрагивал первым, а если не первым, то острее других, безбоязненно треплет пресса; возникает даже опасность, что они станут расхожими; «острота» то есть схлынула, унеся с собой многое из того, что вчера тоже пугало и радовало запретностью, — и что же сейчас происходит с Галичем?

Нет, не будем считать, что — финита, испытание кончилось, можно вздохнуть с облегчением. Трудность нынешней встречи с Галичем очевидна.

Он, вкоренившийся в наше сознание, как поэт, который бросал вызов силе, казавшейся неодолимой, мечтал, оказывается, вот о чем:

А хотелось-то мне в дорогу,
Налегке, при попутном ветре,
Я бы пил молоко, ей-Богу,
Я б в лесу ночевал, поверьте!
И шагал бы, как вольный цыган,
Никого бы нигде не трогал,
Я б во Пскове по-птичьи цыкал
И округло на Волге окал.

Он просил:

Понимаю, что просьба тщетна,
Поминают — поименитей!
Ну, не тризною, так хоть чем-то,
Хоть всухую, да помяните!

Хоть за то, что я верил в чудо,
И за песни, что пел без склада,
А про то, что мне было худо,
Никогда вспоминать не надо!

Нет, Александр Аркадьевич, не просите — никак не получится. Как у Вас не сбылось беспечально-вольное странствие налегке, так и нам не удастся забыть про «худо»...

Поэт Александр Кушнер как-то заметил с печальным сарказмом, что в наших глазах в некотором смысле «не повезло», скажем, Иннокентию Анненскому, скончавшемуся «всего лишь» от сердечного приступа в 1909 году. Или Михаилу Кузмину, умершему в преддверии 1936-м от воспаления легких, не насильственно: «Вот если бы он прожил еще год-полтора и был репрессирован, как его ближайшие друзья, — тогда другое дело». Ибо — вот особенность нашей сегодняшней ситуации:

«...Самоубийства, гонения, трагическая гибель входят в... комплекс представлений о судьбе поэта... отвечают читательскому спросу и готовности к сочувствию, состраданию и трагическому катарсису в конце. Тут уж не до стихов. Знают, понимают и любят не столько поэзию, сколько трагическую судьбу».

Так и есть — с той оговоркой, что степень «везения», если уж не отказываться от нравственно рискованного словца, равна степени «невезения». Да, **возвращающиеся** поэты — Ходасевич, Гумилев, Мандельштам, Георгий Иванов и т. д. вплоть до Галича и Бродского — воспринимаются более жадно, чем те, кого не успели коснуться или не до смерти коснулись «гонения», кого не постигла «трагическая гибель». Все так, но ведь и вправду — «теперь уж не до стихов».

Как говорится, завидуя внукам и правнукам нашим, которые станут читать стихи Ходасевича или ахматовский «Реквием» как «нормальную» классику, впитывать, как молоко или воду, а не как кружащий голову с непривычки хмельной напиток. Не так, как читаем мы, жаждущие и наголодавшиеся. Мы пока не вкушаем, а насыщаемся, не пьем, а захлебываемся, не дышим, а судорожно глотаем воздух, не разбирая подчас — не вкуса, нет, до этого не дошло, но от-

тенков его; мы хмелеем не только, а может, не столько от гениальности возвращенных стихов, сколько от счастья: они возвратились!

То есть мы — пока — не читатели. Хорошо, смягчу приговор: не совсем читатели. Мы недостаточно свободны для этого — ведь освобождающийся человек еще не свободен.

(Другое дело, примечу в скобках, что с усилием дающееся освобождение бывает прекраснее и дороже даром доставшейся свободы, и, например, Галич, тосковавший по беззаботной воле, вряд ли сменял бы на нее свою героическую несвободу: «Не моя это, вроде, боль, так чего ж я кидаюсь в бой? А вела меня в бой судьба, как солдата ведет труба!»)

Не то что не смог бы сменять — не захотел бы. Да и в самом ведь деле — не захотел.)

Так или иначе, я не уверен, что мы готовы читать — просто читать — и Галича. Тут к тому ж причины отдельные: для того чтобы мы обрели свободу воспринимать метафоры как метафоры, поэзию как поэзию — так их и должно воспринимать! — слишком многое в нашей жизни должно перемениться. Слишком многое должно уйти из живой перегруженной памяти. А пока...

В песне-фантазмагории «Ночной дозор», устроившей пародийную переключку с «Ночным смотром» Жуковского да и с «Медным всадником», — тут, впрочем, намеренно дан простор ассоциациям, может быть, включая сладостный детский ужас, испытанный, когда бронзовый королевский памятник грозно гнался за крошкой Нильсом из книги Сельмы Лагерлеф, — словом, в этой галичевой песне «государственные запасники покидают тихонько памятники»:

На часах замирает маятник,
Стрелки рвутся бежать обратно:
Одиноким шагает памятник,
Повторенный тысячекратно.
То он в бронзе, а то он в мраморе,
То он с трубкой, а то без трубки,
И за ним, как барашки на море,
Чешут гипсовые обрубки.

Я сказал фантазмагория? Но вспоминаю: сколько-то лет назад иду по городу Кишиневу, откуда только что отбыл высочайший гость, и вижу... сказал бы, остолбенев, но нет, ввевшийся в нас и разъевший нас юмор не создавал почвы для потрясений.

Короче, вижу, как со стены дома квадратами, по частям снимают огромный портрет, закрывавший собою десятков пять окон. Оползают вниз губы, глаза, нос — и над городом парят и главенствуют одни только брови! Толстые, как буденновские усы, знаменитые брови маломощного и косноязычного властителя...

Можно сказать: прямо из Галича, из его поэтики? Нет, не так: из наших сурово-героических будней, которые как раз и не отпускают стихи Александра Галича в полет, «налегке, при попутном ветре».

А музей Анны Ахматовой, состоящий при заводе имени Жданова, — это ли не заготовка для его трагифарсовой песни?..

Когда поэт и прозаик Владимир Солоухин, разгневанный слухом о

том, что он, когда-то позорно выступивший на церемонии избиения Пастернака и потребовавший его изгнания, якобы нынче устыдился содеянного, — когда он запротестовал, объявив: «Удивлю, но скажу, что острого желая каяться и «отмываться» я как-то никогда не испытывал...» («Советская культура», 6 октября 1988 г.), как существо, что с особенным озлоблением Солоухину вспомнились именно строчки «пастернаковской» песни Галича: «Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку!».

Это, как и многое иное, подтверждает: поэзия Галича до сих пор — для нас и за нас — продолжает «свободы черную работу» (слова поэта Владимира Леоновича). Работу освобождения и очищения. Через стыд, который — у поэтов, если они поэты, не бывает иначе — надо ведь было сперва испытать самому, как и освободиться — тоже...

О вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб раб тебя воспел.

Радищев. Первая на Руси — и гениальная — формула внутреннего освобождения, его начального и решительного шага; формула, выразившая драматический парадокс. Раб, поющий свободу, — кстати, как поразительно здесь это «позволь», смелость, просящая позволения, дабы стать собою, смелостью, — он уже, конечно, не раб, но в нем сидит физически ощутимая память рабства (от нее и — «позволь»). И как отсюда еще невообразимо далеко до пушкинского, потом долгие годы смущавшего и раздражавшего прямолинейных толкователей «свободы»: «Иные, лучшие мне дороги права; иная, лучшая потребность мне свобода: зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно... себе лишь самому служить и угождать... Вот счастье! Вот права!».

Есть ли сомнения, что смельчак-одиночка Радищев, доведись ему услышать такое, с гражданским бы пылом обрушился на это беспредельно неподотчетное, сибаритское уединение, на эти «покой и волю»? Можно ль представить, чтоб они не показались бы ему постыдным бегством от бурь и страстей действительности? От долга?...

«Тайную» пушкинскую свободу приняла идущая за ним русская поэзия («Пушкин! Тайную свободу пели мы вослед тебе...» — Блок), приняла как идеал, далеко не всегда достижимый, если достигнуть его вообще возможно. Приняла далеко не вся, создав воинственную оппозицию — не Пушкину, а идее «тайной свободы», — и уж, во всяком случае, не одинаково.

Пусть, говоря условно, «от Радищева к Пушкину» — это как бы общая (сознаю, слишком общая) схема нравственного саморазвития многих и разновременных поэтов России, больших или малых, только бы истинных, но разные времена как раз и способны обостренно драматизировать этот всегда непростой путь, довыявляя драматизацией индивидуальность поэта.

«Я выбираю свободу быть просто самим собой», — не отказался от всеобщей формулы и Александр Галич. Однако... Впрочем, прочтем с начала:

Сердце мое заштопано,
В серой пыли виски,
Но я выбираю Свободу —
И свистите во все свистки!

И лопается терпенье,
И тысячи три рубак
Вострят, словно финки, перья,
Спускают с цепи собак.

«Тайная», мы сказали, свобода? Кой черт тайная, когда уж тут-то объяснение идет будто на людной площади, а то, что, казалось бы, нельзя, нецеломудренно выставлять напоказ, как все потаенное, внутреннее, брошено, как кусок собакам, как оскорбительный вызов?

Брест и Унгены заперты,
Дозоры и там, и тут,
И все меня ждут на Западе,
Но только напрасно ждут.

Я выбираю Свободу, —
Но не из боя, а в бой,
Я выбираю свободу
Быть просто самим собой.

«Быть просто...». Вот оно, наконец, — и сколько ж, оказывается, надобно иногда усилий, чтобы высказать... Нет, чтобы выкрикнуть свое право на то, что давным-давно, до тебя, без тебя установлено и узаконено.

От кого, от чего освобождается Галич? От тех, кого высмеивает и презирает? Но от них-то он и без того независим — я имею в виду опять-таки внутренне, потому что зависимость внешнюю ему уже грубо к тому времени доказали и еще грубее докажут. Нет, он не страшится (самое подходящее слово) противостать и тем, кто по всем статьям, по душе, по беде ему близок, — как впрямую и высказано в иных стихах, в «Песне исхода»:

Уезжаете? Уезжайте —
За таможи и облака.
От прощальных рукопожатий
Похудела моя рука!

И не бросая вызова (здесь-то — кому? За что?), но упрямо делая и, больше того, провозглашая выбор, который, уж хочешь или не хочешь, а выглядит вызывающим, он объяснит, для чего остается, почему не может иначе: «Кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых стеречь покой!».

Для этого, в самом деле, было нужно особого рода бесстрашие, — я-то помню, как, слушая «Песню исхода», иные, притом далеко не из худших и непонятливых, морщились, предполагая в ней неделикатную нелояльность по отношению к тем, кто «уезжал». Тем более, Галич решался быть размашисто безоглядным, ведь он обращался не только к тем, кто отбывал «налегке», без драматических переживаний и даже без сантиментов, — вернее, пожалуй, и вовсе не

к ним, — а к тем, кто был принужден эмигрировать, у кого больше не оставалось сил: песня и посвящена-то, горько и нежно, Виктору Некрасову и его жене.

Словом, логики тут, кажется, маловато, что язвительно подтвердит и ход событий, когда тот, кто напутствовал: «Уезжайте...» — сам обретет изгнанническую судьбу.

Да, с логикой нелады. То он как бы возжаждет лишь «покоя и воли»: «быть просто самим собой». То признаёт совсем другое: «А вела меня в бой судьба, как солдата ведет труба!». Но искать тут — в житейском ее понимании — логику, в свою очередь, нелогично.

Поэт Галич освобождался — да, да! — от самой идеи зависимости, что по первому и, в общем, разумному взгляду безумие: все друг от друга зависим, желаем того или нет. Но в том-то и странность — для нас, не для художника, — что ему необходимо ощутить себя беспредельно свободным именно ради того, чтобы самому, никому этого не доверив, осознать идею служения. «Покой и воля» нужны ему, дабы ввергнуть себя в непокой, в «бой», нужны даже — если угодно — ради неволи, лишь бы он сам, без понуканий, как добровольный кандалник, приковал себя к тачке своего долга.

Впрочем, что до тачки и до кандалника, то тут уж не до метафор. Отчаянно отстаивая неприкосновенность своей свободы, Галич шел на крайние (это не означало несбыточно фантастические) аргументы: «Я выбираю свободу Норильска и Воркуты... Где пулю или трепкой однажды мне рот заткнут»...

Что она такое, свобода художника?

Вероятно, то же, что и свобода вообще. «Просто» свобода. А она... Но прямые пояснения обреченно бессильны; прибегну к косвенному. Приведу любимый пример из любимого восемнадцатого века.

Год 1768-й. Императрица Екатерина созывает в Москве Комиссию для сочинения проекта нового уложения, или, короче, Комиссию уложения, депутатский съезд, долженствующий порешить, каковы в России будут законы. Дело неслыханное, что одним развязывает язык, других заставляет осторожно приглядываться: скажешь лишнее, а после...

Выступает замечательный человек, философ Яков Козельский, и цель его — добиться воли крестьянам. Цель, ради которой, кажется, можно и должно сказать любую неправду, учинить любую лесть.

Иные из депутатов уверяют, будто крестьяне не заслуживают лучшей доли своим неблагонаравием, — ну, так возрази им, философ, поймай их на слове, извернись, докажи, что совсем напротив:

— Нет, заслужили! Нет, заслужили! Ибо — благонаравны, работающие, трезвые, почитают господ и с утра до ночи благословляют государыню!

Ничего подобного. Логика его, логика свободного человека, которого не пугает даже та правда, что, казалось бы, служит его противникам, эта логика бесхитростна и бесстрашна:

— Что же и ленью, пьянством и мотовством обвиняют их,

крестьян, то пускай, положим, и так. Но я представляю трудолюбивую пчелу в пример: за что она трудится и кому прочит? Что она трудится часто не для себя, она того не предвидит, но приобретенное, как видно, почитает за собственное добро, что защищает его и для того кусает, жалит, жизнь теряет, как только человек или другое животное подойдет к гнезду ее. Крестьянин же чувственный человек, он понимает и вперед знает, что все, что бы ни было у него, то говорят, что не его, а помещиково. Так представьте себе, почтенное собрание, какому человеку тут надобно быть, чтобы еще и хвалу заслужить? И как ему быть добронравну и добродетельну, когда ему не остается никакого средства быть таким?

Как скоро люди начинают чувствовать себя свободными, — дай им только чуточную потачку! И как скоро, говорит история, это чувство можно искоренить, приучая думать, что в иных условиях и полуправда — благо, особенно ежели ее половинят тоже ради благого дела!..

Одна из самых известных песен Галича — «Облака». Это что-то вроде его пароля, и не зря сам он, с надеждой и печалью вообразив, как, страшно подумать, через сотню лет где-то будет крутиться пленка, а с нее — звучать его глуховатый голос, выбрал для воспоминания о себе именно эту песню: «И в дальний путь к Абакану потянутся облака».

Это одна и из самых первых песен «нового» Галича (наипервейшая — «Леночка», сразу удача, сразу шедевр), и в ней он уже предстал в том своем качестве, о котором я и твержу.

Тогда, в самом начале шестидесятых, слушавших трогала тема, уже словно бы разрешенная, но еще полузапретная, и уж не знаю, могли ли они, тогдашние (я не мог), расслышать в тоскливом монологе недавнего лагерника, пропивающего в ресторане пенсию, то, что слышать вовсе и не хотелось. Человек, которому нам было нужно в первую очередь сострадать, что сто крат справедливо, которого впору было, по царившему нашему настроению, романтизировать, предстал в момент бессильного, жалкого, даже (неловко выговорить) пошлого реванша над своим трагическим прошлым:

А я цыпленка ем табака,
И коньячку принял полкило.

Здесь нет ни счастья освобождения из неволи, ни даже гневных счетов с теми и с Тем, кто отнял у человека двадцать лет его единственной жизни; есть ощущение невозвратности, невосполнимости, перекаленности — и судьбы, и даже души. Что он может, что хочет сегодня высказать силе, сломавшей ему хребет? Ну, насчет того, чтобы «мочь», тут и говорить не о чем, но, кажется, уже и охоты нету. Разве что ужаснется, припомнив: «До сих пор в глазах снега наст! До сих пор в ушах шмона гам!..», и потребует:

Эй, подайте мне ананас
И коньячку еще двести грамм!

«Ле нюаж», «облака», — говорит пьяный француз Рамбаль Пьеру Безухову, который в поверженной Москве для чего-то рассказывает

случайному собеседнику-забулдыге о своей любви к Наташе Ростовой. Даже отупевший от алкоголя мозг соображает, что точнее, чем «облака» (невесомость, летучесть, недосыгаемость, нежность), не скажешь об этой странной и недоступной любви. Вообще: «Чудный град порой сольется из летучих облаков» — и т. д. и т. п.; для поэтов они, перистые, воздушные, багровые на закате и золотые в полдень, — безотказный образ красоты, эфемерности, грусти или свободы. А тут:

Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистия — ни к чему.

Вот в чем для него красота и свобода этих летучих странниц, которым завидуют все поэты, — только в том, что их судьба отлична от его жизни, от его прозы, от того, что не отпускает и не отпустит; то есть и они, свобода и красота, контрастно-тягостно напоминают о неизбывной беде. И вот куда — в его воображении — только и могут плыть облака — в Колыму. «В милый край». Потому что все — и сам он тоже — осталось там. Жизнь отнята. Душа неизлечима, и остается лишь хорохориться, как незадачливому вояке, считающему остатки побитого, поредевшего войска:

Я и сам живу — первый сорт!
Двадцать лет, как день, разменял!
Я в пивной сижу, словно лорд,
И даже зубы есть у меня!

«Автор... считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики». Думаю, в беспощадной трезвости песни Галича нечаянное сродство вот с этим, шаламовским, неуступчиво, неразбавленно-мрачным взглядом. С тем, на который, как говорят, даже «Один день Ивана Денисовича» казался чересчур, неоправданно «светел»...

Вот и тут — никаких иллюзий. Все жестко, чуть не до язвительности жестоко, и эта-то горечь рождает истинное сочувствие, не-сентиментальную боль.

И — совсем напротив того! — когда в «Больничной цыганочке», в одной из самых презрительных песен, Галича явится хам и жлоб, зажавшийся повелитель жизни среднего ранга, и, кажется, уже двух первых строчек хватит с лихвой, чтоб испытать к нему омерзение и ничего иного: «А начальник все спьяну о Сталине, все хватает баранку рукой...», — то уж никак не ждешь, что в последних строчках тебя вдруг заставят пожалеть его, **такого**, в минуту, когда всех равняющая смерть настигнет его на больничной койке, рядом с тумбочкой, заваленной номенклатурной икрой. Жалость, сочувствие, ощущение — вопреки всему, что внушает нам трезвый опыт и выстрадавшая ненависть, — сердечной связи смертных со смертными,

все это, так прекрасно преображающее человека, коснется героя песни, шофера, которому «все до лампочки», а к «начальнику» он и вовсе привык относиться со спокойным отвращением. И ни автор, ни мы не сможем не разделить этого драматического преображения:

Да, конечно, гражданка гражданочкой,
Но когда воевали, братва,
Мы ж с ним вместе под этой кожаночкой
Ночевали не раз и не два,
И тянули спиртягу из чайника,
Под обстрел попадали в пути...
Нет, ребята, такого начальника
Мне, наверно, уже не найти!

Что, недостойн такого сочувствия переродившийся сукин сын? Разумеется, недостойн. Но жалость, страдание, сострадание не расчленимы, тем и прекрасны...

Это стихи человека, освободившегося раньше многих и многих. Сумевшего и на себя самого глянуть до жестокости неестественным взором.

Непричастный к искусству,
Не допущенный в храм,
Я пою под закуску
И две тысячи грамм.
Что мне пениться пеной
У беды на краю?!
Вы налейте по первой,
А уж я вам спою!
А уж я позабавлю,
Вспомню Мерю и Чудь,
И стыда ни на каплю,
Мне не стыдно ничуть!
Спину вялую сгорбя,
Я ж не просто хулу,
А гражданские скорби
Сервирую к столу.

Автопортрет из безжалостных.

Конечно, тут и болезненная ущемленность — «не допущенный». И то российское самоуничижение, что куда паче гордости. Наконец, и попросту бытовая, невыдуманная реальность — залов Галичу не предоставляли, и пелось обычно именно там, за столом. Весело пелось, в охотку, на радость друзьям-застольцам, каждый раз — в еще непуганные, да потом и в пуганые времена — превращаясь в праздник...

Весело пелось, а вот написалось горько. И, думаю, выразило нечто далеко за пределами одной лишь собственной судьбы, собственной беды: самолюбивую гордость истинной нашей, независимой поэзии (вообще — искусства), что пойдет и на самоуничижение — ввиду, как говаривали прежде, значительности своей роли. Которую стесняется назвать, но которую сознает.

Мне, как гордое право,
Эта горькая роль,
Эта легкая слава
И привычная боль.

Александр Галич долгие годы был нашей отдушиной, прибежищем нашей свободы, с видимой легкостью вынося «привычную боль», к которой на самом-то деле привыкнуть нельзя. За эту легкость, за прямому осанки, оскорбляющую тех, кто и должен оскорбляться при виде свободы и независимости, он расплатился — трагедией изгнания, возможно, и поторопившейся смертью.

Свою работу по раскрепощению наших душ он завершил — для себя, не для нас, у которых впереди еще много этой кропотливой ежедневной возни — «хуже вышивания», как говорит Ланцелот в «Драконе» Евгения Шварца. Только освободившись, мы сможем отдать Галичу то, что ему задолжали: прочитать его так, как он того достоин; увидеть не только то, как тяжело давалась ему его прекрасная легкость, но ее самое; оценить победу искусства, а не мучительные усилия, затраченные на пути к победе.

Несколько штрихов к портрету принципиального человека

*— Но позвольте! Если глубоко
рассмотреть, то я лично ни в чем не
виноват. Меня так учили.*

*— Всех учили. Но зачем ты оказался
первым учеником...*

Евгений Шварц. «Дракон».

«Вспоминаю давний дорожный случай, нечаянным свидетелем которого был. Разговаривали двое: молодой лейтенант в новеньких погонах и его ровесник, студент...

— А сколько вы получаете? — спросил студент лейтенанта.

Последовал ответ.

— А полковник? — снова поинтересовался спутник офицера.

Лейтенант ответил.

— Гм, а сколько же лет надо, чтобы дослужиться до полковника?

Ответ лейтенанта явно не удовлетворил собеседника. Он покачал головой и сказал:

— У нас, пожалуй, быстрее. Кончу институт, защиту кандидатскую, еще через пять лет — докторскую — и «пять кусков» как минимум!

— А зачем тебе такие деньги? — несколько озадаченно спросил молодой офицер.

— Как зачем? Обзаведусь семьей, дети пойдут. В заглашник нужно положить. Машину, дачу...

Я взглянул в его внимательные жесткие глаза и подумал: этот защитит. И кандидатскую, и докторскую, и станет говорить на собраниях красивые и правильные слова. Трудно будет добраться до истинной сути этого целеустремленного, старательного, образованного научного работника, до этих «пяти кусков». Но они непременно проявятся: в беспринципности и отсутствии убеждений, в грубости и неуважительности к подчиненным, в подбострастии к начальству...»

*Феликс Кузнецов. За все в ответе.
1967 г. В книге: «Мир, время и ты»,
М., «Молодая гвардия», 1984 г.*

«С именем Леонида Ильича Брежнева неразрывно связаны огромные успехи и завоевания советского народа, строящего коммунизм, та подлинно ленинская нравственная обстановка единства и доверия к людям, которая прочно установилась в нашем обществе. Ему принадлежит выдающаяся роль в последовательном утверждении ленинских норм партийной и государственной жизни, социалистической демократии... Книги его воспоминаний показали, насколько близок он был к людям труда, до какой степени народной, трудовой была его биография и весь образ жизни... Его внимание к литературе, принципы ленинского, партийного руководства художественным творчеством были отмечены глубоким знанием и пониманием предмета, уважением к специфике этой сложной и особой сферы общественной жизнедеятельности. Благодаря помощи и вниманию Леонида Ильича Брежнева в нашей литературе, искусстве упрочилась такая общественная атмосфера, в которой людям хочется работать — во имя партии и народа, успехов социалистического Отечества».

*Феликс Кузнецов. «Высокое звание — коммунист». — «Московская правда»,
13 ноября 1982 г.*

«Вне всякого сомнения, весь пафос решений июньского Пленума ЦК КПСС, выступления товарища Ю. В. Андропова на Пленуме и на встрече с ветеранами, развивающие решения XXVI съезда КПСС, способствуют утверждению в нашей литературе принципиально новой общественной атмосферы. Они требуют устремленности к углублению исследовательского духа социалистического реализма, постижению

полной правды развития нашего общества во всей реальной его сложности, усилению общественной активности, большого гражданского мужества...»

*Феликс Кузнецов. Время зовет. —
«Литературное обозрение», № 10, 1983 г.*

«Удивительным чувством единства, цельности пронизана эта книга! Народное здесь органически перерастает в революционное, партийное. Первым истоком того духовного, нравственного здоровья, которым веет со страниц «Воспоминаний», а точнее — из глубин жизни, описанных в них, является народ. Совесть, правда, добро, справедливость, внутренняя красота, завещанные нам отцами, дедками, прадедами, утвержденные в муках труда и борьбы, — это и наши святые, вечно живые, обязательные для сегодняшней жизни моральные ценности...

На примере родной семьи Л. И. Брежнев воссоздает чистую, можно сказать, праведную атмосферу подлинно человеческих отношений, берущих начало из самых недр народной жизни...

Вслушаемся, вдумаемся в гордые и сильные слова «Воспоминаний» о рабочей нравственности, о великой силе и духовной красоте трудящегося человека...

...О красоте родного Приднепровья в книге Л. И. Брежнева сказано прекрасно...

В «Воспоминаниях», так же как и в прежних книгах Л. И. Брежнева, мы воочию видим, как в больших и трудных делах во славу партии и народа мужало, крепло, закалялось подлинно государственное и глубоко народное чувство великой ответственности за судьбы Родины и мира...

Оно растет из глубинных пластов жизни народной, к которой всей своей биографией, деятельностью, самосознанием и помыслами своим Леонид Ильич Брежнев полностью принадлежит».

*Феликс Кузнецов. «Чувство Родины.
О «Воспоминаниях» Л. И. Брежнева», —
«Правда», 12 ноября 1981 г.*

«Писатели Москвы от всего сердца поздравляют Генерального секретаря ЦК нашей партии К. У. Черненко с высочайшей правительственной наградой — третьей звездой Героя Социалистического Труда.

За этим решением глубочайшее уважение всех советских людей к его подлинно народной деятельности и глубоко народному человеческому характеру. Все мы — писатели — находимся под огромным впечатлением от сегодняшней речи Константина Устиновича. Только что я разговаривал с Валентином Петровичем Катаевым, который сказал, что считает эту речь блестящей. И это совершенно справедливо.

Слушая ее, мы ощутили всю силу принципиальной, ищущей, волевой партийной мысли, глубоко современной по духу, пафосу и устремлениям. Эта речь для нас — взыскательная программа дальнейшего развития советской литературы, под углом зрения тех сложнейших и важнейших задач совершенствования развитого социализма, которую решает сегодня наша партия и наш народ».

*Из выступления Ф. Ф. Кузнецова
на юбилейном пленуме правления
СП СССР. — «Литературная Россия»,
28 сентября 1984 г.*

«Творческие работники, — говорил на недавнем собрании актива творческих работников Москвы В. В. Гришин, — сетуют подчас, что им недостает социальных заказов. Вот, товарищи, вам от коммунистов, трудящихся Москвы социальный заказ — широко и глубоко раскрыть образ положительного героя во всех областях литературы и искусства. Образ яркий, правдивый, стоящий на уровне грандиозных задач, решаемых партией и народом на этапе совершенствования развитого социализма».

Этот социальный заказ в той или иной форме адресован и к каждому из нас, каждому писателю столицы.

Современная сегодняшняя жизнь — и, конечно же, жизнь Москвы, — богата крупными, внутренне убежденными, талантливыми людьми, проявляющими себя в деянии, в общем деле, его конфликтах и коллизиях, его страстях. Таких активно деятельных, убежденных, лишенных цинизма и скепсиса людей, которые полностью поглощены судьбами дела, которое им доверено, почему-то необъяснимо мало в сегодняшней литературе».

*Из выступления Ф. Ф. Кузнецова на
пленуме правления Московской
писательской организации. —
«Литературная Россия»,
21 декабря 1984 г.*

«В государстве, созданном народом и для народа, предатели и отщепенцы не нашли и не могли найти никакой опоры. Сегодня это так называемое «правозащитное» движение почти целиком различными путями — через Израиль, эмиграцию и прочее — оказалось за рубежом, на свалке истории, пополнив ряды платных пропагандистов ЦРУ.

Теперь противник, разрабатывая свои стратегические планы, ищет новые пути и возможности для диверсионного вмешательства в жизнь наших творческих союзов, для идеологического воздействия на иных представителей творческой интеллигенции.

Прямым результатом подобной диверсионной работы явился пресловутый альманах «Метрополь», который был задуман как крупная подрывная акция, призванная продемонстрировать наличие у нас

чуть ли не целого слоя некой «неофициальной» литературы, зажатой цензурой и не получающей выхода к читателю, и тем самым доказать отсутствие в нашей стране «свободы слова»...

..Оказалось, что «король голый», поскольку решительно никаких художественных ценностей, якобы «запрещенных цензурой», в сборнике не оказалось, зато было немало обыкновенной пошлости и графомании на грани порнографии и антисоветчины*.

*Феликс Кузнецов. «И вечный бой...
Особенности идеологической борьбы
в сфере духовной культуры». —
«Литературное обозрение», № 6, 1983 г.*

«Метрополь» заявляет, будто советская литература находится в состоянии «застойного тихого перепуга». Но кто же из писателей находится в такого рода «застойном перепуге»?..И кто эти «бездомные скитальцы», казанские сироты советской литературы, составляющие будто бы никому не известный, девственно заповедный и наконец-то открытый «Метрополем» новый пласт отечественной словесности?.. Здесь в обилии представлены литературная безвкусица и беспомощность, серятина и пошлость, лишь слегка прикрытые штукатуркой посконного «абсурдизма» или новоявленного богоскательства...

Натуралистический взгляд на жизнь как на нечто низкое, отвратительное, беспощадно уродующее человеческую душу, взгляд через замочную скважину или отверстие ватерклозета сегодня, как известно, не нов. Он широко прокламируется в современной «западной» литературе. При таком взгляде жизнь в литературе предстает соответствующей избранному углу зрения, облюбованной точке наблюдения. Именно такой, предельно жесткой, примитивизированной, почти животной, лишённой всякой одухотворенности, каких бы то ни было нравственных начал и предстает жизнь со страниц альманаха, — возьмем ли мы стилизованные под «блатной» фольклор песни В. Высоцкого или стихотворные сочинения Е. Рейна...

Эстетизация уголовщины, вульгарной, «блатной» лексики, этот снобизм наизнанку, да, по сути дела, и все содержание альманаха «Метрополь» в принципе противоречат корневой гуманистической традиции русской советской литературы. Весь этот бездуховный «антураж», как и эти слабые подражания Кафке или театру «абсурда», — не более чем «задняя» европейской «массовой культуры».

Как говорится, туда всему этому и дорога!»

*Феликс Кузнецов. Конфуз с
«Метрополем». В книге: «Мир,
время и ты». — М., «Молодая гвардия»,
1984 г.*

* В рукописном альманахе «Метрополь» участвовали Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Владимир Высоцкий, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Евгений Рейн и др.

«Борьба за научную методологию в критике была одновременно непримиримой, яростной борьбой с нашим идеологическим противником, пытающимся противопоставлять литературе и искусству социалистического реализма свои антинаучные взгляды и концепции. Если иметь в виду историю литературы, то это — попытки противопоставить реальной, подлинной истории литературы некую «теневую» ее историю... Всячески отодвигая в тень творческое наследие таких мастеров, как Горький и Алексей Толстой, Маяковский и Есенин, Фурманов и Фадеев, Твардовский и Исаковский, нам пытаются навязать сегодня новую историко-революционную версию, где на первом плане стоят иные писатели — талантливые, заслуживающие нашего уважения и памяти, но в реальной, действительной истории советской литературы не являющиеся ее колонновожатыми, — скажем Мандельштам и Пастернак, Ахматова и Цветаева, Булгаков и Бабель...»

Феликс Кузнецов. Долговременная программа действий. — «Советская культура», 21 января 1982 г.

«...Необходимо все сильнее бить в колокол тревоги по поводу наступления посредственности, потому что, упорно выбиваясь из грязи в князи, она грозит затопить все вокруг...»

В результате благодушия и эстетической нетребовательности, духа чинопочитания, распространившихся в литературной жизни, искажающих наши принципы и мораль, у нас появилось немало произведений, получивших общественное признание, признание критики и читателя, чуть ли не в обязательном порядке перечислявшихся в «обоймах», но при этом страдающих серьезнейшими художественными слабостями, которые замалчивались. Наметилось резкое падение критериев идейно-эстетической оценки в критике, особенно критериев художественности...

Когда объективные критерии искусства сбиты и перепутаны, в условиях недостатка гласности, в литературе возникает подчас перевернутая система ценностей, возникают «голые короли», которые не могут защитить свои титулы, присвоенные им невзыскательной критикой. Вопиющие подчас нарушения принципов эстетической справедливости в журнальном и издательском деле, публикация в немалых количествах, подчас огромными тиражами, откровенно слабых произведений наносит немалый вред и литературе, и народу».

Феликс Кузнецов. Взыскательность к себе! — «Литературная Россия», 2 мая 1986 г.

«Героический характер современности глубоко и во многом по-новому исследуется в романе «Грядущему веку» Г. Маркова, в центре которого Антон Соболев, первый секретарь Синегорского обкома КПСС, его борьба за подлинно ленинские принципы партийного руководства краем...»

Из политической публицистики растут такие жанры, как политический роман и политическая повесть, — вспомним «Победу», «Неоконченный портрет» А. Чаковского, «Мужские беседы» А. Кривицкого, антисионистскую документальную прозу Ц. Солодаря или антисионистский роман Ю. Колесникова «Занавес приподнят», — и политическая повесть — вспомним обжигающие своей актуальностью спектакли Г. Боровика или В. Чичкова, которые и пришли в драматургию из публицистики.

Внимание и симпатию вызывает работа в области политической прозы А. Проханова. Завидная подвижность, человеческая и писательская смелость, острая современность мышления дают в результате произведения, которые с ходу впаиваются в самосознание общества.

Феликс Кузнецов. Соответствовать времени. — «Знамя», № 2, 1984 г.

«Наш писатель — это, как правило, человек, открытый всем болям и радостям народным. Это человек высокой гражданской совести, высочайшей гражданской нравственности...

Нравственность не только в отношении к миру, но и в отношении к литературе. Нравственность во внутренних взаимоотношениях между собой и во взаимоотношениях с миром литературы.

Скажу вам, что тревожит в данном случае. Тревожит прагматизм... Тревожит изначальная нацеленность на издание, на успех, прежде всего и главным образом на успех ради успеха...

Мы подчас пытаемся опередить время и себя в этих устремлениях к успеху, пытаемся формировать этот успех, не останавливаясь перед безнравственностью...»

Ф. Ф. Кузнецов. Слово молодым. Выступление на VIII Всесоюзном совещании молодых писателей. 1984 г. — В книге: «Мир, время и ты». М., «Молодая гвардия», 1984 г.

Цитаты подобрал Б. САРНОВ

* * *

Уход

(15.02.1989)

Всё казалось, что до дому
Путь ведет через погост:
Генералу молодому
Маршальских охота звезд...

Всем чего-то да охота...
Но в преддверии весны
Довзрослели до ухода
И убитых увезли.

Гром победы, раздавайся!
Не оправдывайся, росс,
А с позором расставайся,
Что давно к тебе прирос...

Может, ретирада эта,
Хоть обида в ней и боль,
Первая твоя победа
Над свирепую судьбой.

Апрель

Александр ТЕРЕХОВ

Зёма

Иронический дневник

Я иногда думаю: как мы связаны с этими листами бумаги, синими и фиолетовыми строками, белыми полями абзацев, что как вздох, и муравьиной тропинкой многоточий; ряды этих букв — колючая проволока, страница — наш концлагерь, как повязаны мы этим нудным постоянством внутреннего напряженного слушания себя, своей тишины между паузами сердцебиений — жутким слухом уходящего времени, уходящего через нас, потому что мы — рваные края этой пробоины, мы — опаленные окраины этого ожога, мы — на линии разрыва этой сети, каждая ее ячейка лопается в нас...

Мы, прикованные ко времени наручниками часов, принужденные к ежедневному белому зеркалу бумаги, мы, что бы ни случилось — прекрасный взлет или дрожащая мерзость поворотов, мир тысяч лиц и музыки слов, — мы придем, как заколдованные, к горбату нами столу и будем, перебирая среди знакомых и пошлых слов, искать то единственное, но все же бесконечно далекое от сердца сочетание, которое будет испорчено вконец напряженным и неумелым голосом при чтении...

Дневники наши — стрелы, не достигшие цели и упавшие в мягкую траву, потерявшие друг друга ладони, грубые скворечники для жар-птиц.

* * *

*Когда весна, сильнее всего в гарнизоне
пахнет свинарником.*

Житейское наблюдение.

Очередного приезда генерала ждали четыре дня.

Четыре дня по центральному проходу казармы никто не шастал — все лезли напрямик по кроватям, чтобы не испоганить труд целого взвода, наяривавшего доски мастикой; все нагладились; сапоги сияли, как у кота гм... глаза; личный состав до дыр заелозил указкой

карту, обозначая столицы мракобесов и реваншистов, а молдаванин Качук, плохо рубивший по-русски, заучил на слух: «Идеологи империализма делают большую ставку на идеологические диверсии и шпионаж» на случай, если генерал спросит: «Как дела?».

Ротный потребовал от старшины, во-первых, чтобы с крыш не капало, во-вторых, не раскрывать рта, чтобы не обронить какое-нибудь искреннее слово.

Генерал наш был старенький и вялый — все силы своей души он вложил в получение лампасов. После этого жизнь стала доживанием, но не потеряла смысла, поскольку больше всего на свете генерал любил наш свинарник — это было его лелеемое детище, и, приезжая, он торопился прежде всего туда. Он душой страдал за судьбы свинок, ласково называл их «зёмы». Заходя в свинарник — одноэтажный длинный сарай с полуотвалившейся побелкой и глубокомысленными взорами едва не заплывающих жиром глазок за железными прутьями, он с ходу начинал кликать старшого:

— Петро! Петро! Петруша! Где мой Петро?!

После напряженных шорохов из дальней каптерки, манившей запахом жаренных с салом картох, вылезал здоровенный Петро с заспанным видом и соломой в волосах. Он ради порядка бросал сокрушенный взгляд на голубоватые джинсы, заляпанные навозом, и начинал басить: «Таа-рыш генера...».

— Петя, — пронзительно, по-детски, умолял генерал, — блин, свинкидохнут! Крысы бегают, как собаки!

— Убиваем, таа-рыш генера-а...

— Где?! — вопил генерал.

— Вон там лежат. Три штуки.

— Дак они уже третий месяц лежат — завоняли уже. Петя, скажи ребятишкам: кто убьет пятьдесят штук — поедет в отпуск!

Мне всегда было жалко нашего генерала. Однажды его прихватило сердцем прямо в свинарнике — ему попался боец, волокущий мешок с комбикормом по асфальту.

Когда генеральская «Волга» миновала КПП, мы уже стояли двумя шеренгами, струя серебристый парок в серое еще небо. Лично я видел желтый бок казармы с полузатертой надписью «ДМБ-86» и думать ничего не думал.

Генерал долго сидел боком, уже распахнув дверцу, грустно опустив голову и вывернув нижнюю губу, задумчивый, как десятиклассница, которую потянуло на соленькое. Командир, замполит и старшина тянулись в струнку, отверзши пасти, словно приехал не генерал, а стоматолог.

Наконец правый ботинок генерала приземлился на асфальт.

— Гота! — завопил картавый ротный, — га-вняйсь, смigna!

Генерал еле проплелся вдоль строя со стариковской умильной гримаской, и ноги его ослабели около сержанта Дороша. Если бы он даже захотел пройти дальше, это было бы невозможно. Геройский Дорош надул грудаку так, словно ему за пазуху засунули арбуз, — это препятствие притормозило генерала.

— Ну... как служба, сынок? — Генерал еле вспомнил, что надо сказать.

— А-ат-лично!!! Товарищ генерал!!

«А-а-аал!» — отдалось в окрестных строениях.

Молодцеватый ответ был единственной воинской специальностью Дороша, обретавшегося при клубе, и всегда получался ошеломляющим. Генерал побледнел, и у него жалко и растроганно задрожали губы.

От сотрясения воздушных масс с крыши некстати капнуло в непосредственной близости от генеральской огромной фуры. Старшина, засекая поворот командирского кумпола в адрес опальной капели, не выдержал и пообещал кому-то в строю:

— Сгниешь в параше! С очка будешь только спать приходиться. Генерал пополз дальше.

Старшина, приметив еще одну каплю, повторно обласкал несчастного чистильщика крыши:

— И спать будешь на параше!

Холодок выжал из меня последние капли дремоты, а значит, и всего хорошего, мне стало скучно — тут генерал и тормознул перед худым и носатым Аркашей Пыжиковым, который надувал грудь как раз передо мной.

Пыжиков как-то пытался повеситься ночью на турнике, отправляясь в заповеделье посредством поясного ремня. Черт знает, что дернуло, — я честно топил на массу и пробудился уже от воплей. Пыжиков орал, как гусь перед казнью, — грязь, что ли, все мразь, — и не поймешь: что орал-то? И замолк с тех пор. Попросишь его что на вечере почитать — он же на актера в столице учился — зло зыркнет и мотнет головой: хрен вам! Кладу я на вас. Большой и толстый.

— Как служба, сынок? — вшептал генерал напрямиком в Аркашино костистое ухо. — Жалобы есть?

Командир с замполитом даже приснули легко и быстро: да и шутник же вы, товарищ генерал!

— Есть, — медленно сказал Пыжиков. — Домой очень хочется.

— Ага, скучаешь, ага? — улыбнулся генерал, нетерпеливо поглядывая через плечо на свинарник. — По папе с мамой, ага?

— Баба небось, — с юмором подключился старшина, вызвав бешеную пляску губ у замполита.

— Я по себе скучаю, — чуть громче сказал Пыжиков. — Домой хочется съездить.

— Ну... — всплеснул генерал руками и, дабы все услышали, зычно отрубил:

— Отпуск солдат должен заслужить!

Командир с замполитом чуть не захлопали в паузе.

— Это как — заслужить?

— Ну, как, как... — Генерал начал малиноветь носом. — Все служат, как все, а ты — выслужись. Что-то особенное сделай. Командование тебя и поощрит.

По лицам командования было видно, что виды поощрения Пыжикова уже продумываются.

— А если просто так служить? Как все? Можно в отпуск?

Дурак ты, дурак, Аркаша.

— Можно... ишь ты, можна... — запыхтел генерал и заорал:

— Можна в сапог товарищу на... Можна бабушку с разрешения дедушки! — Он отвернулся и огорченно побрел по тропке к свинарнику, враз окруженный свитой, но тут же распихал ее и добавил:

— Можна козу на возу!

Рота дружно заржала.

Генерал повеселел и добавил:

— Старшина, дай-ка мне этого бойца. И еще кого... Мне тут нада...

И отправился на свинарник.

— Та-ак, — сказал старшина, ласково оглядев нашу шатию-братию. Синхронно с «та-ак» каждый будто запах из кабинета с табличкой «Стоматолог» учуял — в животе начались некие бурные процессы.

— Сидоров, Гвоздик, выйдя из строя — ПХД на санузле, — разорвался первый снаряд.

— Валиахметов на кухню, в овощерезку. — Мой смуглый сосед лишь невероятным усилием воли удержал готовую отчалить нижнюю челюсть...

— Пыжиков... хлоп твою мать совсем, философ хренов... и кто там за тобой? Курицын — в распоряжение генерала Седова. Ждать на улице. Разойдись!

Все дружно поперли в казарму, а я приторчал на месте, и не только затем, чтобы выкурить сигаретку, но и оттого, что фамилия моя Курицын и как на грех стоял я прямиком за Пыжиковым.

— Курицын, чего задумался? Пуговицу вон подбери — под ногами валяется, — это старшина мне. В самую морду.

— Ет не пуговица товарищ прапорщик, это с вашей головы винтик выпал, — это я ему. Про себя, конечно, заталкивая мгновенно схваченную пуговицу в карман.

Старшина долгим взором смерил Пыжикова и утопал в казарму. Снег мартовский мягкий и вязковатый, вялая капель ныряет оспинками в снег, а я смотрю на Пыжикова и размышляю, что же это нас ожидает в перспективе.

Из казармы к нам уже летел командир первого взвода Шустряков — персонально ответственный за психическое состояние ефрейтора Пыжикова.

— Хрен ли ты выпендриваешься, хлоп тать, — заканючил он с кислой физиономией уже на подходе. — Будешь все время в трении — сплывишься. Очень хреново, да?

Пыжиков молчал.

— Так у вас еще лафа. Ты глянь, как салабоны живут. У тебя ведь вообще все позади. Все ведь ваши деды рады и довольны. И ты так живи. Чуть-чуть осталось — и все будет, будет. Живи как все. Большинство все удобней.

— Да, — сказал Пыжиков, — особенно хоронить.

— Да херня, все херня, два года — чепуха. Шустрякову было холодно, и ему хотелось в дежурку, где старшина уже расставил нарды. — Вернешься домой...

— Уже не вернусь, — сказал Пыжиков и пошел к лопате, воткнутой в сугроб, — это он чистил крышу.

Солнце опушило наконец-то небный край облаков мандариновой оборкой, и с крыши закапало — тревожно, плавно, больно...

— Петро! Петя-а! — звал генерал на свинарнике.

— Вернешься, то есть как — нет? Не убьют же тебя здесь, — недоуменно протянул Шустряков и заключил: — Нут, ты, давай, держись... Еще в театре тебя посмотрим. А ты, Курицын, поговори с товарищем, ведь ты член бюро, ведь не дело так... — И побежал в казарму, отмахивая в сторону рукой, свободной от придержания на голове великоватой пижонской фуры, разительно напоминавшей генеральскую.

— И правда, — сказал я. — Вот турник даже из казармы убрали через тебя. Качнуться негде.

Хлопнула форточка, и старшина высунул в весну свой чайник на три четверти.

— Курицын, вы чего еще здесь болтаетесь? — Это он нам, увернувшись от сонной капли с крыши.

— Меж ног болтается, таа-рищ пращик. Мы стоим. — Это я ему. Про себя, конечно.

— Пыжиков доложил, что указаний от генерала не поступало, и мы ждем.

Старшина пофырчал и скрылся обратно — тут из-за угла и высунулся «зилек» армейского образца.

— Сырая нынче весна, — мрачно сказал я. — Это по нашу душу.

От свинарника по узенькой тропке к нам уже косолапил генерал, оберегая от возможных брызг полы светло-голубой шинели. Свита, высоко выбрасывая ноги, лезла прямо по сугробам, что-то бодро и весело поясняя.

— Сынки, это вы ко мне? А? — замямлил генерал, проявляя твердую память.

— Так точно, товарищ генерал! — Пыжиков задрал плечи и выгнул живот колесом.

— Ну, тогда, сынки, полезайте туда, в кабину, а я на «Волге» — дорогу показывать. Мне тут надо переехать помочь немного, ага?

С таким лицом, как у генерала, нищие просили хлеба на паперти в глухую пору самодержавия и реакции...

— Зёма!

Водилой «зилка» оказался Сенька Швырин, мой корефан и зёма со второго взвода.

— Зёма, мля... — заревел Сеня, понукая свой избитый «зилек» вслед пестрой от весенней грязи «Волге» генерала, который то и дело поворачивал свой кумпол, дабы удостовериться, что мы еще не свернули с пути истинного в сторону женского общежития или пивбара «Саяны».

— Что ты... встреча... я, блин, не ожидал, мля. Захерачим эту мебель запросто, раз вместе. Что ты, зёма, вашу мать...

Я важно кивал, косясь на Пыжикова, — видал, дескать, какой у меня зёма есть?

Надо заметить, что перевозка мебели населению никогда не была мечтой моей жизни и от нескольких опытов на этом поприще у меня остались тяжкие воспоминания о тесных лестничных клетках, табличках «Лифт не работает», шершавых плоскостях дубового шифоньера на щеке, режущих плечо канатах, сопящих коллеггах, обтирающих задницами стены, и истошных воплях: «И рэз!» — и отупелый, пошатывающийся спуск вниз, проткнутый насквозь мыслью о следующей вещи.

— Лишь бы не было пианино, — мудро сказал я.

— Что? А если бы лифт работал — ваще б было б зашибись. Копать мой лысый череп! — глаза зёмы искрились, как весенняя проталина в нефтяных разводах.

Он бурно салютовал новостями: зашивон Чана отсидел на «губе» червонец за то, что слинял с наряда к бабе, новый взводный ведет себя скромно — службу понял, дембель далек, но неизбежен, калым хороший и на хавку хватает, подходит раз старшина и говорит: а я ему и... представляешь? Гы-гы... От ментов уже и бензином хрен откупишься, салабоны на службу забивают — вот на днях одного борзого гасили, а первую в гарнизоне шлюху Лильку нашли голую утром в спортгородке третьей роты пьяную вдрыб... И собирается он после армады педагогом в школу — мужиков теперь ценят, зарплату повысили. И два месяца отпуск.

— А ты куда, зёма, после армады? — вывел он меня из дремы.

Я осоловело повел башкой, как ворона, потерявшая во сне равновесие на суку, и вяло каркнул:

— В кооператив «Половые услуги», — и, скучающе обзрев прыгающий за окном пейзаж, ляпнул абы что:

— А вот Пыжиков — актером у нас!

Зёма чуть не переехал трехэтажный дом на обочине.

— Кем?! — на дорогу он больше не смотрел. Поворачивал свой рубильник либо на меня, либо на заерзавшего Пыжикова.

— В натуре? Не свистите, а то улетите!

— Не... зуб даю, — поклялся я.

— Бичи... в натуре?

Пыжиков наконец подтвердил:

— Я кончил Щукинское училище. Это театральное такое есть. Здесь, в Москве.

— Я тащусь и хренею с вас, бичи. Веревки! И кого ж ты там играл?

Пыжиков сидел нахохлившийся, как умирающий голубь.

Голубь всегда умирает красиво.

Сожмется в комок, приподнимет что есть силы крылья и щурится в напряжении, будто хочет продохнуть что-то, тяжесть какую-то в груди рассосать. Знает, не взлетит и перышком не дрогнет. На мокрый асфальт, что под мраморной лапкой, даже не взглянет — только

в себя. И дернется вдруг, взметнет крылья, ослепив белыми подкрылками, вывернется назад и замрет. Будто пуля его сорвала, как цветок с поля небес, будто вырвали его из полета, будто умер он в небе и не асфальту его судить. Так и сожмет его костлявая рука, ослабив порыв, пригладив перья, открыв нешумный рынок для червячков и мошек. Но это уже будет не голубь, а немножко мяса и спички костей. Этого не жалко. По-настоящему можно жалеть только красивое. Остальное — не впечатляет.

— Актер, я тащусь, — зёма фыркал, как яичница на сковородке. — На сцене раз прохреначил, и все соски твои — капец! Милый, а кого ж ты будешь играть после армады?

Пыжиков дернул левым плечом и сощурился, будто сунулся в заброшенной хате лицом в паутину.

— Не знаю. Никого не буду.

— А почему, зёма?

«Зилок» ревел, форсируя распутицу. В кабине была Африка. Зёма курил, и сизый дым вздымался к потолку. Зёма орал вопросы с радостным лицом. Я созерцал дорогу, молясь, чтобы малоподвижные пенсионеры не покидали свой очаг или не приближались к этой дороге. Пыжиков что-то тихо отвечал. Зёма с первого раза не всасывал — Пыжиков повторял еще раз, проще, а когда зёма еще раз раскрывал свою пасть: «А?!» — вообще кричал что-то несуразное:

— Мне ничего не надо. Я потом хочу... Может, в лес уехать... Рыбу ловить. Молчать.

— Чего?

— Не хочу ничего! — Мне показалось, что Пыжиков сейчас заплачет. — В лес хочу! Один!

— А?!

— В лес хочу!!! — кричал сумасшедший Пыжиков.

— У твоих там пасака? Мед — это клёво, — понял наконец зёма, держа в перекрестье своих плутоватых глазок цвета фиалки заляпанную издержками весеннего таяния задницу генеральской «волжанки», показывающей нашей колеснице путь на Голгофу.

— Актер, слышь. — Зёма посерьезнел. Глаза его безупречно округлились, а голос был тих и вкрадчив. — А... а с бабами на сцене взаправду сосутся? Или так себе?

«Волга» завернула во двор кирпичной девятиэтажки и тормознула. Мы — соответственно. Зёма вывалился из кабины и вопросительным сдвинул на затылок шапку.

Генерал, ссутулясь от ветра, кисло глянул в нашу сторону и махнул рукой. Зёма неторопливо распахнул дверцу.

— Покурим? Велено обождать.

— Покурим.

Солнце лупит лучами зачерневшие сугробы, выжигая серые плешинки асфальта, и огромный парус синевы с белыми заплатами облаков нависает над крышами и черными деревьями, залепляя уши живому и мертвому ватой тишины, и лишь пригоршни птичьих стаек слабо вскрикивают, словно поскрипывает мачта под ветром. Рубит солнечная мельница мешки тоски, собранные за зиму, гложет слад-

кой пыткой — засмотришься так и бросишься шагать в весну, упадешь на колени, звеня подтаявшими льдинками, и крикнешь сердцем из самой глубины: «Что? Что тебе надо, весна? Что-о?!» — и вся весна будет улыбаться и плакать в ответ, огромной рекой унося тебя по слепому потоку, врачую сердечную боль непрочным бинтом жестокой тишины — весна, подлая тварь и добрая мать... и сердце ноет, как дерево в натужном порыве по ночам, что выросло меж двух заборных досок. И добрая рука не срубит потом на дрова, и не будет тогда ничего, ничего, ничего.

— Так хрен ли ты такой млявый, не прошибу? — сказал зёма сурово, оглядев скончавшийся «бычок».

Пыжиков, пройдя пару шагов по звенящей наледи, обернулся: — Вам не понять, — еще шаг — и через плечо: — Не понять. Зёму как обухом погладили — он минут десять глотал слюну. — Объясняю еще раз, — прояснил я ситуацию. — Для бронепоезда. Дубовый ты, зёма. Так надо понимать.

Зёма начал глотать воздух.

Пыжиков неприятно зашурился.

— Нет, не так. Мы — разные. Просто разные. Как береза и сосна.

— Ну да, береза и сосна, — понимал все с полуслова зёма. — А я дуб, значит.

— Да не-ет — вы и это не поняли. Все не объяснишь. Да и вообще — что-то даже себе не объяснишь.

Весна — все-таки весна. Пыжиков откровенничал первый раз.

— Вот вы поймите меня, — горячо зашептал Пыжиков, напряженно качаясь против нас, пытаюсь обозначить и мое участие в беседе, но я по привычке держался поодаль — нет, не во всякой воде надо купаться, всего лучше так: стал себе по коленочки — и думай, как хочешь: в воде я стою или на бережку?

— Все зло, когда не понимают, а додумывают друг за друга. А кто понял — молчит. Вон Курицын, он же понимает, но в армии у него сломали что-то внутри, он и...

Это уже про меня.

— Гы... а вешался ты тоже от этого, хлоп тать? — вот так я ему.

Зёму вернуло это к мыслительной деятельности.

— Служба замарала? — нашел он свое место в беседе. — А я хоть и дубовый, а вешаться не бегал — служу как полагается, мля...

И добавил:

— Интеллигент. От слова «телега»!

Стало как-то неловко. Сырая все-таки весна.

Пыжиков съезжился.

Мысль о смерти — она как крыса: живет где-то под полом, скребется чуть-чуть, когда совсем тихо. Походишь, поскрипишь половицами — все в порядке, тихо. Задумаешься, забудешься, а поднял голову — вон она скользит через комнату серой волной с розовыми нежными лапками и черной сосулькой голого хвоста...

— Это тоже не объяснишь, — только и сказал тихо Пыжиков и опустил лицо, зябко задрал дрожащие плечи.

— А знаешь, Курицын, почему я сильнее тебя? Вешался... Вешался оттого, что не сломали. У меня душа осталась. Хоть от вас и не отличаюсь, — напряженно засмеялся он и клюнул сапогом кочку. — Я думаю. Я постоянно думаю — вот так. И я прорвусь — вот посмотришь. Главное — вроде, как все, а внутри: собой остаться. Понял? — И он улыбнулся, как улыбаются дети сквозь только что пролитые слезы.

— Угу, — сказал я. — Спи спокойно, сынок, спи спокойно. Из подъезда вырулил Седов в кителе нараспашку и толстая тетка в белом халатике. Седов неловко поманил к себе зёму, и тот зарысил к нему, подобрав полы шинели.

Зёму забрали в армию после ПТУ. Нести свет в души подрастающего поколения он надумал уже тут.

А вот сейчас мы будем таскать мебель. Паршиво на душе что-то. Чуть-чуть. Как будто сильно пожрал перед работой. Или увидел любовь свою под руку с красивым здоровым мужиком. Будто отбегал огромный день по зеленой траве детского сада, напевая и радуясь, лег в кроватку под сказку, а проснулся — волосы седые.

Это все весна.

— Э-э, солдаты... шагом марш сюды! — неожиданно тонко, по-петушиному, вскричал генерал.

Пыжиков по-собачьи подобрался, прижал локти к животу и затрусил к подъезду, я — за ним. Зёма ошеломленно улыбался и послушно тянул шею к генералу, успевая коситься на врачихину грудь, пышно прущую сквозь вырез халатика.

Генерал старательно бодрился при врачихе и даже наскреб сил, чтобы нахмурить взор, отчего стал похож на бухого мужика, доказывающего жене, что не знает, куда исчез червонец из шкафа.

— Значить... эта, сынок, ты — откинь борта, — манипулировал генерал трясущейся рукой, имея в виду приосанившегося зёму, который уже пялился на врачихины коленки, а она отвлеченно морщила ярко накрашенный рот. — Доски у тебе есть? Мы ее как по настилу — ага?

— Да не надо досок, товарищ генерал, — певуче протянула врачиха, переступая короткими сапожками. — Они ребята здоровые — так поднимут.

Зёма при этом улыбнулся, как идиот.

— Ну, тогда не надо, — согласился генерал. — Тогда, сынок, подгоняй задом прям к подъезду. Прям вплотную. Блиско-блиско, ага? — говорил он, раздраженно оглядывая пустынный двор, и неожиданно заорал: — Понял, сынок?!

Зёма вздрогнул с испуга и метнулся, как рысь, в кабину, бормоча что-то про лысый череп.

— А вы — за мной! — рявкнул генерал, и мы шагнули за ним, чуть не сбив с ног врачиху, оцепеневшую от величия проявленной командным составом воли.

Генерал первым шагнул в лифт и прижался к тыльной стенке, сцепив на пузе руки; мы с Пыжиковым истуканами замерли по

бокам, пухленькая врачиха втиснулась последней, втащив с собой запах помады и духов.

В лифте генерал закрутил головой, смущенный своей незначительностью, стал еще старше и жалче, никчемно повторял: «Да вот...» — и тоскливо глядел, как гаснут и загораются цифры этажа. Я внимательно изучал острый кадык Пыжикова. Тот, как подлинный интеллигент, смотрел прямо перед собой и никуда одновременно.

Лифт был маленький — пианино не влезет. Это печалило.

— Давай! — мотнул рукой генерал, и мы завалились в квартиру с красными обоями и негромким медицинским запахом. Генерал сразу проперся в комнату, забубнил там: бу-бу-бу, — и оттуда вылезла седая аккуратная мадам с жидким хвостиком на голове и напряженно сжатыми губами. Она отключила толстоватый зад в вельветовых штанах и принялась расстилать дорожку из газет по направлению в комнату, без особого восторга наблюдая лужу, натекавшую с моих сапог. Пыжиков, козел, ноги вытер.

— Толя, — утомленно позвала она, закончив. — Ну, все?

— Воины, сюда! — призвал генерал.

Вежливый Пыжиков первым осторожно прошелся по газетам, уважительно балансируя на краях сапог. Я протопал за ним с таким вывертом каблуков, что, кроме смятых газет, за мной должна была еще остаться дорожка вывернутого паркета — мадам смотрела себе на нос, подняв полувыщипанные брови.

Пыжиков замер поперек прохода, и я не стал тянуться через его плечо, а смело уперся рукой в обои к большому удовольствию мадам и заковырялся пальцем в носу, критично осматривая добытый материал.

— Анна, — позвал генерал. И мадам, дрожаще прикрыв глаза, отстранила меня к стенке, протолкнув Пыжикова в комнату, и я, наконец, свалив пальцем шапку на затылок, оглядел фронт работ.

На полу лежали зеленые носилки, как пить дать из нашего медпункта, — на них размещалась худая бабулька в черном пиджаке и белой кофте, кружевным воротником опенявшей тонкую шею. Волосы у бабульки были совсем седые и кудряшками зачесаны в две неравные стороны, как на старых фотографиях. Она лежала спокойненько, уложив граблистые ручки на байковое одеяло. Генерал натягивал шинель у нее в головах, медсестра с натугой закрывала небольшой чемоданчик с книгами.

Пианино в комнате не было — я ободрился.

— До свидания, мама, — проскрипела мадам и наклонилась к бабульке, которая раздвинула уголки морщинистых щек — заулыбалась.

Мадам разогнулась, поправила ножкой завернувшуюся газету и глянула на генерала, поправив шальную прядь, перечеркнувшую лоб.

— Ну, — сказал генерал, и все посмотрели на нас.

Бабулька сразу закрыла глаза, растопыренными кленовыми листиками ладошек прижав к себе одеяло, а врачиха покачала чемоданчик на весу: не гремит ли что? Ничего не гремело.

Генерал делал какие-то жесты руками; по-рыбьи двигал губами, мадам выдыхала воздух со свистом в сторону окна. Пыжиков тупо обернулся на меня.

— Берись, — прошептал я, добавив беззвучно губами всю известную мне армейскую лексику. — Берись за носилки!

Пыжиков неуклюже склонился к носилкам, чуть не достав своим носярой мелового лба бабульки; заметив это, чуть вздрогнул. Я крутанулся, пытаюсь прикинуть, как взять: задом идти или передом? Шинель толстая, тварь, задом будет неудобняк, да и поднимать придется на лестнице.

Наконец, понесли.

Мадам смотрела в окно, прижав тонкие пальцы к вискам.

Бабулька глаз не открывала, только сильнее сжимала губы. В лифт она не влезала никак, и мы с Пыжиковым забухали сапогами вниз. Дурак Пыжиков не просек моих мычаний, и потащили мы ногами вперед.

Генерал с врачихой закупорился в лифт, сдавленно что-то ответив на каверзный вопрос мадам: «Ингалятор взял?». Лифт ласково зашелестел, а мы перли носилки по заплываным ступенькам, мимо интересно оформленных допризывной молодежью стен, у меня начали ныть руки, и бабулькина ножка терлась через одеяло о мою грудь, когда я на лестнице подымал носилки — вот так вот люди грюжу зарабатывают!

Она только судорожно хваталась своими птичьими руками с черными венами за края носилок, когда мы не очень удачно закладывали очередной вираж.

— Мамаша, еще что нести? — пропыхтел я.

Бабулька растворила веки и уставилась вверх. «Вот стерва: помет — обратно тащить придется», — добродушно подумал я.

До третьего этажа — еще куда ни шло, а потом я понял, что еще немного и — выроним. Оставалось только выяснить: кто уронит первым? Головой бабулька приложится сперва или ногами?

— Погоди, — зашептал Пыжиков бесцветными от напряжения губами. — Секунду.

Мы чуть не грохнули носилки и блаженно разогнулись, поправляя шапки и утирая пот со лба.

— У нас во взводе... Валиахметов, знаешь? — сердце у меня внутри металось, как груша, которую мутузил амбал-боксер. — Ну вот... он, как программа «Время», вешал на ремне гирю на шею — и качал. Качает и качает. Шустряков подходит: «Ты чего, Валиахметов, качаешь? Шея, что ли, слабая?». А он говорит...

— Устали, мальчишки? — глубоким протяжным голосом сказала вдруг бабулька.

— Да ничего, — быстро сказал я. — Ну, так вот, Валиахметов ему говорит: «Товарищ старший лейтенант, знаете, когда снимаешь — такой кайф!».

— Устали, — опять повторила бабулька.

— Ну, вы чего там? — шумнул снизу генерал. — Застряли?

— Идем, товарищ генерал! — заорал вниз Пыжиков.

— Его зовут Толик, — улыбнулась бабулька и поглядела прямо на меня, голубыми, как надречный лед, глазами.

— Еще чего нести? — бодро осведомился я.

Она кивнула влево и вправо — нет.

И слава богу! Я наклонился к носилкам. Пыжиков тоже и сказал:

— Какой тогда кайф будет после армии.

— А самый большой кайф будет на кладбище.

Пыжиков улыбнулся своим мыслям, бабулька снова закрыла глаза и склонила лицо набок, а я считал ступеньки, поклявшись что на сороковой, если не дойдем, брошу все к чертовой матери наземь — копать мой лысый череп!

В машине уже шуровал зёма, наскоро устилая пол брезентом и футбола сапогом огрызки и окурки по дальним углам.

— Давай, помоги им, — тронула его за рукав врачаха, сидевшая на лавочке, выставив из-под халата литые коленочки.

Зёма глянул на меня с немым хохотом: вот поржем потом — ухватился за носилки, наливаясь натугой, и прошипел мне в ухо: «Во тебе и фортепьяна. Рояль!».

— Лезьте в машину — попридерживать там, — распорядился генерал, устроивший себе наблюдательный пункт на подножке, и поторопил зёму: «Живее, сынок!» — посмотрел, высчитав, на свой балкон и потом по сторонам.

Зёма загрохнул борт, глянул на нас: все пучком? И мы с Пыжиковым расплозлись по лавкам: он вглубь, я — с краю, чтобы полюбоваться окрестностями.

— Придерживайте, — попросила врачаха. — Чтобы не каталась.

Пыжиков бессмысленно потрогал рукой носилки.

— Здравствуйте, — вдруг сказала бабулька.

— Здравствуйте, — внятно ответил Пыжиков, я что-то тоже изумленно бормотнул в этом роде и, подняв воротник шинели, сунул правую руку за пазуху: вот интересно, вернемся мы к обеду или как?

Привычно вздохнув, врачаха подседа к бабульке поближе и раздельно сказала:

— Вера Петровна, ну, как вы?

— Я не расстраиваюсь, Ниночка, — твердо произнесла бабулька и часто заморгала, укрывая блеснувшие глаза. — Знаете, просто мой муж как-то мне сказал: старость — это общепит: еще не поел, а посуду уже убирают.

Машины выбрались со двора, и рогастые деревья перестали стучать по брезенту, роняя ледяные капли мне на лицо.

— В больницу? — тихо спросил Пыжиков у врачахи.

Она отрицательно покачала головой:

— В интернат. — И бодро добавила, повернувшись к бабульке: — Он у нас самый лучший в Москве.

— Ниночка, я себя ощущаю совершенно спокойно, — выразительно сказала бабулька срывающимся от сотрясений машины голосом. — Я согласилась к вам переехать лишь с единственным условием — я никому не хочу быть обузой. Лежать сложа руки я

не буду! Вы мне это гарантировали. Я способна читать вслух людям с плохим зрением. Если товарищи не будут стесняться — буду писать письма. Если дадут все необходимое — с удовольствием займусь ремонтом книг библиотеки. Что вы там еще говорили?

— Коробки для мороженого клеить.

— Да, и это... У меня есть опыт работы с лежачими. Себя я поэтому очень хорошо держу в руках. И товарищей смогу всегда поддержать. Я в девятнадцатом году работала в Варшавском военном госпитале, в Москве такой был. Меня раненые называли «товарищ комиссар», хотя я работала по культмассовой части. Если я заходила в палату и видела: играют в карты на кусочек сала или хлеба — я сразу брала колоду в руки и говорила: «Товарищи, нельзя играть на продукты. Может, вот ему мать свое последнее прислала. Вы завтра пойдете Советскую власть защищать — а ему надо выздороветь. А если вы будете продолжать играть на продукты, эти карты полетят в печку-буржуйку. И следующий раз приходила, заглядывала осторожно — нет, не играют, или на копейки. В госпитале у нас каждый месяц, вы знаете, устраивали вечера Бетховена. Я приглашала профессоров Московской консерватории — стакан чая им, конечно, сахара... По два куска. И кусок хлеба...

Машина мчалась по дороге, и светофоры были все зеленые — я вцепился рукой в борт и хмуро слушал дребезжащую, торопящуюся речь.

— А тогда пошла волна... колхозами все заинтересовались, коммуна — мне комиссар сказал: — «Сходи в Наркомпрос, книжек, что ль, каких поднабери, а то раненые товарищи интересуются». И вот в Наркомпросе встречает меня такая милая женщина с чуть выпученными глазами, начинает подробно так расспрашивать; я сама не знаю, почему я ей все так рассказала? Что братик мой на каторге умер. За «Искру». Отца жандарм камнем убил, и про госпиталь наш рассказала, про концерты. А она, знаете, так прямо вся удивилась: «Как Бетховен?» — говорит. «А что, — сказала я, — у нас всем очень нравится музыка». «Когда у вас следующий раз?» — быстро так она спросила. Я ответила, что как раз скоро. Она себе пометила в календарике. Я книжки взяла, а сама спрашиваю у секретаря: «А кто сейчас со мной говорил, товарищ? Такая милая», — описала ее. «А это товарищ Крупская, жена товарища Ленина» — ответили мне. Вы себе представить не можете, как я шла в госпиталь...

Она мелко подергала кадыком и жалобно спросила:

— Ниночка, вы не захватили ничего пить?

Врачиха достала желтый термос и плеснула в пластмассовый стаканчик чуть дымящийся чай, кивнула Пыжикову — дай.

Пыжиков с испуганными глазами достал свои клешни из карманов и, схватив стакан, коряво уселся на пол, склонившись к бабильке.

Она сморщилась и приподняла голову, поймала своими лиловыми губами с черными пятнами край стаканчика, в горле у нее что-то булькнуло, и чай запорожскими усами потек от уголков рта на

носилки. Пыжиков отпрянул, вопросительно глянув на врачаху, уже протянувшую к бабульке чистую салфетку.

— Вы извините, товарищ, — жалко улыбаясь, говорила бабулька, — товарищ как?

— Аркадий, — сухо ответил Пыжиков.

Я больше всего боялся, что сейчас она поинтересуется и моим именем. Бабулька меня пугала так же, как и весна.

— Товарищ Аркадий, — пробубнила бабулька сквозь салфетку, которой врачаха елозила по ее лицу. — И я хочу еще сказать, что комиссар госпиталя сразу мне сказал: «Не волнуйся. Она не придет. При ее занятости...» А на концерте мне сказали: «Здесь Крупская». И она сама захотела со мной поговорить. Спросила: «Как вы достигаете такой тишины?» Я ответила: «Никак. Просто все хотят послушать. Даже лежачие просят их кровати принести». Тогда она сказала: «Удивительно. Я обязательно расскажу про это Владимиру Ильичу». Это... это был самый счастливый... самый счастливый день в моей жизни. И я сейчас...

Бабулька замолчала, уставившись на железные ребра, обтянутые брезентом и напоминающие своды склепа или храма, на потолке которого, пробивался через дыры колючий, яростный мартовский свет, глухо пел мотор и каменными ангелами скорби застыли бледный Пыжиков и толстая врачаха, обхватившая ручкой круглый подбородок.

Я придерживал ногой под лавкой ведро — чтоб не звякало.

— Как мы жили... — зачарованно тянула бабулька. — Для раненых товарищей играли Мольера — «Мнимый больной». На сцене стояла кровать. Больной была я. Лежала прямо на матрасе. А матрас оказался из сыпнотифозного отделения — я четыре месяца провела без сознания. Пришла в себя, когда кто-то сказал: «Ну что, в морг?». С палочкой и в платочке умершей соседки пришла в госпиталь — комиссар увидел меня и заплакал: «Вера, ведь ты умерла!». Я после этого работала в детдоме под Харьковом. С беспризорниками. И там рядом был графский дворец, и старик садовник при нем остался. Совсем старый такой... Поляк. Он все мне одно и то же толковал: «Золото все равно вернется. Вернется». Но ведь не вернулось! — истопленно крикнула бабулька. — Но ведь не вернулось... Мы были голодны, бедны, но мы были счастливы — это правда! Я в ужасе от того, что сделал Сталин — он убил моего мужа, но мы все равно победим. Мы пробьемся! Мы выстоим и победим!

Разминувшись с мусоровозом, мы въехали в ворота интерната, между румяным лицом сталевара и бронзовой фигурой пловчихи.

— Я теперь... Когда просыпаюсь по ночам — сколько всего доброго я вспоминаю, сколько добрых, чистейших, честнейших людей было вокруг. Я была знакома с женой Бэлы Куна, когда работала машинисткой в Институте марксизма-ленинизма. А какой чудесный человек кассирша Ирина Петровна — всего лишь за сорок копеек я могла пройти на бельэтаж, на ступеньках посмотреть спектакль... Я на пенсии посмотрела всю театральную Москву... Сколько

я прочла, сколько... — Она еще не знала, что мы приехали. — И сколько добрых, хороших людей вокруг. Сколько надо людям сделать добра. И я буду помогать всем, кто вокруг... Их так много. Были б силы, были б только силы, — лопотала бабулька, а машина уже остановилась. — И самое главное. Самое главное, вы запомните!

— Приехали, — объявил с улицы зёма и опустил борт.

На обшуренной солнцем лавочке под свежим лозунгом «Больше социализма!» стояло с десяток инвалидов колясок с раскоряченными инвалидами, как стая грифов над падалью; они вовсю косились, кто во что горазд, в нашу сторону.

— Не туда! — крикнула одна инвалидка, наметанным глазом определив, что мы целимся в первый подъезд.

Мы потащили присмирившую бабульку во второй — генерал шел слева от носилок, неуверенно улыбаясь.

— Здравствуйте, — сказала бабулька инвалидам.

Кто-то качнул в ответ головой с безумно вытаращенными глазами. Зёма глядел по сторонам с не меньшим идиотизмом. Мы втащили носилки в бесцветный коридор. У меня ныли руки, но я неотрывно смотрел на седые, чуть рассыпавшиеся по сторонам, как у куклы, кудряшки и голубые горькие глаза. Стены были салатовые, двери туда-сюда.

— Двадцать третья палата, — шептал генерал, сверяя курс с бумажкой, вытасченной из кармана.

Из оставшегося позади кабинета кто-то вежливо вещал:

— Мест сейчас нет совсем! Ну как что делать: потерпите. А зимой — пожалуйста, мест навалом будет. Да у нас за год треть состава обновляется.

— Вот! — указала врачиха Ниночка искомую дверь. — Заносите!

В крохотной палате стояли впритык три кровати и тумбочка с иконостасом фотографий плюс электрический обогреватель на полу. Как только мы вперлись, даже плюнуть стало негде. Я вертел головой: свободной кровати не вырисовывалось. В палате был полный комплект — одна бабулька с присвистом слушала, что в подушке творится, повернувшись к нам равнодушным задом значительных размеров, вторая, деревенского вида из-за коричневого платка, с горбатым носом, что-то жевала тут же, скомкав в мозолистой ладони газету, третья в цветастом халате растерянно озиралась с ожидающей улыбкой.

Мы стояли, как истуканы, ожидая, когда генерал наскребет в себе сил закрыть изумленно распахнутый рот.

— Обед, что ль, Марь Ванна? — предположила бабуля с растерянным лицом.

— Рано ишо обед. Охфицеры каки-то. В шинелях, — цыкнула зубом Марь Ванна, заметно борясь с отрывкой, и указала крючковатым пальцем на растерянную. — Слепая она, ни черта, стало быть, не видит, прости меня, господи, грешницу, — и досказала: — А слышит хорошо. Враг ее знает почему.

— Ну как же так, как же так? — затараторил генерал. — Ниночка, где главврач? Сейчас, мамочка. — И скрылся за дверями.

— Мамочка, ишь ты... — повторила Марь Ванна и подперла голову рукой. — Генерал, должно...

— Здравствуйте, — отчетливо проговорила наша бабулька.

— Здравствуйте, — охотно откликнулась Марь Ванна, и слепая, вращая головой, как пограничник прожектором, повторила то же.

В палату осторожно вступил зёма, сдержанно присвистнув, и присел на краешек кровати, на которой мгновенно прекратила сопеть обладательница обширного зада.

— На пайку опоздаем, — грустно сказал зёма, наблюдая, как у нас с Пыжиковым отваливаются руки, а у меня вдобавок поперек лба дуется синяя жилка.

Хозяйка кровати повернула к нему рыхлое лицо.

— Доброе утро, мамаша, — ласково сказал зёма.

— Громче ей, слышит она плохо, — посоветовала Марь Ванна.

— Что это у вас за фотокарточка?! — спросил зёма, показав на лицо юной красавицы с курносом носом и изогнутой бровью, так громко, что я подумал, что кого-то из инвалидов на улице может трахнуть инфаркт.

— Я плохо вижу, — пробасила спавшая и, взглядевшись, сказала: — Это я. У меня двадцать два хронических заболевания.

Зёма заржал. Пыжиков дергался, пытаясь пристроить коленку хотя бы под одну из ручек носилок.

Дверь бухнула, растворяясь, и в палату прошаркала коренастая санитарка, позвякивая ведром с синими буквами «хол». Она сунула швабру по зёмным ногам, и он переместился в коридор. Санитарка не поднимала от пола свой крохотный лоб, перетянутый белой косынкой, и равнодушно шваркала обильно смоченной тряпкой под кроватями.

— Машенька, — вдруг очень ласковым голосом разродилась зёмина собеседница. — Можно тебя попросить?

— Рот закрой, — буркнула санитарка, почесав затылок. — Сходи сама. Лакеев в семнадцатом году отменили.

Марь Ванна сверкнула глазами и по-куриному расхохоталась:

— У нас тута Советская власть!

— Я после операции... — вкрадчиво напомнила просительница после вздоха.

— Потужись — не лопнешь, — посоветовала Машенька, ухватила швабру под мышку и вышла, бормоча, что «каждая тут...», и недовольно ответила «Здрасти» на ласковое «А это, товарищ генерал, наша санитарочка».

— Ща я схожу, — сказала слепая и пошлепала тапками к выходу.

Лежавшая, не обернувшись, качнула ей головой.

Тут залетели генерал и бородатый главврач с толстыми руками, которые сразу принялся махать.

— Вот здесь, здесь. Здесь вид из окна отличный, воздух лучше некуда, летом особенно, соседи вот...

— Какая кровать?! — отрывисто спросил Пыжиков. Я только кусал губу.

— Что? Да любая. Какая нравится, такая и будет. Какая вам нравится? — наклонился главврач к бабушке. Та закрыла глаза.

— Ну вот, наверное, у батареи, да? Здесь потеплее, стеночка, да? Вот здесь и давайте, да? — указал главврач на кровать Марь Ванны, с улыбкой наблюдавшей за этим, и тут же уложил свою лапищу ей на плечо:

— Марь Ванна, давайте пока в коридор — обождите чуть, а после обеда идите в дежурку. Пару ночей переспите, а там что-то освободится. Собирайте вещи пока.

— Да что мне собирать — все на мне, — хохотнула Марь Ванна. — Мне куды хошь — лишь бы не к мужикам — храпят дуже.

— До свиданья, слепая, — обратилась она к застывшей в дверях слепой. — Может, свидимся ишо! Выселяют меня. С лишением избирательных прав.

— До свидания, — пролепетала слепая.

— Вы любите читать? — спросила наша бабушка у слепой, но та с застывшим лицом оставалась в дверях, безропотно ожидая, когда и ей скажут что-нибудь.

Генерал бухнул:

— Вот сюда, сынки!

И мы с Пыжиковым немеющими руками чуть не выронили носилки на кровать — все!

Все!

— Да здесь такой вид из окна, деревья, липы, старушки ходячие цветов понасажали, — не успокаивался главврач, продолжая махать своими оглоблями.

За окном были видны белый бетонный забор и скамейка с инвалидами. Старуха в бордовом платке совала в рот парню неопределенного возраста папиросу, а сверху прогибался колесом небесный мундир с единственной, зато надраенной на славу солнечной пуговицей. Мне стало тошно от запаха нечистого белья, скучной морды Пыжикова и нашего ублюдка генерала, и я ломанулся в коридор, подняв плечи, чтобы не оглянуться на бабушку.

— Э, погодь, носилки заберешь, — тормознул меня генерал.

— Извините, товарищ генерал, я в туалет хочу, — доложил я и прикрыл дверь за собой, заскрипел линолеумом по коридору и плюхнулся на скамейку за первым поворотом, сжав шапку в руке и подумав про себя: кретин.

— Ну... служивый... — опустилась рядом Марь Ванна. — Девка-то ждет али нет?

— Солдата дождется одна мать. Нету девки, — мрачно ответил я.

— Ну и что? Плюнь да разотри, нынче девок, ты не поверишь: кинь палкой в березу — попадешь в девку. И все развратны, хтоizat какие. Ходют, зубы всем оголяют, и матершанники, матюшатники, матерошники!

— Вы переезжаете? — спросил я лишь бы что.

— А мне недолго, вона у Петровича жена приберется — я на ее место в шестую, к двум парализованным, — указала она пальцем на седого мужика, листавшего дрожащей рукой газеты. — Да и мне

что, разве привыкать? Нас как в тридцать третьем кулачили: как белку обобрали — и в Казахстан. Во как ездили! Мужик на фронте сгиб, я в землянке десять годов жила, а перед тем девять ребенок у меня было, все от скарлатины померли. А после войны меня Сталин на шесть лет посадил — купила у трактористов зерна и самогоном их угостила с салом. Мне бы, дуре, сказать — деньгами... Три раза судили! Показательным судом! А как выходила, конвойный молодой смеется, зубы каже: «Ну что, Данилова, будешь еще горилку гнать?». Я говорю: «Соломина колхозная за пояс зацепится — и то сниму, двору не понесу». Он засмеялся, а я стою плачу. Вот ты скажи мне, — пригнулась она ближе, предварительно оглядев пустой коридор, и сказала в самое ухо: — Мы вот тута вдвоем, скажи мне: ну разве прав был Сталин тот? Ведь за ведро картох судили, за охапку соломы...

Я пожал плечами.

— А правду говорят, что сейчас за горилку уже не судят?

Я еще раз пожал.

— А мой как на фронт уходил — все мне наказывал: береги детей, не сбережешь — приду, все виски повыдеру. А я говорю: эх, ворота туда широкие, а оттуда — узкие.

— Да, туда — широкие, оттуда — узкие, — кивнул я.

— Курицын, — злой и красный Пыжиков стоял в коридоре с носилками в руках. — Иди. Прощайся.

— За каким..?

— Она сказала... прощаться.

— Черт!!!

Пыжиков пошел к выходу, за ним под ручку с журчащим главврачом протопал генерал, а я подошел к палате, оглянувшись на крестящую меня Марь Ванну, и приоткрыл дверь.

Послеоперационная мамаша дернулась на кровати и почти с ненавистью глянула в мой адрес. Ошеломленная слепая что-то грохнула под кровать и не знала, чем занять руки. Наша бабулька была неподвижна, как мертвая, только тарачила свои зоркие глазищи. Она лежала головой к окну — ни черта здесь летом не увидит.

Бабулька приподняла свою правую руку, не разжимая пальцев, я шагнул вперед и осторожно взял ее тонкие, как весенние ветки, пальцы. А она вцепилась по-кошачьи цепко в мою ладонь судорожной последней силой.

— Товарищ, — шевельнулись ее губы. — Руку надо пожимать вот так. Чтобы чувствовать силу. И передавать ее.

— Да, — сказал я.

Наши руки распались.

— Спасибо, всего вам... до свидания, спасибо, — бормотал я и качал головой. Слепая, как дура, заторможенно кивала мне вслед, и болезненно морщилась ее подопечная. Глаза у бабульки блестели росой, и безобразный корявый рот дергался жалко и мелко, задержались брови, щеки, птичьи руки вцепились в толстое одеяло...

Я захлопнул дверь. Старик Петрович поднял свою большую

голову и отставил в сторону газетный лист. Мне показалось, он похож на меня.

Я вылетел в коридор — и на улицу. Генерал, важно обняв свой живот руками, напутствовал:

— Ну, доберетесь? Повнимательней там, без происшествий, да... Ну...

— Плохо вот только, что на обед мы опоздали, — вдруг тихо сказал зёма, слегка себе под нос, естественно и бездумно, так вдруг, просто солдатская мысль выскочила нечаянно из души, как кусок солдатского белья из-под кителя.

Седову стало стыдно — он даже глаза опустил, прикрыв их белыми бровями. Он замычал что-то с припевом: «да, конечно», неловко засовывая руку в карман.

«Если даст трояк — посвящу зёме остаток жизни. Кормить буду с ложки», — свято поклялся я, случайным шагом влево перегораживая вид набычившемуся чистоплюю Пыжикову.

Молодцевато откозыряв, мы быстренько забились в кабину, и зёма с невероятной проворностью вырулил на автостраду.

— Ну, чама, чего молчишь? — выпалил я. — Трояк?

— Хреном по лбу, — важно отрезал зёма и разжал ладонь: — Пятерка!

Ох, как мы ехали по весне, расплескивая радость на обочины и раздвая взглядом попутных баб и сосок. И было нам по девятнадцать, и ни черта мы не смыслили ни в чем, и ох, как нам весело было, и смеялись до визга шипящего и слез, матерились вперебой, и даже Пыжиков вдруг прыскал тихим смехом, зажав ладонями уголки рта, склоняясь вперед по ходу «ЗИЛа». Жизнь метала нам карты лиц, домов, дорог, машин, суля веселое будущее, и играло нами счастье, пусть серое и корявое наше солдатское счастье, но ощутимо и зримо было оно, да и много ли нам надо — мы молодые, мы одни, работы нет, живы-здоровы наши родители — и хватит!

— Вишь, соска тащится! Соска, поехали с нами!

— Агхы-агхы...

— Может, та поедет, с ребенком?

— То не ребенок. То — другая соска.

— Я бы ей засадил.

— Ногой по заду!

— Гы-ы-ы...

— А может, эту?

— Да у ей ноги кривые — как три года на бочке сидела, вон та получше.

— Фанэра! Ее в постель и три месяца кормить — пока не подоровет.

— Пихать ее будут двое. Я и мой взвод.

— Я такую после армии выберу... Такую. На работу чтоб уходил — шмяк по ляжке! С работы приходишь — ляжка еще дрожит!!!

— Уыгх!

— Зёма, а ты мне после армии писать будешь?

— Я тебя после дембеля встречу и узнавать не захочу.

— Ну ты и борзанул, гы-гыгы...

— Что возьмем на пятерик?

— Колбасы, три пива. Актер, будешь? Все одно — три. И батончиков. И курить.

— Может, и мороженое купим? — робко сказал Пыжиков.

— Обязаловка, зёма, обязаловка, — загорелся я и заорал в чаще нашей сумасшедшей кабины:

— Тормози, мать твою нехорошо!

Зёма тюкнулся в обочину, и, сиганув за Пыжиковым на асфальт, я вразвалочку забацил подковками к ларьку с синими вспученными буквами «Мороженое», где уже таяла лицом седая вялая бабушка.

Недалеко был киоск от «зилка». Только вот проехал его зёма почему-то. Возвращаться бы нам пришлось. Метров, может, тридцать всего. Я бабке пятерку сунул, а кретин Пыжиков стоял и мною любовался, будто у меня титьки по ведру. Он даже не услышал, как зёма тронулся. Это я уловил и голову вздернул за спину Пыжикова. Наш «зилка» по-резвому втопил и ходко затерялся меж серого каравана кузовов и фургонов, а прямо по обочине целеустремленно к нам вышагивал офицер в белой портупее и каракулевой шапочке с большим золотистым знаком на груди, и по бокам его бухали отдраенными сапожищами двое рослых воинов в белых ремнях и с белыми штык-ножами.

Комендантский патруль.

Наконец и Пыжиков оглянулся и, побледнев, куснул воздух. А чего было кусать...

Я грустно опустил голову, сгреб аккуратню сдачу в кулак и прыгнул за угол, отбросив мрачного пенсионера в сторону.

Я помчался вдоль дома, молясь на первый переулок, глухие дворики и млявость патруля. Дурак Пыжиков бежал за мной. Господи, кто же бежит вместе от патруля! Надо сразу разбежаться! Надо, чтобы верзила белоременники имели в виду перспективу в случае догонки остаться с глазу на глаз с солдатиком-самоходчиком, которому уже мало что можно потерять, да и к тому же он и десанником может оказаться или просто амбалом с солидной репой, что хрен промажет. И какой же тогда толк этому верзиле нас ловить?! Денег же за это не платят! Ну не может ведь он за одно удовольствие брата своего душить?

Я крикнул бы все это Пыжикову, я бы объяснил. Если бы не боялся, что, обернувшись, увижу слишком близко красные морды и жадные руки, и не побегут тогда мои ноги ни за что...

Я оглянулся, лишь влетая в проходняк: Пыжиков с трясушимися руками медленно шел к начальнику патруля, кусая воздух с одышкой и стоном, а ребятки резво, разгоряченные удачей, мчались за мной с интервалом метров тридцать.

Влетел я во двор — раз, два, три — голый дворик, песочница и бетонный заборчик на валу, гаражи бережет. Я пропахал склон и замешкался вроде как у заборчика, вроде как примериваюсь, как бы его поспоривистей ухватить да осилить. Верзила, что мчался первым, прямо с лету и прыгнул на меня, с рыком целясь за плечи

ухватить. А я тут некстати оскользнулся и шваркнул навстречу ему ногой по склону (все-таки сырая нынче весна), и его малость подбил. Верзила, крутанувшись, вытер подолом аккуратнейшей шинели измызганный склон и даже съехал вниз на пару метров.

Я, вбив воздух внутрь, перевалил за заборчик и свалился на выходе в узкую щелку меж забором и гаражами. И дернулся, заизвивался, всем телом протискиваясь по ней, тесной, как кишка, и душной скотине. Понял я сразу, что надо было по гаражам бежать, да теперь не подтянешься уже. Я пер и пер с натугой по железобетонным аппендиксам, тыркаясь во все углы и загогулины, пока не приголубил щекой гостеприимный тупичок и дыхание стало биться в черную жесьть, и мерзко стало в животе — детство протянуло сквозь годы свою лапу и вдруг в горле как запершило чем-то, щипнуло в глазах, и подумал про маму, про себя, по которому скауча, про то подумал, о чем сердце всегда болит, — ну, хватит, стервы, хватит, хватит...

— Хватит, сынок, отбегались, — ласково сказали сверху.

На гараже, измученно вытирая рукой пот, стоял второй белоремник. Он отдохнул еще малость, нагнулся, схватил меня чужим жестким движением за воротник и повел обратно по чертовой щели меж забором и равнодушными боками гаражей.

Я тяжело перевалил обратно забор и стал рядом с проводником, теперь привычно уцепившим меня за ремень. Я стоял еще спокойно, еще оценивая соску в окне напротив, и даже думал, не попросить ли у краснотика закурить. А второй, терпеливо матерясь, очищал шинель, брезгливо кривя морду. И где только набирают таких амбалов? Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона.

— Пойдем, — сказал первый.

— погоди, Ефим, — разогнулся второй от шинели. — погоди.

Он, сморщив лоб, быстро размахнувшись, ударил меня в грудь с горловым звуком «ум-м» так, что я никак не мог уцепить зубами воздух, и шагал назад, заполошно вздыхая, и шагал, стараясь не упасть, пока не оперся спиной на стену, и опустил лицо на грудь, будто налаживая дыхание, — не будет же он по лицу бить: не дурак ведь — синяки останутся.

Он аккуратно приподнял мое лицо и, запрокинув его, обтер грязные обшлага шинели о щеки, особенно вдавливая ее жесткий ворс меж губ, до скрипа.

— погоди, погоди, бегунок, — шептал он. — Вот приедем в Аleshки, ты у меня еще свои зубки в кулачке потрясешь.

Они, ходко и размеренно вышагивая, подвели меня к начальнику патруля — майору с серым тусклым лицом, растянувшим бесцветные толстоватые губы в пластилиновую усмешку: «А-а»...

Рядом стоял в до упора затуженном ремне и судорожно вытравившись в команде «смирно» рядовой Пыжиков.

Мне почему-то показалось, что Пыжиков сейчас лопнет от дикого напряжения какой-то струны, дрожащей в нем с тоскливым воем. Я никак не мог отвести взгляда от его рыхлого студенистого лица с никакими пятнами глаз, от его крайнего, до затекания, выверта

вскинутого подбородка, от его напряженно вздрагивающего комка кадыка.

Армия — это страна без табличек. Ни объявлений, ни стрелочек, ни плакатов «Добро пожаловать сюда, дорогой товарищ!». Просто скромные тихие заборы и железные калитки, и гадай на здоровье — боевая ли это часть или пристанище макаронной фабрики. И обязательно же приоткрыта где-нибудь оазис этого материка как-то хитро, с вывертом, вроде ждешь его, вот-вот приедем, дескать, и дух уже сперли страхи и ужасы — а нет: машина рулит дальше, и улочки все милей и мирней, и вот уже вздохнешь облегченно и шеей для разрядочки произведешь пару маневров — вдруг колеса враз и парализует супротив черной щеки ворот с прыщиками звезд. Сразу так и поймешь, что такое земное притяжение.

Плац на гауптвахте пустой и чистый, как обеденный стол. На его сером ковре, зажатою краснотой бараков, четыре сонных часовых (пятый топчется на вышке) в белых линиях пилотках с сияющими автоматами.

До сих пор не пойму: где они таких амбалов берут?!

В середине плаца на табуреточке, свалив на затылок фуру и подперев бледное лицо рукой, сидит лобастый старлей — начальник караула — начкар. За ним, благоговейно косясь на красивого, статного начкара с орлиным ликом, затаив дыхание и чуть ли не привставая на цыпочки, находится младший сержант — помначкара.

Мы сделали три шага. Раз. Два. Три.

— Стоп! Наза-ад! Солдаты... — тонким голосом по возрастающей завизжал начкар, и сонное царство чуть дернулось: часовые, блестя глазами, принялись поправлять подсумки, совсем расслаился помначкар. Сам старлей встал, еще сутулясь от долгого сидения и зябко подергивая плечами, продолжал, запрокинув голову с прыгающим горлышком тонких губ.

— Солда-ааты! На территорию Центральной гауптвахты города Москвы — Алешинских казарм входят только строевым шагом! Равняйся! Смир-на! Шаагом арш!

Командовал он здорово, со вкусом. Мы шлепали напряженным шагом, немисливо вскидывая судорожно прямые ноги, не дрожа ни клеточкой застывшего лица.

— Отставить! Команда «отставить» выполняется в два раза быстрее первоначальной. На исходную бего-ом марш!

Старлей широко улыбнулся, окаймив рот скобками морщин, и пропел, пестуя звук во рту:

— Сержа-ант! — помначкара сделал стойку суслика за его спиной. — Сержант, мля... солдаты совсем не умеют ходить. Видимо, их не смогли научить в свое время. Займитесь этим вы. Если не хотите, чтобы я занялся этим с вами. — И пошел себе, скомкав зевок, лениватый и здоровый старлей, начальник караула, влитый в форму, вялой и сильной тигриной поступью.

Помначкар даже не взглянул ему вслед. Медленно стекленея взором, он приблизился вплотную к нашим налитым паршивым ознобом лицам.

— Та-аа-ак... — хрипло вышло у него. — Счас изучим строевой шаг. Степан!

Сзади вырос один из караульных.

— Ты займешься с тем... со шнобелем, а я этого обучу. — Растя восторженность в краешках глаз, он без усталости ласкал меня взором.

И звонко заголосил:

— Рав-няйсь! Смирна! Ша-гом марш! И рэз, и рэз, и рэз, два три... Нога параллельна плоскости плаца!

Рота почетного караула плакала бы по ночам в подушку от зависти, если б увидела мой чеканный шаг.

Оценив, как я отсобачил шесть кружков, помначкар решил дать волю душе.

— Равнение вверх!

Я вскинул лицо на серую хмарь, закрыв глаза и слушая буханье крови в тесном, набрякшем нездоровой горечью теле.

— Равнение вниз!

А теперь подбородком в шинель, в крючок до боли и шагать, шагать, шагать...

— Равнение... назад!

И назад на затекшей шее.

— Равнение вперед!

У-фф. Пришли.

Степан оказался без особой фантазии. Он долго и нудно гонял нашего Пыжикова по плацу, разместив у него перед грудой автомат и призвав нашего актера расстараться доставать его сапогом и каждый раз чуть качал автоматом вверх, когда старательный Пыжиков вот уж было достигал нужного подъема ноги.

В результате Пыжиков три раза грохнулся навзничь на асфальт и часовые пару раз скупно улыбнулись.

На этом нас и спровадили в камеру, предварительно обыскав и отобрав все необходимое.

...Мы давно уже люди. И все уже простили и забыли. Если было что. Все скостили и подвели нужный итог. Сдали в архив. Все хорошо и местами нормально. И как-то даже не вспоминается.

Вот только раза два в год, когда осень и холодно, дует в комнатах и диван трет щеку, когда сам не поймешь, хоть и нечего думать — откуда? — в душу заходит цепная изголодавшаяся тоска, царапая старую память, когда вдруг протекает писками, шорохами, скрипами тишина, и мурашки толпами бегут по телу, и щекотка выступающего пота в каждой складке, и сквозь осень и мрак встает опять черное мягкое марево, и фигуры-тени в заварочных потоках света, и тонкий звяк подковок по коридору и по душе: туда и обратно — и входит вся, разом, огромная и мощная, вползает пустая неподвижность, растирая по нам все до капли и крохи, кроме усталости и страха, — и тогда мне ничего и никогда не надо от жизни.

Хоть и не вспоминается. Это правда.

Бр-р-р. Нам не повезло. Зацепили во второй половине дня —

дознатели уже по домам расползлись, в часть никто звонить не будет, из части на ночь глядя тоже охотников ехать нет — значит, куковать до утра. От такой радужной перспективы я перестал улыбаться и дышал через раз. Но глубоко и размеренно.

— Я говорю: «Р-раз!» — и вас уже нет в коридоре, — поставил задачу очередной амбал, распахнув двери камеры.

Только он открыл рот — Пыжиков уже примостился на дальней лавке, а я, сидя рядом, даже поднял руку, чтобы поковыряться в носу.

— Вон тот, — пробасил выявившийся в дверном проеме мой старый знакомый белоременник, не разделявший моих восторгов по поводу весны, и деликатно указал на меня кулаком часовому, значительно покачавшему головой.

Дверь с воем грохнула. Мрачность возросла в квадрате. Придется огрести. Мало не покажется.

Обнаружив, что под лавкой и на потолке бычков неизвестные доброжелатели не оставили, я огляделся.

В камере предварительного заключения скучало несколько человек. Три урюка-строителя довольно жизнерадостно что-то обсуждали на своем диалекте. Маленький и грустный урюк сидел у стены, облаченный в гражданский пиджак и синие кроссовки. У стены же стоял с приглашающей к сочувствию улыбкой красотик-курсант в маленьких металлических очках под густыми белобрысыми бровями, чистый, как с витрины Щукинского военторга. Грустный морячок откровенно морщил лоб, обхватив голову ладонями, пытаясь задремать. Обросший связист все время фыркал и начинал что-то бойко рассказывать, поводя головой налево и направо.

Пыжиков сидел на лавке прямо. Будто ему провели серпом по жизненно важным органам.

Я метнулся в люди. Как раз один саксаул-аксакал-урюк принялся расспрашивать своего соплеменника в полувоенной форме одежды. Курсант тоже краем уха цеплял эту беседу.

Забитый урюк отвечал тихо и жалобно, дергая вверх бровями. Он вроде был спокоен, только очень грустен.

Я раскрутил любопытного саксаула на синхронный перевод.

— Говорит, увезли его куда-то. В увольнение пошел, два мужчин подошли, говорят: «Поедем кататься на машине». Это на базаре было. Он поехал. А они завезли, это он говорит, в деревню... Или лес? В общем, там и оставили. Неделю, значит, семь дней он там побыл, дороги обратно не знал, говорит, а потом его обратно привезли. Ботинки и китель отобрали, вот это дали. Ха-рошие кроссовки! — Урюк-переводчик шурил маслянистые запятые глаз и качал кумполлом. — Ну и все? Неделя.

Чумазенький и лохматый связист в очередной раз фыркнул и залился колючим мелким хохотком.

— Все! Я хренею! Пусть расскажет лучше, как его брали, папуас драный, чурка недоделанная...

Взяла, оказывается, грустного урюка милиция. И урюк с перепугу (боялся, что вещи на нем ворованные) побежал. И даже ударил

одного милиционера. Да и второго потом тоже ударил. Сопrotивление оказал. Так боялся, что вещи ворованные.

— Лепит — хрен знает что! — сиял связист маленькими глазками меж рыжих ресниц. — Хоть бы думал, что лепит! Да что ему думать? Голова-то — одна кость! Дисбат тебе, милый. Еще два годика. Тю-тю. Деды, небось, в части драли?

Веселый урюк перевел. Грустный закивал быстро, прикрыв глаза, и заприщмокал губами. А потом вдруг бессвязно залопотал про семью, что он старший, и еще что-то про зеленые долины и орла в небе или вверху, потом про мать много, и всякого про мать разного, а потом веселый урюк устал переводить и бросил, а тот все еще говорил быстро и тонко, блестя в сумраке маленькими, до крика грустными глазками, налитыми болью, и черными, как смола, а урюк-переводчик самодовольно пояснял кому-то:

— Что-о? Нэ, ет нэ нашш. Эт тадшик, а мы узбеки. Ты разве разницу не видишь? Он же черний! Охрюнел, что ли, — он так и говорил, — охрюнел, что ли?

Вдруг белобровый курсант аккуратно выговорил:

— А марку машины, в которой тебя увозили, ты не помнишь? Ну, с базара.

Забастовавший было урюк-весельчак перевел.

Чмошный чурка коротко ответил-отрубил.

Марку машины он не помнит. Нет, вообще он в марках разбирается. Но эту не запомнил. Внимания не обратил.

— Им, чуркам, один хрен — водка или пулемет, лишь бы с ног валило, — фыркнул связист. — Вот так и живут: раз с гор за солью спустился, а его схватили — и в армию.

— А сам ты где служил? — поинтересовался у него один из чурок.

— Я с Тюмени. С болот. В рот я такую службу. И во все щели.

Он весело крутил головой, с удовольствием ощущая себя в центре внимания, и коротко фыркал от удовольствия, потряхивая головой.

— Долго ты?.. — участливо спросил я.

— Отсосешь, — ласково ответил он на мою заботу. — Я быстро. Второй день, — а я уже в Москве. И учти — я сам сдался. Сам. У меня нервы не в порядке. И до армии так было, да-да, было, — сиял он ярче лампочки болезненным неприятным светом. По ночам сны там всякие разные... А в армии в течение и ходе службы это ухудшилось, обострилось, вот — обострилось. И до такой меры, ну, степени, что уже не могу я достойно нести ратный долг перед Родиной по охране рубежей нашей священной Родины. Да и преступно это было бы скрывать. Я по месту службы обращался к начальству, оно заботы не проявило, не почесалось, а я — оп! — и в столице. И папаня мой уже здесь, в гостинице, случайным проездом, и вина у него хватает. Из Молдавии мы. С теплых мест. И Тюмень! Хы-ы!

Он быстро оглядывался на честно пытающихся что-то понять изумленных урюков, раскатавших варежки и забывших моргать, и только повторял все, важно пофыркивая:

— Все чинно. Все чики-чики. Тока сны придумать, долго ли,

сны эти, — и подмигивал: знаем, дескать, об чем всякие такие разные сны бывают.

— А старослужащие, — опять открыл рот курсант, опрятный и держащий строгую фуру только на отлете, чтобы не замарать невзначай. — А старослужащие вас не трогали? В части вашей?

Связист замер, поднял лицо и с медленно-тягучей ненавистью выжал из себя, дрогнув щекой:

— Трогать можно... девку за сиськи. Деда нас гасили. Непонятно? Это когда... когда десять одного в туалете, руками, ногами, всем... Это когда... Голым... По казарме... Ночью маршируешь. Когда каждой твари обязан. Это когда... каждый день. Каждый день! — Он задохнулся и посмотрел под ноги, а потом вскинул лицо и тихо, но совершенно спокойно уже сказал:

— Так что если меня не комиссуют, — а меня обязательно комиссуют, — но если нет, а переведут в другую часть... Это ведь будет не сразу: недели четыре я по комиссиям и диспансерам прокантуюсь — это точно, а там уж до приказа рукой подать. Я после приказа духам шороху дам. Я всласть позверствую! Ученый.

— Как же это так? — курсант все так говорил, холодно и равнодушно — нравился он мне чем-то.

— А так. Раз нас, значит, и мы должны. Традиции это армейские. Не могут ведь все на службу болт забить. Нужен порядок. Очередь. Кому-то ведь надо и службу тащить...

— А если война?.. — улыбнулся курсант. — Салабоны в бой первыми? Вперед, а то — вечером на парашу?

— Классовая борьба! — не в строчку ляпнул морячок, не поняв, о чем разговор, а молдаванин почему-то грустно добавил:

— У меня отец поседел за четыре месяца, а волосы были...

Мы сошлись с курсантом с ироничными улыбками и понимающими взглядами и пошептались немножко в уголке.

Он на губу попал по глупости — приехал в отпуск, десять дней отгулял, а тут мамаша приболела — он бросился в училище звонить, объяснять: мол, так и так... Ему посочувствовали и отпуск продлили — утешал курсант мамашу целых шесть дней, а по окончании их, наглаженный и начищенный, устремился в военную комендатуру закрывать отпускной. Вот и вынырнула досадная накладочка — отцы родные из училища забыли отчего-то сообщить о великодушном продлении отпуска на место, и чистюлю-курсанта грубо засунули в неаккуратный «уазик» с зарешеченными окошками, и Алешинские казармы распахнули ржавый рот, принимая очередного клиента. Походив пару часиков четким строевым шагом и раздевшись раз шесть за тридцать секунд для удобства обыска, курсант был препровожден в камеру, где и коротал вечерок, душой мечась меж московской квартирой, где стоит в холодильнике недоеденный им салат и мамаша на грани очередного криза, и училищем, где поутру поет труба и где белобрысого курсанта готовили на завклубом.

Я еще чего б нибудь узнал о курсанте, да приятность беседы улетучилась с мелодичным хрипом двери и деловитым лязгом конвоира:

под настроение. Тем более — один и без присмотра, — твердил я себе. — Лафа. Можно подзатыгнуть и с часовым поговорить — обиду загладить. И вообще все хорошо. Завтра нас заберут в часть. Отбрешемся — случай глупый. Ну впяют суток пять, так это ведь на нашей, гарнизонной губе — там только чурок и урюков дерут. Все здорово и чинно. Все здорово. Я — рядовой Курицын. Я — гражданин СэСэСэрэ, я член — ВэлКэСээМ. И сегодня мне повезло. Краснотик не злой. После армии? А что после армии? Я приду к врачу, я скажу: заснул на политзанятиях, ударился головой о стол — все забыл. Потеря памяти. И скоро будет весна. И май придет безбрежным весенним ливнем, когда земля вспухает, опоясанная лакированными ремнями морщинистых ручьев, блестят тропинки, вытягиваясь в сумраке осклизлыми дождевыми червями, капли впиваются в плечи острыми осами, и машины спят у обочин, подстелив себе последние коврики сухого асфальта, пузыри лесосплавом путешествуют по дорогам, а водосточные трубы цедят козлиные бородки серых струй — когда в набрякших зеленой кровью капиллярах веток мокрой растрепанной рюмкой торчит воробей и земля пахнет тополиными почками, а солнце утром подыметя и высветит просторы вымытой громады земли и серые глаза домов, опущенные ресницами деревьев, — это все когда дождь, весна и май.

И в такие дни так не верится, что прибежит когда-нибудь мокрая рьяная курица и завалит белой скорлупой все на свете.

Мне страшно хотелось плакать. Это все проклятая старуха, это все весна, дура и тварь.

Сержант-симпатяга внимательно читал газету у подоконника, слушающая, как кряхтит один из конвойных, сгруппировавшийся в кабинке, и насвистывает другой, натирая сапоги войлочной лентой.

— Уже постирал? — тихо сказал он, подняв свои печальные глаза.

Вода шелестела, как далекий веселый ливень в кроне густого тополя.

— Нет, — качнул я головой. С трудом качнул.

— А чего?

— И не буду, — лопнуло во мне, и потекла ноющая горячая зыбь по телу, застывая ноющими сосульками в пальцах, делая ноги ватными и звуки глухими.

— И почему? — забил по шляпку очередной гвоздик-вопрос грустный сержант, ничуть не меняясь лицом.

— Та-ак, мля-а... — заревел конвойный за спиной, делая ко мне два широченных шага, по-хозяйски расправляя складки под ремнем.

— Да погоди, Никита, — сморщился сержант и повторил тихо и скучно: — Так почему?

— Я и по салабонству никогда не стирал. Пахать — пахал, получать — получал, а стирать не брал, хоть и били. Я не шестерка. У нас это только шестерки делали. Я свое честно отпахал.

— Что-о? — весь аж искривился конвойный, дернув рукой; я резко отпрянул к стене с бешеным замиранием сердца.

— Да подожди ты, — резко сказал сержант. — Так почему?

У нас все «хэбэ» стирают. Шестерки сапоги чистят. Да и не узнает никто об этом у тебя в части... Если только поэтому, — он медленно улыбнулся, и качнулся немного грустный мирок в его глазах, закачалось немного их озерное таинство — и не понять, что выплывет из этих смешливых капелек за камышом ресниц. — Если только поэтому...

Я туло отрицательно качнул головой, стараясь не смотреть на конвойных, и понял, что вряд ли что еще скажу. Выжал что мог. Вышло что получилось. А что из чего — сам черт не разберет.

— Ну... идите в камеру. Скажете — я вас отпустил, — вежливо кивнул наконец сержант и усталым неловким движением отодвинул в сторону багрового от ненависти Никиту — без пяти минут Везувий.

Вода все шелестела и шелестела и потрескивала, как дрова на жарком огне.

Сержант уже нетерпеливо морщился, теребя в руках газетку, на которой держал пальцем место, где бросил читать.

— И-ди-те.

Я сделал два шага, раскачав онемевшее тело; воду стало слышно глуше, а в коридоре весело перецокивали подковки и звенели ключи на связках.

Еще шаг — и в закатном солнечном луче, распиленном шоколадной решетки, плыли серебристые пылинки и падали на доски, дочиста выдраенные, с чуть заметными островками краски — темно-коричневой, цвета болотной недвижной трясины, вязко подрагивающей от внутренних ломаных судорог.

Я обернулся, сглотнул исчезающий комок в горле:

— Все равно это неправда. Все равно вы... краснотики драные и чмошники. Душить вас надо, тварей, и с поездов под дембель сбрасывать... Волки вонючие. Раздолбаи поганые, рвачи, дешевки...

Сержант внимательно углубился в газету, отогнав ладонью вялого комара, очнувшегося от зимнего тихого часа и занывшего обиженно в тишине.

Из кабинки, на ходу застегивая штаны, вывалился любитель подремать в глубоком присесте, но, прежде чем он попал ремешком в пряжку, я, уже словавшись в пояс, сполз на пол, выдыхая хриплое «А-а-ах...», что есть силы жмурясь, будто боль угнездилась в глазах и надо только сжать ее посильнее, и она вытечет, расплывется, забудется, как смывает волна легкий след, как пряталась она в детстве в страну кощеев и хулиганов, когда мама дула на ушибленную руку, и тепло было, и всегда был свет.

Когда все кончилось, Никита подвел меня к желтоватому зеркалу и нежно прошептал на ухо:

— У нас все нормально?

Морда у меня была плакатно румяной. Все остальное — под «хэбэ».

— Иди, бегунок, — по-братски ласково потрепав меня за ворот, напутствовал Никита и вытолкал в коридор к часовому, с трудом сдерживающему улыбку. Тот, насвистывая, косясь на меня и строя важные гримасы, сопроводил меня до дверей.

Сокамерники поглядели на меня испуганно. Как на разведчика погоды, принесшего весть о грозе.

Я присел, аккуратно уложив ладони на коленях, и стал тихонько дышать животом, пытаюсь разогнать ломоту по всему телу, стараясь чем-то занять себя, чтобы не думать...

Пыжиков, чувствуя свой обязательный долг сослуживца — утешить и исцелить, тяжелыми шагами, на ходу вздыхая и скорбя, подошел и опустился рядом на нары с таким скрипом, что все вздрогнули.

— Сволочь Швырин, — тихо сказал Пыжиков. — Хоть он тебе и зёма.

Мне захотелось поговорить.

— Почему это?

— Как почему? Эта скотина бросила нас и уехала. Это мерзость!

— Видишь ли, сынок, мы допустили вопиющее нарушение воинской дисциплины — уговорили рядового Швырина изменить маршрут следования и сделать остановку у киоска с мороженым, самовольно покинули машину, несмотря на протесты рядового Швырина, — скривив морду, заканючил я. — Когда увидели комендантский патруль — попытались скрыться. Рядовой Швырин, убедившись, что мы уронили настолько низко свое достоинство, что оказываем пассивное сопротивление патрулю, вынужден был уехать — ведь мы даже не были внесены в путевой лист. Перевозка пукающих развалин не входит в выполнение боевой задачи нашей части...

Пыжиков вдруг вскинулся и еле прошипел со злобой:

— Я... Если б ты знал, с какой бы радостью я набил тебе морду! Эта старуха... Она...

— Закрой рот, сынок... — Я тоже что-то психанул. — Ты за ней походил бы лет десять, ты бы дерьмо потаскал в тазике, ты бы одно и то же по сто раз послушал — я бы поглядел на тебя. Она ведь уже не человек! Что ты понимаешь в жизни, сынок? Как ты можешь судить?! Кто тебе вообще дал право рот разевать? Завтра тебе старшина разъяснит политику партии — я гляну, как ты запоешь!

— Ну, зачем ты?... — затер руками Пыжиков, побледнев до дрожи. — Этот идиот бросил нас, поэтому мы и побежали, испугались... Мы еще расскажем завтра, мы...

— Что расскажем?! Рядовой Швырин уже объяснительную написал. Если б кто сомневался хоть бы чуть — представители нашей славной части уже стучались бы в ворота Алешинских казарм. Да и какая разница? Неужели обязательно тащить еще одного в прорубь... Что делать, как — это его личное дело. Нам от этого хуже не будет. Мы, вот мы, мы лично виноваты? Да, виноваты. Понесем наказание. Зачем путать сюда Швырина? За то, что ему повезло? Ты не суй морду в чужое корыто. Поспокойней, сынок.

— Ни хрена себе спокойней! — Я начинаю людей ненавидеть в армии, мне вот и сейчас любому... И тебе... Хочется в морду...

— Оставь в покое армию, кретин! Неужели ты так ничего и не понял?

— Но Швырин все равно подлец.

— Я бы на его месте тоже уехал. Если б он не уехал — дураком бы назвал.

— Не ври... На черта тогда ты не стал стирать «хэбэ» этим изуверам?

Я усмехнулся и сжал зубы. Пока меня не было, в благих целях назидания товарищам было объяснено, как надо себя вести и как не надо на моем скромном примере; небезынтересно — в ходе этой познавательной беседы было оглашено, что мое лицо два раза опускали в унитаз?

— Они не изуверы. Они хорошие ребята. Надо их понять. Они выполнили свой долг. Мы кто? Козлы в общем-то. Нарушители дисциплины. Злостные. С такими, как мы, так и надо. С нами по-другому нельзя. Ну как по-другому? Если копать — дело другое. Ну ты каждого копни, вот кто из этих виноват? Да никто. Бежать из армии вынудили: били, издевались. Те, кто бил и издевался, тоже чисты, их ведь еще больше били, над ними еще больше издевались. Сынок, ты плюнь на все. Ты как говорил: унитаз трешь — а про себя про свое думаешь...

— Только и осталось целоваться налево и направо, — выпалил Пыжиков. — Забыть все, и это забыть? И Швырину улыбаться? Хи-хи, как там твоя соска, дает? И никто не виноват? Не бывает так. Кто-то ведь виноват.

— Американский империализм, — заключил я и понял, что наговорился.

— Нет, ну а какого черта ты не стал им «хэбэ» стирать? — Пыжикова почему-то сильно волновало это обстоятельство.

А меня очень волновала боль в животе и крупно занимала мысль: что на практике означает расхожее выражение — опустить почки?

Урюк-переводчик осторожно подошел к «телевизору» (зарешеченное окно в двери камеры) и спросил у часового, внимательно изучавшего половицу:

— Скажи, пожаласта, сколько время? Спать можно?

Часовой посмотрел куда-то вбок и величаво качнул головой: «Можно». Все повалились на нары, укладывая под головы шапки и пряча ладони под мышки, согнувшись, друг за другом, лицом вниз, забываясь косматым, невеселым сном.

— Встаа-ать!

Миг — и мы стояли напряженной шеренгой, глотая горьковатые и душные комки дремоты.

Против нас шурил молодецкий взор орел-начкар с бесцветным лицом и вялыми губами. За его спиной с неистовой физиономией тянулись помначкар и красивый сержант — начальник этажа с грустным умным взглядом — мой приятный знакомец. Часовые деревенели в коридоре.

— Х-кто-оо?! — фальцетом, задыхаясь, выводил начальник караула. — Хто-о!!! О, сто чертов вашу мать, позволил спать? А?! — крикнул он, и его голос, звякнув в потолке, бичом ударил по ушам.

Часовой в коридоре сожрал глазами строй и лишь втягивал носом воздух, зачарованно покачивая головой с видом «Ах, как вкусно пах-

нет», что в данной конкретной ситуации означало: «Чего я только вам не сделаю, если скажете...».

Строй оскотинело молчал.

— Как?! Ка-ак?! — жалобно со слезой изгибался начкар, тряся перед распаренными трясушимися веками корявой ладонью, приглашая в свидетели верных краснотиков, как неумолимо и страшно рушится самое святое, подвергается подлому растоптанию и неистовому растлению. — Ка-ак, — выстанывал он. — Это что-шше? Теперь в центральной гауптвахте города Москвы — Алешинских казармах — мужички сами объявляют себе отбой?! А-аа?!!

Начкар резко выпрямился и уцепился ладонями за ремень.

— Часовой! Часовой, эти люди будут стоять всю ночь по стойке «смирно». Ясно?

— Ясно! — светло чирикнул часовой с таким выражением, будто начкар распорядился принести в камеру вино и фрукты.

Едва не вздрагивая плечами, начкар вышел. Помначкара озверело поглядел на совершенно безучастного начальника этажа, заковырявшего в зубе, обещающе вздохнул в нашу сторону и вылетел вослед.

Когда высокие гости отбухали сапогами на следующий этаж проводить вечернюю вздрючку, в камеру спокойно зашел часовой.

— Так, — сказал он, — ребята. Алешинские казармы — уникальное место. Здесь была казарма для рекрутов Петра I, потом женская пересыльная тюрьма — в частности, в этой камере сидела Надежда Константиновна Крупская. Когда здесь разместились гауптвахта, одну ночь в ней провел Юрий Гагарин. Проникнитесь этим. Значит, все знают, как выполняется команда «смирно»? Все. Хорошо. По команде «вольно», которую я буду периодически подавать, я разрешаю... — он глубоко задумался, — ослабить большой палец на левой ноге и опустить нижнюю губу, — он еще глубже задумался и подтвердил, тряхнув раздумчиво рукой: — да... нижнюю... Теперь... теперь надо выбрать дежурного. Дежурным будешь ты, — ближайшим оказался Пыжиков, и его плечо удостоилось чести послужить опорой для величавой длани часового, который, кинув оценивающий взгляд, заметил того на всякий случай. — Со шнобелем. Значит, слышь, дежурный. — Пыжиков таранился испуганно на грядущие перспективы. — Как тока я замедляю свой шаг у вашей камеры, отметить, — наставительно воздел он указательный палец, — не останавливаюсь, а замедля-аю! Ты! — Палец уперся в качнувшегося неваляшкой Пыжикова. — Ты громко и отчетливо докладываешь: «Камера, смирно! Товарищ рядовой, камера задержанных в составе десяти человек! Дежурный по камере — арестованный Раздолбайчиков!» Усе-ек?

— Да, — сипло сказал Пыжиков и повторил удачней, — да.

— Попробуй, — велел часовой.

Пыжиков уверенно и точно отбарабанил нужное. Часовой похвалил.

— Молодец, — и еще добавил: — Поближе к ночи говорить будем даже так: не товарищ рядовой, а «хозяин» или, — улыбнулся он, до-

вольный своим остроумием, — или «господин штандартенфюрер».

Выходило и впрямь звучно.

— Лучше фельдфебель, — тихо сказал курсант.

— Сынок, а ну-каними очки, — улыбнулся часовой.

— Я плохо вижу. Я очень близорук, — еще тише сказал курсант.

— Это меня не дерет. Задержанные не имеют права иметь очки.

Я обязан исправить ошибку смены, принимавшей вас.

Курсант снял с раскрасневшегося лица очки, аккуратно сложил дужки и осторожно подал часовому, уже что-то начав говорить, но осекся — часовой с ходу швырнул очки за спину в коридор. Тонко хрустнуло стекло на серой каменной плите.

— Чего-то, Степа? — дурашливо спросил второй часовой из коридора, наступив каблуком на серебристую восьмерочку оправы.

— Ничего-то. Уронил что-то.

— Ну и ничего, — одобрил его приятель и пошел себе дальше, гоня перед собой позванивающую оправу от стены к стене. Когда она ударялась о железные двери камер, звук был чище и звучней.

— Смирно!

Мы выткнулись, и дверь зевнула, а я почему-то думал, что курсанту, наверное, эти очки подарила мама в пятом классе, и он каждый день протирал их замшевой тряпочкой, подышав на стекла, и хранил футлярчик, который носил в специальном отделении ранца или прямо во внутреннем кармане на груди. Глаза у курсанта влажно отблескивали тусклым светом почерневшего от времени фонаря.

Я даже не вздохнул. Все стояли, тупо опустив головы и смотря перед собой на нары. Мир был чужой и скучный до тошноты — неровные щербатые стены в грязных потеках цыплячьего света, наивно-салатовые доски нар, бело-зернистые, как козинаки, плиты под ногами и огромное твое тело, которое растет и растет. Мы стояли, тупо опустив головы, как стоят, наверное, ночью в цирке слоны после трудного дня, не шевеля лобастыми головами, упершись в пол одной большой мыслищей-хоботом о том, что где-то шумят влажные джунгли, и дикие птицы орут вразнобой, невидимые в темном скопище деревьев, и кипит жизнь, страшная и родная. Тишина вползает, крадется туманом и растет вместе с телом, гипнотизируя каждого змеиным ритмичным вздрагиванием сердца, а тело — огромная держава, иное, уже далеко, бог весть где расположенное королевство, где уже помышляют о бунте, хотя уже нагло согнуть колено и дерзуют о немыслимом — скинуть вообще тело, не держать его больше, а руки — удельное княжество, которое тоже правит в сторону, разжимаем пальцы, а голова далеко, и что всем до бед ее и печалей, а ты' думаешь и думаешь о чем-то пустом и темном и скорее всего смотришь и слушаешь пустоту и тишину, а тишина уже поднялась до горла и душит тяжело себя. Ты начинаешь вдруг чувствовать свои веки и, когда моргаешь, вдруг ощущаешь удовлетворение оттого, что веки гладят глазное яблоко и гасят эту пустоту, и моргаешь все протяжней, натужно слушая уходящий все дальше неторопливо млявый разговор часовых в коридоре, и решаешь, что лучше уже закрыть один глаз, а все силы сосредоточить на втором — дежурном. Выходит

не очень — левое веко тяжелыми жалюзи рухнет на левый глаз и неведомым физиологическим законом тянет за собой и второе веко, и приходится затрачивать дополнительные усилия, чтобы сохранить положение вещей.

Я один. Я даже меньше, чем один. Я просто желтое пятно на стене и тишина, где нет даже места мушинуму перелету. Я зыбкое вязкое лицо, в котором качается тяжелая ртутная масса, и затвердевшее дыхание, как песок, засасывается в легкие. Я маяк, и руки мои и ноги — это далекие корабли, и не моему свету они служат, и не судья я им и не советчик, а где-то стонет и плачет разоренная страна моего тела, избитого века назад. Вот и все. И дыхание будто замирает, становясь все глуше и глуше, сопение уходящего в туман парохода — и ничего уже нет, и тишина лишь качается слепо и устало.

Я вздрагиваю, потеряв равновесие. И с шумом выдыхаю дрожащий воздух, покрывшись испариной. И все начинается сначала.

Часовой, сам малость обмякший, докладал сапогами до камеры и хмуρο поглядел на нас.

— Товарищ рядовой, — мощно выдал ему Пыжиков.

— Угу, ясно-ясно, — озабоченно покачал головой часовой и грозно проговорил: — Бичи, кто будет давить на массу в строю — вешайтесь сразу. И команды «вольно» никто не давал!

Он уцокал. Один из уроков прошептал в тишине свое абстрактное желание, чтобы матушку этого часового изнасиловали самым извращенным способом. Правда, выразил он это куда более кратко и общепринято.

Мы еще постояли. Я решил разжимать и сжимать правую кисть, чтобы не уснуть, и даже подумал, что к утру великолепно накачаю правый бицепс. Или трицепс?

Вдруг моряк решительно вздохнул и бесшумно подошел к нарам и осторожно свернулся на них напряженным калачиком. Покосившись мрачно на «телевизор», все ринулись к нарам. Пыжиков постоял немного один, осоловело и хмуρο глядя, и, шмыгнув носом, тоже подошел к нарам. Только не лег, а присел. Мы не спали — не пили взахлеб, просто лизали языком блаженное море сна, смачивали им глаза и губы, освежая лицо, возвращали верность ног и рук, чутко слушая тишину коридора, — как только раздавалось размеренное цоканье, все беззвучно спрыгивали с нар, и выстраивались замечательно ровной шеренгой, и Пыжиков звонко орал, что у нас все хорошо и радостно, господин штандартенфюрер, и как только тяжело несший голову часовой уцокивал продолжать монотонное бормотание с коллегой, мы устремлялись к своим родным нарам с гораздо большей горячностью и любовью, чем если бы нас там ожидала Джина Лоллобриджида, бесстыдно расставив ноги. Порой тревоги оказывались ложными, часовой, вместо того чтобы идти к нам, просто переступал с места на место; тогда мы, сделав выдержку, иронично переглядывались и занимали положение лежа, и моряк огорченно сплевывал и ужасно матерился шепотом. Быт налаживался.

Однажды мы вскочили, как ошпаренные, — по коридору мляво цокали сразу две пары сапог. Пыжиков в очередной раз доложил

нашу визитную карточку красивым баритоном, и в камеру, солидно позвякивая связкой ключей, заглянул красавец-сержант — начальник этажа, мой приятный знакомый. Не разжимая губ отекшего лица и сонно сдвинув брови, он бегло осмотрел строй и уже в дверях посмотрел внимательно на Пыжикова, напряженно задравшего остроносое бледное лицо.

— Вы дежурный? — тихо спросил сержант.

— Так точно! — таким тоном говорили «Сударь, вы подлец!» в XVIII веке.

— Угу. Вы можете лечь. Слышь, Федя? — повернулся он к часовому и собрался уходить.

— Я спать лягу только вместе со всеми товарищами. И только так! — прозвенел голос Пыжикова.

Кареглазый начальник этажа даже не обернулся и пошел дальше. Часовой запер камеру и побежал его догонять. А мы ласковой шелестящей волной накрыли нары.

— Слушай, дежурный, ты все равно не ложишься — двинься на край, — пробурчал сумрачный молдаванин, приглядевший самое безопасное местечко у стеночки. Пыжиков пересел на край, болезненно сжав губы.

Не успели мы толком и губищи на сон раскатать, как по коридору опять покотился перецок, бодрый и летящий. Мы еле успели изобразить строй, и зазевавшийся Пыжиков вообще пошился и метнулся в шеренгу, когда «телевизор» заслонила голова гостя.

Дверь мигом распахнулась, как глаза изумленной девушки, и в камеру залетел красный и разгоряченный помначкар, за ним осторожно заглянул часовой.

— Та-ак, мля-а, хлопаны в... — выдохнул помначкар и зацепил за горло Пыжикова. — Сынок, тебе невнятно говорили, что стоять нельзя, собака ты хлопаная. А?! — выкрикнул он прямо в судорожно выпученные глаза и слабо дрожащие губы Пыжикова. — Ты что-о, милый?! Служба медом показалась? Забил на все? Опух? — орал он, покрываясь блестками пота, и с каждым словом швырял Пыжикова на стену на вытянутой руке. Тот с каждым ударом все больше мяк и глубже переламывался в поясе, инстинктивно пытаясь нагнуть лицо, прикрывая глаза и болтая ненужными длинными руками.

— Егор, ему Кирсанов спать позволил, — басом пояснил часовой, выгадав паузу.

Помначкар брезгливо швырнул Пыжикова в угол, быстро выдохнул и, хрипло бросив часовому: «Прикрой дверь», — шагнул на нары. Оглядев дважды слева направо сонно равнодушный в покорности строй, хмыкнул:

— Чмо, а ну запрыгнул в строй! — когда голова Пыжикова завиднелась на фланге, помначкар даже улыбнулся: — Та-ак. Ну что, сынки, любим поспать? А? Национальность? — ткнул пальцем в крайнего.

— Узбек.

Помначкар, аккуратно занеся правую ногу, метко двинул сапогом в грудь покачнувшегося посланца Средней Азии.

- Национальность?!
- Узбек.
- Н-на! Национальность!
- Русский...
- Дальше.
- Таджик.
- И тебе. Национальность!
- Украинец, — мрачно пробурчал себе под нос моряк.
- А? Хохол, что ли? Ну, ты дыши глубже... Национальности!
- Русский, — вяло ответил я.

Моему соседу уроку повезло меньше — пытливый анализатор национального состава нашей камеры на этот раз малость промазал и угодил ему в верх живота так, что уроку срочно приспичило посидеть, и он присел с тонким рвущимся сквозь зубы стоном.

Опросив всех, помначкар легко спрыгнул с нар и прислонился к стене, свалив на затылок пилотку.

— Та-ак, — пропел он. — Стол видим?

Столик, размером с вагонное стекло, был привинчен в полу в середине камеры.

— Р-рясь! Сир-на! Внимание, камера, строимся под столом на три счета. Раз! Два! Три!

Мы разом бросились к столу. Под ним уместилось только четыре уроюка, которые после мгновенного замешательства встали на колени и уперлись головами в крышку. Остальные сгрудились на коленях и короточках рядом, теснясь в кучу и норовя засунуть и свои головы под крышку.

— Я же сказал, всем строиться под столом! — зарычал помначкар и щедро отвесил три-четыре пинка крайним. Среди лауреатов оказался и я.

— Моряк, слышь, хохол, ты туда не жмись. Лезь на крышку, мать ее так.

Моряк медленно взгромоздился на стол, и, набычившись, посмотрел перед собой.

— Ты же моряк, так ведь? Вот и танцуй «Яблочко» на столе. А вы, чмошники, слышите? качайте крышку — качку морскую избражайте. Ясно? — И сапог помначкара еще раз посетил нашу компанию. На этот раз без свидания со мной.

— Три-четыре!

Морячок забухал что-то неуверенно сверху, а мы, как на молитве, нестройно закачались под столом, изо всех сил пытаясь сотрясти его.

Помначкар сумрачно хмыкнул, а два часовых в коридоре ржали до потери пульса, даже прихлопывая в такт буханью морячка.

— Отставить!

Он еще раз быстро окинул строй пылающим взором и тихо прошипел:

— Мне сегодня скучно. Я сегодня веселюсь. Если кто-нибудь прикроет хоть один глаз, тот будет коротать время со мной. Вопросы?.. Кроме вас, конечно, — ощерился он в сторону Пыжикова. —

Ведь вам сержант Кирсанов разрешил спать? А почему у вас подвотничок грязный, солдат? Что вы говорит-тя?

— Я... я... — выдавил Пыжиков.

— А меня не дерет, что вы говорит-тя. Пачему нечетко отвечаем? Чмо паршивое. Та-ак...

Пыжикова была дрожь, и он лишь тупо дергал веками, мелко перебирая губами, будто шептал себе слова знакомой песни, бывшей когда-то родной и близкой, а теперь ставшей чужой и ужасавшей поэтому.

— Сколько... так... осталось мне до дембеля? — Обернулся помначкар к строю.

— Сто тридцать восемь! — вдруг звонко выкрикнул урюк в гражданке, до этого не сказавший ни слова по-русски.

— Ага, знаешь, — довольно улыбнулся помначкар, — Так вот, чама, я сейчас выйду, а ты прокричишь через это окошко в коридор «осень» — сто тридцать восемь раз. Не дай бог, не дай бог, ты пропустишь хоть раз. Ты у меня языком парашу вылижешь. Я тебе обещаю. Я.

Он вышел, оглушительно хлопнув дверью и рыкнул:

— Ну!

— Осень! — крикнул Пыжиков в окошко, упершись в него лицом, прислонившись плечами к двери, чуть согнув ноги в коленях. — Осень! Осень! Осень!

Я подумал, что сейчас, наверное, часа три. Может, чуть больше. Что осталось не так много — «губа» просыпается в пять, что надо мне что-то сказать, и что все мне до лампочки, и что у меня расплывается пауком боль в боку, когда вдыхаю, что как жаль, что я не был никогда в театре и ни разу не подарил матери цветы, а дарил только седые волосы.

— Осень! Осень! Осень! Осень!

Чужой сдавленный голос бродил по коридору, пьяно хватаясь за стены, толкая в проржавленные двери, и отирал белоснежные потолки, я чувствовал его, как комариный писк, имеющий ко мне отношение лишь в свете агрессивности отдельной комариной твари, а думал я, что, будь я актером, я черта с два играл бы Гамлета, этого и без театра хватает, куда ни плюнь. Я только бы и делал, что дрыгал ногами под музыку и сосался с сосками взаправду. Ведь и за это деньги платят. И вспомнил свою математичку Лидь Максимну, которая подолгу-долгу ждала, родится ли что у меня в голове в ответ на ее героические потуги, а пауза все затягивалась так, что все в классе уже забывали, о чем спросили, и я забывал, и Лидь Максимна забывала — оставалась только пауза, тенью мысли висевшая в воздухе: надо что-то сказать... А что? Отвык я говорить.

— Осень!

— Да заткнись ты, раздолбень, кому ты на хрен нужен?! — вдруг тонко, по-бабьи, крикнул курсант, безобразно сощурился глазами и задергав головой, будто хотел вытрясти из головы песочные трели сирены, истязавшей его мозг. Моряк угрюмо поднял голову и опустил.

В коридоре хохотнули далекие голоса, и стало совсем тихо. Лохматый молдаванин с дефектами психики, замыкавший нашу милую компанию на левом фланге, осторожно выступил вперед и, лукаво блеснув глазами, присел на нары, вопросительно глядя на всех, преимущественно на моряка.

Было так тихо, что не слышно стало дыхания. Будто стоял безмолвный ряд зеленоватых статуй, серых и безобразных, будто рядком висели тяжелые свиные туши на аккуратных белых веревочках на балке подземного склада нашего свинарника.

Молдаванин, с сожалением хмыкнув, принял вертикальное положение, но молчал недолго, а принялся что-то зло и быстро нашепывать маленькому урюку в кроссовках, большому поклоннику бега на средние дистанции и игры в кошки-мышки. Три веселых чурки тоже малость расшевелились, потрогав одинаковым движением грудины. У дверей, наконец, повернулся Пыжиков, он медленно и тихо покашлял, заметно сглотнул пару раз и, сняв шапку с белесым пятном от кокарды, лег на нары. Он повернулся набок, подтянул колени к животу, шапку положил под голову, закрыл лицо локтем, вторую руку засунул под живот и так замер.

В камере все больше оживлялись: только моряк застыл со зверской отрешенной мордой, да курсант болезненно щурился по сторонам, то и дело потирая указательным пальцем переносицу с красноватым следом от дужки. Я некоторое время взирал на большие скорбные сапоги Пыжикова, решил даже посчитать гвоздики на подошве: если четное выйдет — значит, все будет хорошо. Что «все» — это неважно. Посчитать не смог — сбился и дальше просто стоял, то замирая, то раскачиваясь, вдруг теряя все вокруг себя, то в очередной раз оглядывая камеру, мертворожденный брезжащий свет, слышал сдавленный шепот и чувствовал ломоту в животе.

И потом все пошло кусками, мозаикой, грязно-голубоватыми льдинами по реке, и на каждой льдине что-то находило приют.

Еще раз зашел кареглазый сержант Кирсанов с мокрыми бровями и посвежевшим лицом, пересчитал нас, улыбаясь всем, кроме меня, вытолкал часового за дверь и тронул Пыжикова за плечо: «Как же так? Вы же сказали, что ляжете спать только вместе со всеми. Как же так?» — участливо спрашивал он и озабоченно барабанил пальцами по двери, мило улыбаясь. А Пыжиков смотрел смурным никаким взглядом перед собой и лишь прижимал к щекам уголки поднятого воротника и молчал.

Потом сочный голос крикнул вдоль коридора: «Гауптвахта, подъем!» — это значит, что уже пять часов и зевнула дверью соседняя камера, — повели на помывку подсудимых; они плелись веселой гурьбой, базаря с часовыми, один заглянул к нам: «Зёмы, курить есть?» — на что моряк мрачно ответил, что кой-что, завернутое в газету, заменяет сигарету: подсудимые галдели минут пятнадцать, а один даже спел под гитару песню в коридоре (гитара обитала в их камере самым загадочным образом)...

Часовые тоже люди —
В них усталость за весь день.
Мы курить и ржать не будем,
Мы курить и ржать не будем,
Мы курить и ржать не будем —
Их нервировать нам лень.

Что нам толку с перебреха,
Если в брюхе пустота,
Эх, пожрать бы щас неплохо,
Эх, пожрать бы щас неплохо,
Эх, пожрать бы щас неплохо
Да не выйдет ни черта.

Что за небо за решеткой —
Грязь, свинец и ветра вой,
Даже если срок короткий,
Даже если срок короткий,
Даже если срок короткий,
Он останется с тобой.

Так вот, он спел, а мы стояли, ничего не видя и не слыша, я вообще чувал, что мне на лоб надвинули теплую кепку, и я упорно дергал головой, чтобы разогнать тесноту в башке и мире. А потом вдруг заплакал урюк в кроссовках. Он как-то странно заплакал, простонал два раза и шумно задышал, все посмотрели на него, а у него по лицу льются слезы, медленно-тягучие; он стоял, а они текли, он их не утирал рукой — стояли мы по стойке «смирно». Молдаванин старательно иронично улыбался, порой ужасно передергиваясь лицом.

Потом, слава богу, рассвет дополз до нас чахоточным свечением коридора, а мы все стояли, уже вращая в пол, еще часа два или три. Затем нас раздели, обыскали и разрешили сесть. Но предупредили, чтобы спина была перпендикулярна нарам. Пару раз это придирчиво проверили, и у моряка стало красным ухо, и оставшееся время он так ужасно матерился, что я невольно зауважал флот.

Потом нас стали вызывать, дергать, как морковь с грядки. Первым вызвали моряка, потом курсанта, за ними шумною гурьбою отчалили три урюка с бравым видом. Потом Пыжиков меня разбудил и сказал, что зовут нас.

Два толстых майора с красными околышами спросили, есть ли у нас претензии, а когда их не оказалось, мы увидели командира первого взвода родной части лейтенанта Шустрякова, апатичного и унылого лейтеху, обожающего нарды и бильярд, великолепно нагладившегося по случаю вынужденного визита в Алешки и явно трусящего по этому же случаю.

Я очень долго смотрел на последнего часового у последних ворот. Тот понимающе и привычно улыбался. Все.

На воздухе я отомлел, кепка сдвинулась на затылок и там стояла, а я стал все потихоньку всасывать. Шустряков напряженным голосом нас корил, оживляя речь «хлоп вашу мать», я коротко скорбно соглашался, а Пыжиков наплевательски молчал.

Шустряков приехал за нами на «Урале». Мы с Пыжиковым переправились через борт. Шустряков по-отцовски обзрел, как мы устроились, и сел в кабину. Мы поехали.

— Алеша, вот и все, да? — неожиданно сказал Пыжиков.

Это меня зовут Алеша.

Мы ехали по сияющей талой водой улице, была суббота, и девчонки из медучилища, высыпавшие в халатиках на улицу, помахали нам розовыми руками, а солнце барабанило лучами по крыше «Урала», по гордому лозунгу «Животноводству — ударный фронт!», по всему миру.

— К пайке, наверное, поспеем. Если наряд не млявый — может, картошечки жареной огребем, не хреново, да? — улыбнулся я ему.

Нас сильно трясло.

— Весь этот ужас позади? — спрашивал Пыжиков, внимательно хмурия брови. Это он у меня спрашивал.

— Да, хлоп ты, о чем ты, зёма, дембель неизбежен! Мой милый друг, не надо грусти — весна придет и нас отпустят! — сладостная истома невыспавшегося тела подбиралась ко мне, и я подумал, что не сразу же нас посадят на губу, и я, пожалуй, прямо в столовой и наверну на массу. Копать мой лысый череп!

Как только мы подъехали к части, я полностью увлекся образом старшины в предстоящей драме.

Когда «Урал» дернулся последний раз, Пыжиков взял меня за рукав:

— Алеша, я знаю, что ты меня презираешь, но я...

— Ты что, охренел? — удивился я. И полез через борт. За мной неуклюже прыгнул и Пыжиков. Я поправил шапку и увидел старшину. Он стоял с багровым лицом, уперев руки в боки, и скулы его ходили, как бедра портовой шлюхи.

— Та-ак, мля-аа, сосунки драные, шлюхи паскудные, выродки рода человеческого, вонь подрейтузная, херня из-под ногтей!!! — заработал старшина, как тюменская нефтескважина. Коротко обернувшись, он сунул Пыжикова в скулу левым кулаком, меня через паузу правым, я в тот момент неудачно оскользнулся, и кулак достал как бы вдогон, растеряв часть своей первоизданной прелести. Лейтенант с горьким изумлением взирал на тщательно отполированные носки своих сапог.

Старшина выдохнул: «У-у, с-собаки», — и я понял, что это все.

На моем лице было написано раскаяние и ужас, а душа пела, как капли на оттаявшей горбушке асфальта.

— Ты, — вдруг хрипло прошептал, опустив покрасневшее лицо, Пыжиков, — ты, выродок, — и добавил, помолчав: — Сволочь.

У старшины было такое лицо, будто вышел закон о принудительной кастрации всех прапорщиков. Я похолодел — такого старшине не говорил даже выдающийся похренист Чана, проведший полслужбы на санузле.

Пыжиков, качнувшись, пошел в сторону. Лейтенант Шустряков заорал, чтобы Пыжиков немедленно вернулся и извинился перед Павлом Христофоровичем, а он все шел и шел, пока, не протаранив

худосочный сугроб, уперся в красную кирпичную стенку казармы, так и застыл, прижавшись щекой к кирпичу и нелепо раскинув руки.

Солнце светило ему в лицо и спину, и сияющие капли падали в шинель, оставляя черные круглые метки — будто шляпки на совесть заколоченных гвоздей.

Ну, что еще? Впаяли нам по пять суток губы за бессовестное посягательство на высокое звание отличной нашей части. Губа была гарнизонная, а там, как я уже говорил, дерут только чурок. После губы я пару недель был основой всех кухонных нарядов, набрав от огорчения килограммов пять веса и солидно покруглев лицом, вследствие чего старательно избегал старшинского ока, дабы он не сделал из моего изможденного вида скоропалительных и далеко идущих выводов. А к июню командир взвода мне намекнул, что если и дальше у меня будет все нормально, то к Дню авиации я могу рассчитывать на ефрейторскую лычку. А то и на краткосрочный отпуск — и я принялся «рвать» с утроенной энергией.

А Пыжиков уехал служить на Дальний Восток, в родственную нам, правда не столь отличную, часть, туда, где он сможет называть старшину, как ему заблагорассудится, так его напутствовал наш Павел Христофорович. На Дальнем Востоке Пыжиков вдруг женился — не выдержали нервишки на душевной вечеринке с обилием теплых углов в местной общаге, или соска попалась с мертвой хваткой последнего шанса — в общем, остался Пыжиков в этой части на прапорщика, сначала вроде на пять лет, а потом и продлил.

Говорят, заведует он там складом ГСМ или по интендантской службе пошел в родственном нам крохотном сибирском гарнизоне. Стал толстым и сильно изменился, только голос остался таким же звучным и красивым. Первые два года выписывал журнал «Театр», а потом что-то перестал. «Союзпечать» там плохо работает, с перебоями, особенно зимой.

Но это все было не сразу. Это все было потом.

А в тот вечер я зашел после отбоя в туалет и увидел на подоконнике зёму — Сеньку Швырина, выцеловывавшего замусоленный бычок, источавший дистрофическую пародию дыма. Сеня наблюдал, как два салабона дряят щетками с мылом его «хэбэ».

— Зёма, е-мое, наконец-то!! — Мы заржали и обнялись. Зёма был рад до невозможности и журчал игривым ручейком так бурно, будто боялся, что я открою рот и простужусь.

Я втиснулся на подоконник рядом с ним, упершись затылком в холодное весеннее стекло, и тихонько думал себе, что вот сейчас пойду прямо спать и буду спать, и все, вот так вот... А зёма сыпал новостями: что писем нет, еще напишут, что на ужин — рыба, что послезавтра опять к генералу, но уже на похороны, что познакомился зёма с соской — такая шмара и гых! на руке — наколка — зёма ей втащил, а она семечки грызет и анекдот рассказывает, и подруга у ней есть — Фикса, вот такое вот вымя, следующее увольнение наши будут, зуб даю, э, да ты спишь?

Я сидел и сладко моргал глазами, закутанный в байковое одеяло дремоты, и все было тихо и тепло. Пыжиков брился перед зеркальцем,

прислушиваясь к нашему разговору, и улыбаясь порой, и забавно морщась, когда водил станком по впалым щекам. Потом он тер покрасневшее лицо одеколоном «Саша», и зёма сказал, что если бухать, то лучше всего одеколон «Эллада». И надо бы нам отметить наше возвращение, а то ведь бухали последний раз аж 23 февраля, когда, помнишь, зёма, Чана надел на себя одеяло, подходит к дежурному по части и — гхы! гхы! — говорит: «Вставай, — будем спать!». Гхы-гхы... А тот ему...

Переделкино — Гульрипши — Ницца — Баден-Баден — ЦДЛ — ЦДРИ — МО СССР

* * *

Когда в конце 1987 года к нам, в редакцию газеты «Неделя» пришел двадцатилетний студент факультета журналистики МГУ Александр Терехов и не без смущения предложил прочесть написанный им рассказ, мы, конечно, не предполагали, что к нам явился не просто талантливый или многообещающий, но вполне зрелый, со своим сформировавшимся взглядом на жизнь и очень интересным языком писатель. Несоответствие между возрастом и уровнем мастерства нас поразило.

Рассказ мы опубликовали. Он был основан на личном опыте — повествовал о службе в армии, о так называемой «дедовщине». Написанный жестко, уверенно, реалистично в лучшем смысле этого слова, рассказ вызвал лавину читательских откликов: что называется, наболело. Но одновременно началась и настоящая кампания травли молодого прозаика, развернутая военным ведомством, обидевшимся за честь своего мундира (в данном случае метафора имеет еще и прямой смысл).

В «Красной звезде», например, было опубликовано огромное — почти на полосу — открытое письмо бывших сослуживцев под названием «Посмотри нам в глаза»: «Ты предал, опорочил наше солдатское братство. Ты, вчерашний солдат, бьешь своих же. Бьешь подло, в спину. Угождаешь обывательским сплетням и пересудам об армии. Ты жил среди нас, но, выходит, был не с нами. Жил двойной моралью». Со страниц журнала «Советский воин» прозвучала оценка повести Терехова «Зёма»: некий майор Н. Иванов, разобрав повесть, сделал вывод, что «армия в ней вывалена в грязи с головы до ног». Любопытно, что повесть эту А. Терехов тогда только кончил и не успел еще предложить ни одному печатному органу. Нечего и говорить, что после таких оценок ни один печатный орган ее опубликовать не смог: препятствовал Главлит.

Предлагая ее вниманию читателей, редколлегия альманаха «Апрель» надеется, что у Александра Терехова сложится благополучная писательская судьба. Боевое крещение он уже прошел. Так держать!

Андрей Мальгин

СКОЛЬКО СТОЯТ ДЖИНСЫ

Молоко оказалось кислым. Ленка тут же заявила, что, значит, кофе она пить не будет, а мать сказала, что пусть в таком случае чай заваривает сама. Ленка никакого чаю заваривать и не подумала, а просто осталась сидеть перед пустой чашкой, и я почувствовал, что сейчас разговор со всей неизбежностью переключится на вчерашнее. В отчаянной попытке спасти положение я завел длинную речь о методах заварки кофе и о том, что настоящий любитель кофе никогда не станет пить его с молоком, уж в крайнем случае со сливками, этаким классический *café crême*, столь любимый стариком Хэмом. Никто меня не слушал, и, когда я замолчал, за столом воцарилась напряженная тишина.

— Леночка, — проговорила мать.

В образовавшейся тишине слово «Леночка» прозвучало как-то подчеркнуто фальшиво.

— Леночка, неужели ты правда отдала двести рублей за брюки?

— Не за брюки, а за джинсы, — холодно поправила Ленка и добавила:

— А кто тебе их дешевле-то продаст. «Голден стар», они так и стоят.

— Чепуха, — встрянул я, снова пытаюсь увести разговор в сторону. — Длинный в прошлом году именно «Голден стар» взял за рупь восемьдесят, а Митрич уже совсем недавно «Ренглер» за рупь семьдесят толкал, правда большого размера.

— С ума посходили, — вздохнула мать. — Тут не знаешь, как до полочки дожить, а она две сотни на штаны выбрасывает.

— Но это же не твои две сотни, — огрызнулась Ленка. — А свои деньги я как хочу, так и трачу.

Здесь Ленка была права. Деньги были её. Все, до копейки. Те самые деньги, что получала, работая на почте.

— Небось у Витьки купила? — спросила мать.

Витька был нашей квартирной знаменитостью. Историк по образованию, писатель-беллетрист по профессии и спекулянт по роду занятий, он начинал свою деятельность со статей в журналах и мелких дел с перепродажей книг, дисков и тряпок, а ныне писал повести в приключенческие сборники бульварного уровня, продавал импортную технику, иконы, женщин, и, кажется, даже наркотики. Сам он, во всяком случае, чем-то колелся. Закрываясь иногда в ванной на несколько часов, он выходил посоловевший, с пустыми, невидящими глазами, и после него там стоял жаркий влажный туман и непонятный удушливый запах, а на полу валялись выжатые тюбики «Поморина». Еще Витька имел обыкновение купать в ванной при-

ходящих с ним женщин, а будучи во хмелю, любил поговорить со мной о судьбах русской и мировой литературы, при этом честил на все корки и без разбору известных современных писателей. Незаурядный человек был этот Витька, интересный. И опасный. Но если нужно было что-то достать, на него в принципе можно было положиться. И теперь джинсы он Ленке достал действительно хорошие.

— Так значит у Витьки купила? — мать спрашивала почти в утвердительном тоне.

— Ну и что? — сказала Ленка.

«Всё», — подумал я. И даже весь внутренне сжался. Когда Ленка говорила «Ну и что», нормальный разговор кончался. Это был её самый сильный аргумент ещё едва ли не с восьмилетнего возраста. Мать за все долгие годы так и не сумела найти достойного ответа на это её «ну и что».

— Как это «ну и что»? — сказала она, уже повышая голос. — Как «ну и что»? Да разве тебе не противно было покупать что-то у этого жулика?! Да разве вообще не противно отдавать за вещь впятеро больше, чем она стоит на самом деле?! Да провались они пропадом, эти джинсы! Разве можно из-за них так унижаться. Из-за какой-то тряпки связываться со спекулянтom. Платить двести рублей! Леночка! Да зачем они тебе?

И тут Ленку прорвало. Я даже испугался. Такой я еще ни разу не видел свою сестру.

— «Зачем!» — закричала она. — Да что ты понимаешь, мама?! Может быть, у меня вчера был самый счастливый день в жизни. А ты мне только настроение портишь. Самый счастливый день! И между прочим, благодаря вот этим самым джинсам.

— Ничего себе денек, — заметил я в сторону. — День, который заканчивается в третьем часу ночи.

И тут же я понял, что не надо было этого говорить. Ленка действительно пришла вчера в третьем часу ночи, и мать еще не спала, ожидая ее, и сам я тоже не спал.

— Да, — сказала Ленка. — И самая счастливая ночь. Самый счастливый день и самая счастливая ночь, — повторила она, смакуя произведенное впечатление.

— Ты же была... — начал я.

— Не у Любы, как я вам вчера наплела, — перебила Ленка. — То есть сначала у Любы, конечно, часов до одиннадцати. А потом... На фига мне было оставаться у Любы, когда ко мне весь вечер Виталик Чагин клеился. Ну, я к нему и поехала.

Вот тут я уронил бутерброд. Бутерброд упал маслом вниз, но это не имело значения. Наш красавец-эрдель Марк Юний Брут слопал его быстрее, чем я успел нагнуться, да еще и чисто вылизал пол.

— Что делал Виталик? — растерянно спросила мать.

— Ну, ухаживал за ней весь вечер, ухаживал, — перевел я, ощущая несправедливое раздражение.

Я знал Виталика Чагина. По институту. Мы учились на разных факультетах, но оба на четвертом курсе, а вообще Виталика знали все. Виталик был неплохим спортсменом, талантливым агитбригадов-

цем, большим любителем и мастером рассказывать байки об экзаменах и, следовательно, очень общительным человеком. При этом он был остряк, добряк, симпатяга и верный друг всех своих многочисленных друзей. Но была у Виталика слабость: он не мог обделить вниманием ни одну хоть сколько-нибудь привлекательную девчонку, и вниманием самым пристальным. А главная беда заключалась в том, что внимания этого хватало у Виталика, как правило, не больше, чем на неделю. Иногда он и сам от этого страдал, но, как правило, забывал имена своих пассий раньше, чем они успевали на него обидеться. Ни для кого не была секретом эта единственная слабость Виталика Чагина, но девицы льнули к нему, как льнут ночные насекомые к освещенным изнутри окнам, и я не то чтобы удивлялся — удивляться тут нечему — а скорее умилялся извечной женской наивности.

Но Ленка... Это было просто невероятно. Ленка никак не вписывалась в компанию чагинских девиц. Виталик был бабник, жуткий бабник, но у Виталика был вкус. И легче было волка накормить капустой, чем соблазнить Виталика Ленкой. Ленка была дурнушкой, официально признанной еще в начальных классах школы дурнушкой. И у нее развился комплекс. Она не умела краситься, не умела одеваться, не умела кокетничать — словом, элементарно не умела подать себя, хотя мечтать об этом начала едва ли не раньше всех своих подруг. Просто отсутствие природных данных и даже пренебрежение к своему внешнему виду и поведению — это еще не самое страшное, но вместе с глубоко запрятанным, опустошающим, сжигающим изнутри желанием нравиться — оно делало Ленку антипривлекательной в глазах Виталика. Даже в своих кошмарных снах не смог бы Виталик клеиться к Ленке. Конечно, можно было бы еще предположить, что Виталик завел шашни с Ленкой ради хохмы, или кому-то назло, или просто из желания всех удивить, но это только в том случае, если бы он давно знал Ленку как заведомо невозможную для себя партнершу и знал бы отношение к ней подружек и приятелей, но ведь Ленка была первокурсницей, Виталик увидел ее впервые, и она должна была казаться ему пустым местом.

Размышляя, я все время смотрел в свою чашку с кофе, а когда поднял взгляд, увидел, что в моей сестре все перевернулось. И совершенно чудесным, сказочным образом.

Ее серые глаза горели вызовом, на щеках рдел румянец, полураскрытые губы изогнулись в торжествующей улыбке, а ноздри раздувались от судорожного дыхания, как у лошади, остановленной на полном скаку.

— А ну-ка встань! — крикнул я.

— Зачем? — не поняла Ленка, но отодвинула табуретку и вышла из-за стола.

Она была в давешних джинсах, будто и не снимала их всю ночь, и джинсы сидели на ней так, словно она сошла с рекламного плаката фирмы «Голден стар». Легким движением тонкой руки она отряхнула крошки с колен и сунула ладони в задние карманы. Она поняла, зачем я поднял ее, и теперь победно оглядывала поле боя.

У меня больше не было вопросов. На такую Ленку мог бы заглядеться не только Виталик. И это было здорово. Меня охватило вдруг чувство гордости и буйной радости за сестру. Это был действительно счастливый поворот. И двести рублей за джинсы уже не казались абсурдом. Джинсы стоили того, стоили, я верил в это вместе с Ленкой.

И вдруг заговорила мать, ошарашенно молчавшая какое-то время:
— Леночка, разве так можно?

— Нужно, — твердо сказала Ленка и вновь безжалостно перешла в наступление. Даже не в наступление уже, а ринулась в погоню за разбитым наголову, удирающим врагом.

— Вы дураки! — кричала Ленка. — Вы думали, я буду ждать высокой и чистой любви еще лет двадцать, чтобы благополучно остаться закомплексованной душой и старой девой. А я не хочу ничего ждать. Я не хочу больше жить так, как жила. Не хочу!

— Но ты хоть любишь его?! — в отчаянии спросила мать.

— Да! — с вызовом бросила Ленка. — Да. Сегодня — да.

— А он... — мать замялась, беспомощно подыскивая слова (она все еще не понимала, о чем говорит Ленка), — он... женится на тебе?

Ленка сделала круглые глаза. Я отвернулся: я всегда чувствовал себя очень неудобно, если при мне задавали глупые вопросы. Я вспомнил, как испытал подобное ощущение неловкости возле ларька театральной кассы, когда какая-то женщина наклонилась к окошку и спросила: «У вас на Таганку на завтра нет билетов?» У кассирши тогда хватило такта просто ответить: «Нет», но Ленке чувство такта было несвойственно, и вообще она была на взводе.

Ленка расхохоталась. Отвратительно, манерно, очень по-взрослому. Так умеют смеяться только женщины друг над другом. И на лице у матери появилось выражение, какое бывает у маленьких детей, когда у них незаслуженно отнимут любимую игрушку или обманом заставят съесть что-нибудь невкусное.

Я не выдержал:

— Замолчи, дура!

— Сам-то кто? — неожиданно очень по-детски отпарировала Ленка, и крикнув «Вы мне надоели!» выбежала из комнаты. Брут выскочил за ней.

Тогда я взглянул на мать. В глазах у нее стояли слезы.

— Миша, сынок, а, может быть, она врет? Просто хочет позлить меня?

— Нет, мама, она не врет.

Мать всхлипнула.

— Мамуль, да ты не расстраивайся.

Прозвучало это очень глупо, и я не стал больше ничего говорить.

— Ну как же мне не расстраиваться, сынок? — сказала мать, вытирая слезы. — Что же это делается-то, а? Леночка ведь такая скромная всегда была. Что же это с ней случилось? Да будь они прокляты, эти джинсы!

Я молчал.

— Неужели теперь только по тряпкам человека и ценят? Куда же это мы катимся, а? Девушка должна платить двести рублей, чтобы какой-то пижон с ней переспал! Это же кошмар. Кошмар!

— Всегда так было, мама, — сказал я. — Просто вместо джинсов было что-нибудь другое.

— Нет, сынок, никогда так не было. Никогда.

Я ничего не ответил. Я снова смотрел в чашку с недопитым кофе и уже радовался за Ленку. Мне вдруг стало даже страшно за нее. «Какой она теперь станет, — думал я, — после такой цинично легкомысленной первой связи?» Я вспомнил свою первую женщину, с которой поругался, когда случайно узнал, что она давно специализируется на мальчиках, и с отвращением и жалостью представил целую вереницу своих предшественников — таких же, как я, романтических дураков, и как потом было трудно поверить в любовь Ольги и в любовь вообще.

Но тут же вспомнил я и Ленку Струнко, который женился в девятнадцать лет без всякого предварительного опыта на двадцатипятилетней разведенной женщине и при всей своей самой искренней любви никогда не мог ей простить ее превосходства над ним именно в опыте и часто донимал меня своим нытьем, что он де совсем не собирается изменять жене, потому что ему этого вовсе и не хочется, но вот чего ему хочется, так это переделать свое или ее прошлое, но это невозможно, и поэтому ему тяжело. И ведь ему действительно тяжело. И значит, действительно нужен этот предварительный, циничный, легкомысленный, уродующий душу опыт. И значит, у Ленки все получилось к лучшему. Но мама-то плачет...

И тогда мне открылась вдруг такая ужасающая бездна, такая бесконечная сложность затронутой мной проблемы, какую не то что мне, а и сотне мудрецов не одолеть за ближайшую тысячу лет.

В комнату вернулась Ленка.

— Отец пришел, — сказала она и молча села в углу на подлокотник кресла. Брут сел рядом и положил морду ей на колени.

Вошел отец. Он вернулся с завода, где был в ночную смену в связи с какой-то аварией, и теперь, когда все было позади, пребывал в весьма бодром расположении духа. Как всегда, он почти ничего не замечал и, увидев лишь, что все как-то притихли, осведомился:

— Что смолкнул веселия глас?

Мать смотрела в стол, и было не видно, что она плачет.

Я счел своим долгом сообщить:

— Ленка купила штаны за двести рублей. Можешь насладиться зрением Ленки в двухсотрублевых штанах.

После тяжких дум меня разбирало. Я даже обозлился на Ленку именно за то, что мне пришлось обо всем этом думать.

— А деньги откуда? — спросил отец.

— От верблюда, — не глядя буркнула Ленка.

— Понятно. А я всегда полагал, что штаны стоят тридцать, ну от силы пятьдесят рублей. Так что платить за них две сотни — это даже не сибаритство — это идиотство. Дочь моя, ты ли это?

— Нет, — сказал я, — это не она. Это совсем другая женщина.

— Не понял, — сказал отец.

— Все ты понял, — грустно заметила мать, хотя он действительно ничего не понял.

И только тут отец заметил, что мать плачет. А я взглянул на Ленку и увидел, что и у нее тоже бегут по щекам слезы.

И тогда вопреки всякой логике я закричал непонятно кому:

— Прекратите! Прекратите!

Отец смотрел на нас растерянно и виновато. Мать плакала, и кофейная чашка в ее руке дробно стучала о блюдо. Красавец-эрдель Марк Юний Брут тихо рычал. Он не любил таких сцен. И отец, чтобы разрядить обстановку, спокойно спросил:

— А сколько стоят сейчас такие джинсы в магазине?

Но это был совсем не тот вопрос. И я закричал еще громче:

— Всякая вещь стоит ровно столько, сколько за нее дают!

Содержание

Credo	3
Евгений Евтушенко — Танки идут по Праге, <i>стихи</i>	—
А. Д. Сахаров — Предвыборная платформа	6
Рождение «Апреля»	9

Фазиль Искандер — Девушка Лора и лошади Чугу, <i>рассказ</i>	16
Андрей Вознесенский — Фонограмма фата морганы, <i>стихи</i>	35
Анатолий Злобин — Современные сказки	43
Татьяна Бек — Стихи	109
Елена Аксельрод — Сонет о географии, <i>стихи</i>	110
Евгений Попов — Клумба цветов, <i>рассказы</i>	113
Олеся Николаева — Августин, <i>поэма</i>	136
Юнна Мориц — Молодая картошка, <i>рассказы</i>	150
Евгений Рейн — Австро-Венгрия, <i>стихи</i>	166
Дмитрий Сухарев — Поэма	170
Олег Хлебников — Застолье, <i>стихи</i>	173
Лев Смирнов — Над древней книгой, <i>стихи</i>	174
И. Бабель — Три рассказа	176
Александр Солженицын — Крохотные рассказы	185

II

Б. Н. Ельцин — «Полумерами не обойтись»	197
Анатолий Стреляный — Постепенность — самоцель?	207
Рейн Вейдеманн — Эстонский прецедент	211
Устав Союза писателей Эстонии	218
Игорь Дуэль — Исповедь провокатора	222

III

Анатолий Приставкин — Письма сталинистов	234
Ст. Рассадин — «...свободы черная работа»	239
Б. Сарпов — Несколько штрихов к портрету принципиального человека	248
Владимир Корнилов — Уход, <i>стихи</i>	255

Молодой апрель

Александр Терехов — Зёма, <i>иронический дневник</i>	256
Антон Молчанов — Сколько стоят джинсы	298

Апрель

вып. I

